

**ФРЭНСИС
БРЕТ
ГАРТ**


**ТРОЕ
БРОДЯГ
ИЗ
ТРИНИДАДА**



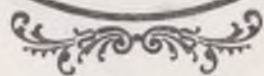






ФРЭНСИС
БРЕТ
ГАРТ





W. H. CHAMBERLAIN
1850
MAY 10
NEW YORK

ФРЭНСИС БРЕТ ГАРТ

ТРОЕ БРОДЯГ ИЗ ТРИНИДАДА

РАССКАЗЫ

Перевод
с английского



Москва

«Детская литература»

1989

ББК 84.7 США
Г21

Francis Bret Harte

Тексты печатаются по изданию:
Гарт Ф. Б. Собрание сочинений:
В 6 т.— М.: Изд-во «Правда»
Б-ка «Огонек», 1965

СОСТАВИТЕЛЬ
И АВТОР ВСТУПИТЕЛЬНОЙ СТАТЬИ
Ю. Ковалев

ОФОРМЛЕНИЕ
Б. Мокина

Г 4803020000—382 Без объявл.
М101(03)-89

ISBN 5—08—002164—0

© Состав. Вступительная статья Оформление
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА», 19

«ЗОЛОТАЯ КАЛИФОРНИЯ» ФРЭНСИСА БРЕТА ГАРТА

20 февраля 1854 года юный Фрэнк Гарт отправился из Нью-Йорка в Сан-Франциско. Было ему в ту пору семнадцать лет. Его младшей сестре Маргарет, которую ему пришлось взять с собой, едва исполнилось пятнадцать. Сегодня такое путешествие, хоть и далекое по расстоянию, не представляет больших трудностей. Можно поехать поездом или автобусом, можно полететь самолетом, можно, наконец, поплыть на парохде (через Панамский канал, соединяющий Атлантику с Тихим океаном). В любом варианте путешествие займет не более нескольких дней и не будет сопряжено с трудностями или опасностями. В середине XIX века дело обстояло совершенно иначе. Не существовало автобусов и самолетов, не была еще проложена трансконтинентальная железная дорога, строительство Панамского канала еще и не начиналось. Путешественники могли выбирать между тремя вариантами: сухонутным, морским и смешанным. Избравшим первый вариант приходилось тратить много недель на преодоление прерий Среднего Запада, пустынь, Скалистых гор (пешком, верхом или в повозке). Тех, кто предпочел морской путь, ожидало длительное плавание вокруг мыса Горн, полное опасностей, ибо мыс Горн — одно из самых беспокойных мест мирового океана: у скалистых его берегов потерпели крушение сотни кораблей. Фрэнк и Маргарет избрали третий вариант. Они отплыли из Нью-Йорка на «Звезде Запада» и, пережив жестокий шторм в проливе Гаттераса, высадились в порту Грейтаун на восточном побережье Никарагуа. Здесь они пересели на «стернуилер» (пароход с гребным колесом на корме) и проплыли 120 миль по реке Сан-Хуан, текущей среди джунглей. Они не сходили с палубы, разглядывая берега, кишевшие обезьянами и попугаями, мутную воду, на поверхности которой время от времени появлялись крокодилы. Потом они пересели на винтовой пароход, на котором пересекли озеро Никарагуа. Последний отрезок пути по этой стране они проделали в повозках, запряженных мулами, и, наконец, достигли порта Сан-Хуан дель Сур на побережье Тихого океана. Отсюда они отплыли на корабле «Брат Джонатан» и почти тотчас попали в полосу тяжелых штормов, едва не погубивших корабль со всеми пассажирами. 26 марта 1854 года «Брат Джонатан» ошвартовался в Сан-Франциско. Путешествие заняло, как мы видим, более месяца.

Естественно, возникает вопрос: что побудило брата и сестру совершить столь длительное и опасное путешествие, да еще в столь юном возрасте? Чтобы ответить на него, следует обратиться к жизненной истории Фрэнка.

Фрэнсис Брет Гарт родился в Олбани (штат Нью-Йорк) 25 августа 1836 года. Отец его — Генри Гарт — был школьным учителем. Человек широко образованный, любитель и знаток литературы, он не обладал качествами, необходимыми для быстрого делового успеха, и семья, в которой было четверо детей, жила до чрезвычайности скромно. В доме не было ничего лишнего, но зато была прекрасная библиотека. Маленький Фрэнк был «книжным мальчиком». Он редко выходил из дома и был постоянно погружен в чтение. Уже тогда он познакомился с сочинениями Дефо, Фильдинга, Смоллста, Шекспира, Ирвинга, Вальтера Скотта. Его любимыми авторами на всю жизнь остались Диккенс и Дюма. Уже будучи в преклонных летах, Брет Гарт называл в числе лучших книг мировой литературы «Графа Монте-Кристо».

В 1845 году умер отец Фрэнка. Семья осталась без средств к существованию и начала потихоньку распадаться. Старший брат завербовался в солдаты и отправился на Мексиканскую войну. Старшая сестра вышла замуж. Фрэнку пришлось бросить школу и поступить рассыльным в контору стряпчего. Было ему тогда всего 13 лет. Спустя три года мать Фрэнка вышла замуж за полковника Вильяма и уехала со своим новым мужем в Окленд (Калифорния), уговорившись с Фрэнком и Маргарет, что они тоже переберутся в Окленд в начале следующего года. Таким образом, поездка Фрэнка и Маргарет в Калифорнию была до некоторой степени «воссоединением» семьи. Мог ли Фрэнк не ехать на Дальний Запад? Да, конечно, мог и не ехать. Ему уже исполнилось 17 лет, он был вполне способен прокормить себя самого: к этому времени он приобрел профессию счетовода. К матери он относился холодно — не мог простить ей нового замужества. Полковник Вильямс — человек деловой, энергичный, громкоголосый, хлопавший по спине всех без разбора и обладавший бульдожьей хваткой, — был ему неприятен. Было бы вполне логично, если бы Фрэнк Гарт остался в Нью-Йорке. Однако тут имеется одно обстоятельство, не касающееся семейной истории Гартов, которое побудило Фрэнка отправиться в далекое путешествие. Это обстоятельство связано с исторической судьбой Калифорнии. Если бы полковник Вильямс увез жену, скажем, в Чикаго или в Чарльстон, Фрэнк едва ли последовал бы за ними. Но Калифорния... это совсем другое дело. Калифорния была овеяна ароматом легенды, обещанием счастья. Десятки и сотни тысяч американцев искали своей судьбы в Калифорнии.

Калифорния — воистину благословенный уголок земли. Горная цепь Сьерра-Невады на востоке защищает ее от суровых континентальных ветров. С запада ее омывают воды Тихого океана. Здесь множество плодородных долин, мягкий и очень теплый климат. Не случайно американская кинопромышленность обосновалась в Голливуде близ Лос-Анджелеса. В те отдаленные времена кино не располагало еще мощными осветительными средствами, съемки велись на природе, и хорошая погода была решающим фактором. Голливуд привлекал тем, что можно было рассчитывать на 300 солнечных дней в году. Тихоокеанское побережье Калифорнии было изрезано глубокими бухтами и заливами, удобными для стоянки судов. Казалось, что сама судьба определила Калифорнии быть краем сельскохозяйственным, рыболовецким и торговым.

Некогда Калифорния была частью Мексики, и, коль скоро сама Мексика была колониальным владением Испании, первоначальное освоение Калифорнии осуществлялось испанцами, а точнее говоря, испанскими католическими миссионерами. Монахи и священники проникали в самые глухие уголки края, строили там миссии и церкви, вокруг которых возникали поселения, зародыши нынешних калифорнийских

городов. Не случайно подавляющее большинство калифорнийских городов носит имена католических святых: Сан-Франциско, Сан-Рафаэль, Санта-Роза, Санта-Барбара... а в каждом городе непременно имеется «Улица миссии».

В 1824 году Мексика обрела независимость, и владычество испанцев в Калифорнии кончилось. Началось интенсивное заселение края иммигрантами. Сюда устремились не только мексиканцы, но также американцы, китайцы, гавайцы и даже русские; впрочем, русские появились здесь еще в 1811 году. Основное ядро в этом иммиграционном потоке составляли американцы. Они плыли морем, ехали на лошадях и быках, шли пешком, преодолевая пустыни и горные хребты. Постепенно американцы заняли ключевые позиции в разных областях жизни Калифорнии и в 1846 году, как только США объявили войну Мексике, учинили переворот, провозгласив независимую «Республику Звезды и Медведя». Республика эта просуществовала совсем недолго. Калифорния была оккупирована американскими войсками и по договору 1848 года официально и формально стала частью территории Соединенных Штатов. За неделю до заключения договора — 24 января 1848 года на земле крупного землевладельца Джона Саттера было найдено золото. Открытие золота произвело переворот в судьбе Калифорнии. Жизнь выбилась из нормальной колеи и понеслась по рывтинам и ухабам золотоискательства, подстегиваемая надеждами на головокружительное и скорое обогащение. Повсеместно распространялись слухи и легенды о миллионных состояниях, будто бы составлявшихся в несколько дней, об огромных самородках и богатейших золотых «жилах», найденных «вот тут, совсем рядом». Иными словами, началась знаменитая «золотая лихорадка», переломившая жизнь Калифорнии. «Ремесленники бросили свои инструменты, фермеры оставили урожаи гнить на полях, а скот подыхать с голоду, учителя забыли свои учебники, адвокаты покинули клиентов, служители церкви сбросили священнические облачения, матросы дезертировали с кораблей — и все устремились в едином потоке к месту золотых приисков. Деловая жизнь в городах замерла, покинутые дома и магазины ветшали и приходили в упадок. Золотоискатели шли как саранча... с кирками, лопатами и ковшами для промывки золота»¹.

Все это, однако, было только началом. Постепенно сведения о калифорнийском золоте просочились в восточные районы страны и овладели умами сотен тысяч людей. На Дальний Запад ринулись фермеры, ремесленники, чиновники, крупные и мелкие торговцы, авантюристы всех мастей, уголовные преступники, жулики и проходимцы, шулера и проститутки. Впоследствии вся эта огромная толпа получила общее наименование «люди 49-го», а историки навели должный лоск и блеск, представив «людей 49-го» в виде героев, пионеров, первопроходцев, «аргonautов»².

«Люди 49-го» оседали вблизи золотых приисков, создавая старательские поселки, состоявшие из палаток, дощатых хижин и иных строений, сработанных из подручных материалов. Материальные условия в этих «лагерях», «станах», «поселках» были ужасны. Люди жили впроголодь, были вачисто лишены всякой медицинской помощи. От зари до зари они трудились на своих участках, перелопачивая тошны

¹ Б и р д Ч. и М. «Развитие американской цивилизации». Цит. по ст.: Старцев А. Брет Гарт и калифорнийские золотоискатели. — В кн.: Гарт Б. Калифорнийские повести. М., 1939.

² П и о н е р — здесь: человек, впервые проникший в неисследованную страну и поселившийся в ней; « а р г о н а в т ы » — см. сноску на стр. 13.

земли в надежде раздобыть золото, которого оказалось гораздо меньше, чем предполагалось. Государство никак не охраняло гражданских, имущественных, человеческих прав золотоискателей. Нравы в старательских поселках были дикие и буйные. Человеческая жизнь стоила дешево. Убийства и грабежи были обычным делом. Поскольку не было закона и органов, обеспечивающих его исполнение, люди брали правосудие в свои руки и вершили его как умели. Самыми распространенными способами разрешения споров и конфликтов были драки, суд Линча и дуэли — не благородные дуэли с формальным вызовом и секундантами, не изящные мушкетерские поединки, а просто уговор «стрелять при встрече».

Невозможность существования в условиях абсолютной и безграничной анархии сделалась скоро очевидной, и в старательских поселках стихийно возникли примитивные формы демократического самоуправления, опиравшиеся на неписанные законы и на «общее мнение» поселенцев. Значение этого процисса не следует преуменьшать. По мнению авторитетных историков, он сыграл важную роль при политическом самоопределении Калифорнии как «свободного штата», выступившего на стороне северян в годы Гражданской войны (1775—1783). Никакие ухищрения южных рабовладельцев, стремившихся привлечь Калифорию на свою сторону, успеха не имели.

Золотоискательский «бум» в Калифорнии продолжался сравнительно недолго. Поверхностные залежи золота были исчерпаны в два-три года, и лихая старательская вольница окончила свое существование. Началась эпоха промышленной добычи золота, требовавшая капиталовложений, технического оборудования, геологической разведки. Возникли многочисленные акционерные компании и предприятия, владевшие приисками, а вольнолюбивые старатели превратились в массу своей, в наемных рабочих, положение которых мало отличалось от положения рабочих на любом промышленном предприятии — горнорудном, машиностроительном, обувном и т. д. Старательские поселки — все эти «кемпы», «бары», «флеты», «покеты» — пришли в запустение, обезлюдели и обрели призрачное существование. Их дикая и буйная жизнь ушла в прошлое, стала воспоминанием, легендой, преданием.

Фрэнк Гарт прибыл в Калифорнию весной 1854 года. К этому времени золотая пора старательства была уже в основном позади. Разумеется, он не мог об этом знать заранее. Голова его была полна рассказов о вольной жизни золотоискателей, о чудесных находках и сказочном богатстве, валившемся в руки счастливицков. В доме отчима в Окленде он задержался ненадолго, всего на несколько месяцев, а затем снарядился в дорогу. Куда? Он и сам не знал. Шесть лет он странствовал по северной Калифорнии, не имея, очевидно, никакой цели. Он перепробовал множество профессий: учительствовал в школе, воспитывал детей в частных домах, служил охранником почтовых дилижансов в компании «Уэллс Фарго», пытался добывать золото, работал наборщиком и репортером в маленьких провинциальных газетах.

Если попытаться оценить значение этой полосы в его последующей творческой жизни, то следует сказать, что он собирал, накапливал впечатления, краски, звуки, запахи старательской жизни, уходившей в прошлое, поселков, превращавшихся в города-призраки, горных перекрестков, становившихся современными городами. Этого материала ему потом хватило на сорок лет писательства.

Годы странствий Фрэнка Гарта были полны событий, приключений

и впечатлений. Среди них мы выделим один момент, существенный для понимания характера и убеждений будущего писателя. В конце 1858 года он получил работу помощника редактора в газете «Северный калифорниец», только-только начавшей выходить в городке Юнион (округ Гумбольдт). Издателем и редактором был некий полковник Уиппл, человек предприимчивый, но малосведущий в газетном деле. Он часто уезжал по разным делам, оставляя 20-летнего Фрэнка единовластным хозяином газеты. Как раз во время одной из таких отлучек Уиппла в округе Гумбольдт произошли трагические события. На рассвете 26 февраля 1860 года жители поселка Эврика, расположенного в восьми милях от Юниона, учинили, без всякого к тому повода, кровавую резню в ближайшей индейской резервации. Десятки индейцев, мирно спавших у погасших костров, были зверски убиты. Повода не было, но причина, однако, была — это общий взгляд белых пришельцев на коренное население Америки. Происшествие в Эврике с этой точки зрения — лишь частный случай, единичное проявление жестокой и бесчеловечной политики, которую «цивилизованная» Америка вела и продолжает вести по сей день по отношению к индейцам на Востоке, на Юге, на Среднем и Дальнем Западе.

Индейцы пытались отстоять свою независимость, свободу, достоинство, но все эти попытки были заранее обречены на провал. Они пробовали договориться с американцами, однако всякий раз были обмануты; они вступали в стычки с войсками, попадали на караваны переселенцев (такой случай описан Бретом Гартом в повести «Степной найденыш»), устраивали засады, налеты на почтовые diligences, угоняли скот. Успех этих операций был незначителен, зато белые как бы получали «законные» основания для контрмер и в конечном счете для широкомасштабных военных действий, проходивших под лозунгом «Хороший индеец — мертвый индеец». Фраза эта принадлежит американскому генералу Шеридану, получившему прозвище «Верховного палача индейских племен».

29 января в «Северном калифорнийце» появилась статья, приведшая обывателей Юниона в ярость. Она называлась «Массовое избиение индейцев. Зарубленные топорами женщины и дети». Автором ее был Фрэнк Гарт. Он, видимо, понимал, на что идет, и знал, что не встретит сочувствия. Статья, можно сказать, публиковалась тайно. Он сам написал ее, сам набрал текст в типографии и сам сверстал газету. Появление статьи было для окружающих полной неожиданностью. Автор выступил с гневным обличением убийц, явившихся в спящий индейский лагерь с ножами и топорами. Он не пожалел злых слов и едких выражений при описании женщин, стариков и детей, заколотых, забитых, зарубленных и зарезанных озверевшими обывателями, обвинив при этом не только непосредственных участников злодеяния, но все белое население округа Гумбольдт, уверовавшее в то, что индейцы — «недочеловеки».

Статья произвела сокрушительное впечатление на читателей. Послышались голоса, требовавшие лицевать «молодого негодяя». Некоторое время Брет Гарт выпужден был скрываться, а затем навсегда покинуть Юнион.

Мы рассказали об этом эпизоде биографии Фрэнка Гарта в подробности, поскольку здесь впервые ярко обнаружилась характерная черта его натуры, сохранявшаяся потом в течение всей его долгой жизни: полное отсутствие расовых предубеждений и предрассудков, нетерпимость к расовой дискриминации, сострадание и сочувствие к угнетенным и преследуемым «малым» народам, отчетливо проявившееся в таких

рассказах, как, скажем, «Язычник Вань Ли». Сотрудничество Брета Гарта в «Северном калифорнийце» имеет важное значение еще и потому, что здесь, по сути дела, началась его журналистская деятельность, продолжавшаяся затем целое десятилетие, а то и больше.

В конце марта 1860 года Фрэнк Гарт перебрался в Сан-Франциско. Он был поражен переменами, произошедшими в жизни «западной столицы» Америки, как позднее назовут этот город. И дело было не только в том, что город разросся, захватив всю территорию полуострова, что население его выросло до 80 000 человек. Шесть лет тому назад, когда Фрэнк Гарт впервые ступил на землю Калифорнии, Сан-Франциско мало отличался от буйных городов фронта¹. Просто он был побольше размером. Только и всего. Теперь же, по словам самого Гарта, он был наполовину «укрощен» и находился на полпути от «ревущего стана» к одному из крупнейших городов мира. Изменился архитектурный облик города, переменялись одежда и манеры его жителей. Но главное, пожалуй, в том, что Сан-Франциско стал постепенно превращаться в крупный центр общественной, политической и культурной жизни. В городе появились новые газеты и журналы, всевозможные литературные салоны и сообщества, выросло новое поколение талантливых молодых журналистов, поэтов, прозаиков, в числе которых назовем хотя бы Марка Твена, Амброза Бирса, Хоакина Миллера, Чарльза Уэбба, Чарльза Стоддарда.

Перебравшись в Сан-Франциско, Брет Гарт, считавший себя профессиональным журналистом, искал работы в местных журналах и газетах. Поначалу ему пришлось примириться со скромной должностью наборщика в еженедельнике «Золотая эра». Впрочем, должность эта, как ни странно, открывала довольно широкие возможности. «Золотая эра» была своеобразным изданием. Она предоставляла свои страницы всем желающим. Среди авторов, печатавшихся здесь, были профессиональные литераторы, адвокаты, старатели, фермеры, ранчеры, бродяги, игроки — кто угодно. Писал в «Золотую эру» и Фрэнк Гарт. Впрочем, «писал» — не совсем точное слово. Часто он набирал свои сочинения прямо «из головы», стоя у наборной кассы. Отсюда насмешливое замечание Марка Твена о том, что издатель и владелец «Золотой эры» Джо Лоренс «никогда не видел рукописей Гарта. Их попросту не существовало».

Молодой Фрэнк Гарт еще не нашел себя в журналистике. Он писал все, что угодно: репортажи, хронику, стихи, пародии, скетчи, рассказы... Он не решался еще подписывать свои сочинения собственным именем и пользовался псевдонимами. Многочисленные литературные материалы, статьи, очерки в «Золотой эре», подписанные Дж. Кайзером, Джефферсоном Бриком, Алексисом Пуффером, были написаны одним человеком, и этим человеком был Фрэнк Гарт. Он, видимо, чувствовал, что не обрел еще собственного «голоса», что многие его рассказы слишком похожи на творения Вашингтона Ирвинга и Чарльза Диккенса, и поэтому предпочитал скрываться за псевдонимами. Впрочем, тут возможно еще одно объяснение: большая часть ранних сочинений Гарта имела сатирическую направленность, и Фрэнк скрывался за псевдонимами, чтобы не нажить себе лишних врагов. Это соображение кажется существенным, поскольку в начале 60-х годов Гарт проявлял изрядную политическую

¹ Фронтёр — подвижная «граница цивилизации», перемещавшаяся на запад страны в ходе освоения континента белыми поселенцами.

активность, выступал в поддержку республиканской партии и президента Линкольна, произносил речи на митингах и собраниях, печатал острые заметки и сатирические стихи, направленные против конфедератов-южан.

Три года работы в «Золотой эре» были хорошей школой для Фрэнка Гарта. Газетный опыт учил экономности в словах, точности, помогал избавиться от цветистых фраз и провинциальной пышности стиля. Когда в мае 1864 года Гарт перешел во вновь открывшийся журнал «Калифорниец», это уже был опытный литератор, пользовавшийся популярностью у читателей и авторитетом у собратьев по перу. Его соратники по журналу — Чарлз Стоддарт и Сэм Клеменс¹ постоянно обращались к нему за советом и прислушивались к его критическим замечаниям. Марк Твен в свойственной ему иронической манере писал по этому поводу: «Брет Гарт обтесывал меня и терпеливо наставлял, покуда я не превратился из неловкого сочинителя грубых гротесков в писателя, создающего стройные абзацы и главы, находившие одобрение у весьма приличных граждан нашей страны». Гарт, Клеменс и Стоддарт начали постепенно превращать «Калифорнийца» в заметное явление литературной жизни Америки, но, в конечном счете, усилия их успеха не принесли. Издатель журнала — Чарлз Уэбб, предоставивший им полную свободу действий, столкнулся с финансовыми затруднениями и вынужден был продать журнал. На этом все и кончилось. Тем временем Фрэнк Гарт получил необременительную должность в калифорнийском казначействе, и это помогло ему «удержаться на плаву». До сих пор журналистика была для него единственным источником дохода, и потеря работы в журнале могла бы иметь катастрофические последствия, тем более что он уже обзавелся семьей, которую надо было как-то содержать.

В 1867 году Фрэнк Гарт напечатал первые две книги. Одна из них — «Романы в сжатом изложении» — представляла собой сборник пародий на сочинения знаменитых романистов — Диккенса, Бронте, Дюма, Коллинза, Гюго, Купера и др. Другую — «Пропавший галеон» — составили стихи и поэмы разных лет. Пародии были блистательны, стихи не лишены оригинальности. Обе эти книги, вышедшие почти одновременно, укрепили известность Гарта в литературных и журналистских кругах Калифорнии, и вот ничего удивительного в том, что книгопродавец Аптон Роман, затеявший издавать новый литературный журнал, пригласил на должность главного редактора восходящую литературную «звезду». Фрэнк Гарт стал Ф. Бретом Гартом.

1869 год в истории Калифорнии ознаменовался двумя примечательными событиями. Первым было основание превосходного и весьма влиятельного литературного ежемесячника «Оверленд мансли», сделавшего духовную жизнь Дальнего Запада общенациональным достоянием; вторым — завершение строительства трансконтинентальной железной дороги, связавшей Калифорнию со Средним Западом и с Восточными районами страны. Теперь путь в «золотой штат» не был уже сопряжен с лишениями и смертельной опасностью, и новая волна иммиграции хлынула к берегам Тихого океана.

«Оверленд мансли» по своему уровню и качеству нисколько не уступал таким прославленным периодическим изданиям, как «Атлантик

¹ Сэмюэл Клеменс — настоящее имя Марка Твена.

мансли», выходящий в Бостоне, но в нем была одна важная особенность: имея общеамериканское распространение, он оставался журналом калифорнийским, и дух Дальнего Запада пронизывал его от первых до последних страниц.

Общепризнано, что своим успехом «Оверленд мансли» был обязан прежде всего главному редактору Гарту, не оставлявшему без внимания никакой малости. Он привлек к участию в журнале крупнейшие литературные силы Сан-Франциско, тщательно редактировал художественные и критические материалы, предполагавшиеся к напечатанию, учил, не жалея сил и времени, писательскому мастерству молодых литераторов, следил за качеством иллюстраций и типографского набора.

Много лет спустя Марк Твен, тоже принимавший участие в журнале, вспоминая историю возникновения обложки «Оверленд мансли». Художник изобразил на ней медведя-гризли (традиционный символ старой Калифорнии, по сей день красующийся на ее флаге). Однако сам по себе разъяренный медведь являл собой бессмысленный образ, и все это чувствовали. «Тогда,— говорит Твен,— Брет Гарт взял карандаш и провел прямые линии под ногами у медведя. И посмотрите, какой блистательный успех!» Теперь медведь, поставивший лапы на рельсы трансконтинентальной железной дороги, был уже не просто медведь и не только геральдическая фигура, но «старинный символ калифорнийской дикости, осклаившийся при виде локомотива — этого воплощения цивилизации и прогресса!». Очевидно, Брет Гарт хотел, чтобы рисунок на обложке символизировал не Калифорнию вообще и тем более не старую Калифорнию времен «Республики Медведя», но Калифорнию современную, ее нынешний день. Идея его оказалась блестящей: придуманный им символ сошел с обложки «Оверленд мансли» и долгие годы украшал страницы книг, журналов, газет, упакувок сувениров и почтовые открытки.

Однако главная причина немедленного успеха и огромной популярности «Оверленд мансли» заключена не столько в редакторских талантах Брета Гарта или неуемной энергии, с какой он отдавался делу, сколько в том обстоятельстве, что именно в этом журнале, начиная со второго номера, он начал печатать свои калифорнийские рассказы, принесшие ему мировую известность. Первый же рассказ из этой серии («Счастье Ревущего Стана») покорила Америку в считанные недели. Его перепечатали «пиратским» способом (т. е. без ведома автора и безвозмездно) десятки журналов. С выходом следующих рассказов энтузиазм читателей (и издателей) возрос еще более. Писатель стал получать заманчивые предложения, сулившие баснословные гонорары. Издатели готовы были платить вперед за еще не написанные шедевры.

В калифорнийских рассказах Брет Гарт наконец-то нашел себя как художник, обрел свою манеру, стиль, угол зрения, способ видения и художественного пересоздания действительности. В некотором роде он «открыл» Калифорнию как особый, неповторимый мир со своими собственными законами и порядками, правами и обычаями, преданиями и легендами — и в этом одна из важнейших причин его феноменального успеха у американского и мирового читателя. Заметим, что открытие это далось ему нелегко.

Вторая половина 60-х годов прошлого века — время, когда обитатели Калифорнии начали осознавать себя как именно «калифорнийцы», граждане «золотого штата». Они оглядывались окрест себя, видели стремительное развитие экономической, политической, социальной, культурной жизни, фантастический прирост населения, и душа их переполнялась

гордостью. Процветание Калифорнии мыслилось ими как награда за героические деяния, титанический труд, благородство характеров и чистоту помыслов, мужество, бескорыстие и отвагу. Сравнительно недавнее прошлое — времена «золотой лихорадки» — начало обретать очертания легенды о героических временах, а так называемые «люди 49-го» неожиданно превратились в «соль земли», «поколение героев», великих пионеров, «аргонавтов»¹. Их прославляли в стихах и в прозе, им посвящались статьи и очерки, о них слагались песни. Даже уголовные преступники, под пером сочинителей дешевых романов, стали выглядеть легендарными героями по той единственной причине, что принадлежали к пионерам.

Безудержная героизация пионеров и «аргонавтов» вызывала у Брета Гарта, как и у многих талантливых писателей, чувство протеста и негодования, которое отливалось преимущественно в сатирические формы. В прославлении калифорнийских старожилов он видел не более чем фальшивую и сентиментальную легенду и всячески подчеркивал, что «люди 49-го» были вовсе не героями и не святыми, что наиболее характерными их чертами были жестокость, грубость, жажда обогащения. В одной из своих корреспонденций в «Крисчен реджистер» он писал, что лучше бы помалкивать относительно причин, побудивших пионеров отправиться в Калифорнию. «Для очень многих важно было просто убраться из мест, где они находились. А куда — им было все равно». Он даже затеял писать серию пародий на романы, славящие западного «человека вне закона», этакое доброго злодея и убийцу. Правда, первая пародия из этой серии — «Сильвестр Джейхок» — оказалась и последней. Брет Гарт не пожелал тратить время и силы на цели, которые считал второстепенными. У него было свое видение «Золотой Калифорнии», и задача его теперь заключалась в том, чтобы воплотить его в художественные образы и противопоставить ложносентиментальным представлениям, распространенным в литературе. Он тоже прославил эпоху «аргонавтов», но совершенно не так, как это делали другие.

Брет Гарт любил Калифорнию, любил бурление и энергию народной жизни с ее контрастами, противоречиями и налетом авантюризма. Его воодушевляло стремительное развитие края, где города вырастали как грибы, а дороги прокладывались как бы сами собой, где движение времени было почти физически ощутимо и жизнь во всех своих моментах и проявлениях менялась буквально на глазах. Он восхищался калифорнийцами, их трудолюбием, сосредоточенностью на определенной цели, широтой их натуры, способностью рисковать, их умением стойко переносить невзгоды и неудачи, их грубым юмором и склонностью к сочинению невероятных, фантастических историй. Но он вовсе не склонен был писать сусальные, сентиментально-слиянные портреты «аргонавтов» и пионеров. Писатель знал жизнь старательских поселков и маленьких калифорнийских городков из первых рук, видел ее воочию. Свой художественный мир, свою «Золотую Калифорнию» он выстроил из собственных наблюдений, личного опыта и многочисленных легенд, преданий, рассказов, анекдотов, бытовавших в старательской среде в изустной традиции. Жизнь в этом мире была трудной, грубой, жестокой и опасной. И населяли его вовсе не какие-то особые «герои», а рудокопы, картежники, воры, бандиты, кучера и конюхи, кабатчики и бродячие актеры, судейские чиновники, шерифы и авантюристы всех мастей. Этот

¹ А р г о н а в т ы — в греческой мифологии — участники плавания на корабле «Арго» за золотым руном. *Здесь*: открыватели новых земель.

мир был пестрым и сложным во всех отношениях. Его обитателями были американцы, ирландцы, мексиканцы, китайцы, индейцы, негры, миллионеры и нищие, землевладельцы и арендаторы, владельцы собственности и наемные рабочие, хозяева и прислуга.

Брет Гарт не старался ничего пригладить или подлакировать. В качестве примера можно сослаться хотя бы на знаменитое описание обитателей Ревущего Стана: «Возле хижины собралось человек сто. Один или двое из них скрывались от правосудия; имелись здесь и профессиональные преступники, все они, вместе взятые, были отчаянным народом... Прозвище «головорезы» служило для них скорее почетным званием, чем характеристикой.

Возможно, у Ревущего Стана был недочет в таких пустяках, как уши, зубы, пальцы на руках и ногах и тому подобное, но эти мелкие изъяны не отражались на его коллективной мощи. У местного силача на правой руке было всего три пальца; у самого меткого стрелка не хватало одного глаза».

В художественном мире Брета Гарта все идет своим порядком, совершенно так, как в реальной жизни. Старатели с утра до ночи копают землю и вручную промывают ее, конокрады крадут коней, шерифы ловят конокрадов и тут же их линчуют, обыватели побивают камнями китайцев, учителя учат детишек, картежники обыгрывают простачков, проститутки занимаются своим малопочтенным ремеслом, в барах и салунах происходят пьяные драки, нередко оканчивающиеся поножовщиной и смертоубийством, кучера почтовых дилижансов отбиваются от бандитов. Обо всем этом Брет Гарт повествует спокойно, без ужаса и без восторга. Тут нет никакой экзотики. Просто таково нормальное течение жизни в его «Золотой Калифорнии».

Было бы, однако, ошибкой представлять себе художественный мир рассказов Брета Гарта, как царство порока, жестокости и неистребимого всеохватывающего зла. В таком мире невозможно было бы жить. Между тем мир Брета Гарта обитаем. Более того, он густо населен. Это мир людей, вступивших друг с другом в разного рода отношения, и человеческое начало составляет основу этих отношений. Один из критиков увидел парадоксальность рассказов Брета Гарта в том, что «изображение в них жизни людей, посвятивших себя, видимо, личному обогащению во что бы то ни стало, имеет центральной темой самопожертвование, бескорыстную преданность или забвение своих интересов ради чужих»¹. Критик прав относительно центральной темы рассказов Гарта, но, очевидно, заблуждается насчет парадоксальности. Никакого парадокса тут нет. Брет Гарт был убежден, что зло и порок образуют, так сказать, внешнюю оболочку человеческой природы. В глубинах же ее сохраняется здоровое нравственное начало. Отсюда принципиальная возможность бескорыстия, самопожертвования, безграничной преданности высокому идеалу, забвения своих интересов ради чужих — иными словами, проявление всех тех высоких принципов нравственности и человеколюбия, которые и впрямь становятся то и дело главной темой рассказов писателя. Без этого не могли бы свершиться героические, благородные, высокогуманные поступки Джека Гемлина, Компаньона Теннесси, Дика Буллена, Кентукки, Миггиса и других героев Брета Гарта.

Писатель, очевидно, сознавал, что его нравственные понятия расходятся с господствующей моралью и системой ценностей буржуазного

¹ Старцев А. Брет Гарт и калифорнийские золотоискатели. — В кн.: Гарт Ф. Б. Калифорнийские повести. М., 1939, с. 46.

общества, которое твердо верило, что стремление к материальному благополучию — есть добродетель, а капитал — свидетельство и мера достоинств его обладателя, что самопожертвование — глупость, а бескорыстие — признак слабого ума. Благородные дела героев Брета Гарта были, в некотором смысле, вызовом расхожей стяжательской морали. Не потому ли большинство их принадлежит к категории «отверженных», «изгоев», к которым благонамеренные буржуа относились с высокомерным презрением.

В самом деле: Кентукки («Счастье Ревущего Стана») — пьяница и богохульник, Джон Окхерст («Изгнанники Покер-Флета») и Джек Гемлин («Браун из Калавераса») — профессиональные игроки, не вполне чистые на руку, Дик Буллен («Как Санта Клаус пришел в Симпсон-Бар») — пьяница и бездельник. В соответствии с узкой моралью благополучных мешан от этих героев невозможно было бы ожидать благородных поступков. Но вопреки этой узкой морали они такие поступки совершают, и при этом отлично понимают, что делают. Как говорит Миггс, трогательно заботящаяся о своем бывшем возлюбленном, которого разбил паралич, но упорно отказывающаяся выйти за него замуж: «...если бы мы были мужем и женой, тогда то, что сейчас я делаю добровольно, я должна была бы делать по обязанности». Иначе говоря, Миггс явно не в ладах с официальной моралью, которая, в ее глазах, есть средство принуждения. А она обрекла себя на замкнутую и трудную жизнь добровольно, и в этом высокое достоинство ее жертвы.

Между общественным положением, «репутацией» героев Брета Гарта и благородными деяниями, которые они совершают, есть некоторое несоответствие, особенно если посмотреть на дело с общепринятой точки зрения. Это несоответствие грозило разрушить художественную цельность калифорнийских рассказов и, возможно, разрушило бы, если бы писатель смотрел на поступки своих героев с общепринятой точки зрения. Но он смотрел на них (и показывал их) со своей особенной точки зрения, которая реализовалась в юмористической стилистике его сочинений. Особенность этой стилистики заключалась в том, что он не только наделял своих персонажей чувством юмора, но и сам писал о них чуть насмешливо, чуть иронически, как бы не вполне принимая всерьез их самих и их поступки. Прекрасной иллюстрацией к сказанному может послужить небольшая пассаж в «Брауне из Калавераса», где описывается поездка Джека Гемлина через лес:

«Въезжая в глубь леса, где уже не было и признаков жилья, он запел таким приятным тенором, исполненным такого покоряющего и страстного чувства, что, я готов ручаться, все малиновки и коноплянки замолчали, прислушиваясь к нему. Голос мистера Гемлина был необработанным, слова песни были нелепы и сентиментальны... но в тоне и выражении звучало что-то несказанно трогательное. В самом деле, это была удивительная картина: сентиментальный мошенник с колодой карт в кармане и револьвером на поясе, оглашающий темный лес жалобной песенкой о «могиле, где спит моя Нелли» с таким чувством, что у всякого слушателя навернулась бы слеза. Ястреб-перепелятник, только что заклевавший шестую жертву, почуял в мистере Гемлине родственную душу и воззрелся на него в изумлении, готовый признать превосходство человека. Хищничал он куда искуснее, однако петь не умел».

Следует заметить, что юмор Брета Гарта обладал особенным качеством, свойственным только ему, да, пожалуй, еще Марку Твену и двум-трем другим калифорнийским писателям. То не был юмор человека, наблюдавшего жизнь со стороны и посмеивающегося над ее забавными сторонами, как это делал, например, английский юморист Джером

К. Джером, автор знаменитого сочинения «Трое в лодке, не считая собаки». Брет-гартовский смех был рожден мощной стихией народного юмора старательской Калифорнии. Здесь смех был психологической необходимостью, столь же важной, как еда и одежда. Жизнь золотоискателей была немисливо тяжела, можно даже сказать — трагична. Для огромного количества людей она оказалась невыносимой. Историки отметили, что в старательских поселках число самоубийств значительно превосходило количество убийств. Как сказал один из биографов Гарта, людям оставалось либо смеяться, либо сойти с ума. Они смеялись, смеялись над собой и друг над другом, над высшестоящими и нижестоящими, устраивали бесконечные розыгрыши, проделки, «практические шутки», сочиняли фантастические небылицы, придумывали анекдоты. Юмористическая стихия западного фольклора существовала как некий противовес бытия, она помогала людям выжить.

Не следует, однако, забывать о том, что, хотя Брет Гарт жил среди золотоискателей, знал их быт изнутри и был отлично осведомлен о многочисленных легендах, «историях», рассказах, распространенных в их среде, он, как говорили современники, никогда не носил фланелевой красной рубашки и штанов, заправленных в сапоги, — этой униформы калифорнийских пионеров. Иными словами, он не был одним из них. Он всегда оставался образованным, интеллигентным человеком, широконачитанным, гуманным, воспитанным на высоких идеалах и прославленных литературных образцах. Юмор его рассказов, так же как их общая стилистика, лишен примитивной грубости, жестокости, вульгарности, какие были характерны для жизни, быта и фольклора пионеров Дальнего Запада. Может быть, поэтому ему удалось в своем творчестве создать легендарный образ «Золотой Калифорнии», приемлемый для читателей всех уровней, национальностей, возрастов, убеждений и нравственных принципов. Как справедливо заметил биограф Брета Гарта, «Запад, где люди стрелялись перед завтраком, вершили правосудие путем линчевания, встречали бесславную смерть за игорным столом, открывали золотую жилу или умирали с голода, пытаясь докопаться до нее, — этот Запад был создан закоренелым горожанином, который ненавидел всякое насилие и никогда не шел на риск, если мог его избежать». Брет Гарт любил этот мир, созданный его воображением из реального, жизненного материала, но даже в любви его был оттенок снисходительной иронии.

Иронический взгляд как бы снимал противоречие между положением человека и его деяниями, между его репутацией и душевным состоянием. В художественном мире Брета Гарта игроки, бандиты, воры спокойно могли жертвовать жизнью во имя благородной цели, не оставляя у читателя ощущения неестественности или неправды. Да и самый мир калифорнийских рассказов приобретал очертания полуреальности-полулегенды, а в их сюжетах и героях просматривались легендарные черты.

Художественный мир Брета Гарта находился в таком же отношении к миру реальному, что и Ганнибал Марка Твена, Йокнапатофа Фолкнера, «граница» Купера. Он населен живыми характерами, на создание которых Брет Гарт был великий мастер, и потому правдоподобен. Он был уникален, этот мир, поскольку писатель обладал зорким глазом и особым талантом в изображении местного колорита. Взор писателя не был бесстрастен. Его душа была преисполнена сострадания и сочувствия к обездоленным и отверженным, гонимым и преследуемым. Не случайно и не напрасно Брет Гарт многократно выступал в защиту китайских иммигрантов, которые подвергались в те времена особенно жестким

гонениям, чем навлек на себя неудовольствие многих граждан Сан-Франциско, считавших, что следует забросать китайский район динамитными бомбами — и делу конец.

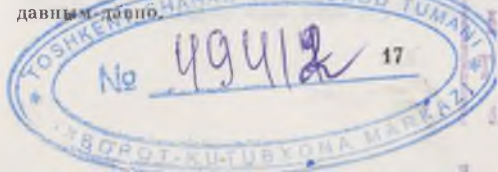
Калифорнийские рассказы имели блистательный, сенсационный успех. Брета Гарта провозгласили «новым Диккенсом», журналы без конца перепечатывали его прежние рассказы и требовали новых, соглашаясь платить любые гонорары, издатели жаждали издавать его сочинения. Слава писателя распространилась далеко за пределы Америки, и умирающий Диккенс просил раздобыть для него выпуски «Оверленд мансли», в которых были напечатаны «Счастье Ревущего Стана» и «Изгнанники Покер-Флета». Тогда Брет Гарт решил, что хватит ему сидеть на краю земли, и перебрался в восточные штаты поближе к культурным центрам Америки.

Теперь он жил в Нью-Йорке, Бостоне, Вашингтоне, купаясь в лучах славы и пожиная плоды своих прежних трудов. Американское правительство наградило его тем единственным способом, каким оно обычно награждало выдающихся писателей — предоставив ему дипломатическую должность. В свое время Ирвинг получил должность секретаря американской «легации» в Лондоне, а затем — посла в Мадриде; Купер был американским консулом в Лионе; Готорн — консулом в Ливерпуле. Брет Гарт был назначен консулом в Крефельде — богом забытом немецком городке в Рейнской области, неподалеку от Дюссельдорфа. 28 июня 1878 года он покинул Америку, чтобы никогда уже в нее не возвращаться. Последние четверть века своей жизни он провел в Европе, сначала в Германии в качестве консула, затем, в той же должности, в Глазго, а в последние годы — в Лондоне в качестве частного лица.

Покинув Калифорнию, Брет Гарт-художник совершил трагическую ошибку. Существование его раздвоилось. Он жил в Нью-Йорке, Вашингтоне, Крефельде, Дюссельдорфе, Париже, Глазго, Лондоне, занимаясь консульскими делами, встречался со множеством людей, вел переговоры с издателями и редакторами и много писал. Однако вся эта новая жизнь почти никак не отразилась в его произведениях. Творческое сознание Брета Гарта продолжало пребывать в золотоискательских поселках холмов Сьерры. Он вновь и вновь возвращался к жизни калифорнийских приисков 1850-х годов, к своим прежним героям, возрождая к жизни даже тех, кого он уже похоронил в прежних рассказах. По страницам его новых сочинений дружно шествовала вереница оживших «покойников» во главе с Джоном Окхерстом и полковником Старботтлом.

Чем дальше, тем больше творчество писателя утрачивало художественное достоинство. Рассказы становились слабее. Публиковать их становилось все труднее. Звезда Брета Гарта закатилась, слава его померкла. Как справедливо заметил Твен, «счастливый Брет Гарт, довольный Брет Гарт, честолюбивый Брет Гарт, Брет Гарт, исполненный надежд, яркий, веселый, улыбочивый Брет Гарт, которому жизнь была в радость и удовольствие, этот Брет Гарт умер в Сан-Франциско...».

Брет Гарт покинул Калифорнию в зените славы. Его старый друг Ч. Стоддарт писал впоследствии: «Я часто думал, что если бы Брет Гарт скоропостижно умер во время переезда из Калифорнии в Нью-Йорк, мир единодушно возгласил бы, что погиб величайший гений того времени». В действительности случилось совсем иное. Смерть его в 1902 году осталась почти незамеченной. Те, кто узнал о ней из скудных газетных сообщений, только пожимали плечами: они думали, что Брет Гарт умер давным-давно.



Что же, собственно, произошло? Куда подевался талант писателя, его способность к яркому пересозданию жизни, его умение лепить незабываемые, оригинальные характеры? Почему в Сан-Франциско он писал хорошо, а в Крсфельде, Париже, Лондоне — плохо? А произошло вот что: «Золотая Калифорния», или, иначе говоря, художественный мир ранних рассказов, равно как и творческое сознание, создавшее его, питались живыми соками калифорнийской действительности. Оборвав связи с этой действительностью, писатель лишил свое воображение питательной среды. Единственным выходом для него было бы обращение к той реальности, среди которой он теперь существовал. Но он не мог этого сделать по той причине, что действительность Германии, Франции, Англии оставалась для него чужой. И он снова и снова обращался к привычному для него миру калифорнийских рассказов, не замечая, что мир этот под его пером усыхал, становился анемичным и искусственным.

Так и случилось, что калифорнийские рассказы Брета Гарта, написанные в Сан-Франциско и в первые месяцы после его отъезда оттуда, остались лучшей частью его художественного наследия. Ранняя слава его была, вероятно, преувеличена. Брет Гарт был прекрасным писателем, но по масштабам своего дарования уступал, конечно, таким титанам, как Марк Твен или Диккенс. Когда-то Белинский писал, что «бедна литература, не блистающая именами гениальными; но небогата и литература, в которой все — или произведения гениальные, или произведения бездарные и пошлые. Обыкновенные таланты необходимы для богатства литературы, и чем их больше, тем лучше...». Именно к таким «обыкновенным талантам» и принадлежит Брет Гарт, и в этом нет ничего для него зазорного. Он действительно талант — своеобразный, неповторимый и немеркнувший. Его рассказы, написанные более ста лет тому назад, и сегодня читаются с огромным интересом и доставляют читателям высокое наслаждение.

Ю. Ковалев

СЧАСТЬЕ РЕВУЩЕГО СТАНА



В Ревущем Стане царило смятение. Его вызвала не драка, ибо в 1850 году драки вовсе не представляли собой такого уж редкостного зрелища, чтобы на них сбегался весь поселок. Обезлюдели не только заявки и канавы — пустовала даже «Бакалея Татла». Игроки покинули ее — те самые игроки, которые, как все мы помним, преспокойно продолжали игру, когда Француз Пит и канак Джо уложили друг друга наповал у самой стойки. Весь Ревущий Стан собрался перед убогой хижиной на краю расчищенного участка. Разговор велся вполголоса, и в нем часто упоминалось женское имя. Это имя — черокыйка Сэл — все здесь хорошо знали.

Пожалуй, чем меньше о ней рассказывать, тем лучше. Сэл была грубая и, увы, очень грешная женщина, но других в Ревущем Стане тогда не знали. И вот сейчас эта единственная женщина в поселке находилась в том критическом положении, когда ей был особенно нужен женский уход. Беспутная, безвозвратно погрязшая в пороке, никому не нужная, она лежала в муках, трудно переносимых, даже если их облегчает женское сострадание, и вдвойне тяжких, когда возле страждущей никого нет. Расплата настигла Сэл так же, как и нашу праматерь, совсем одну, что делало кару за первородный грех еще более страшной. И может быть, с этого и начиналось искупление ее вины, ибо в ту минуту, когда ей особенно недоставало женского сочувствия и заботы, она видела вокруг себя только полупрезрительные лица мужчин. И все же мне думается, что кое-кого из зрителей тронули ее страдания. Сэнди Типтон сказал: «Плохо твое дело, Сэл!» и, глядя, как она мучается, на минуту даже пре-

небрег тем обстоятельством, что в рукаве у него были припрятаны туз и два козыря.

Случай был действительно из ряда вон выходящий. Смерть считалась в Ревущем Стане делом самым обычным, но рождение было в новинку. Людей убирали из поселка решительно и бесповоротно, не оставляя им возможности прийти обратно, а, как говорится, *ab initio*¹ там еще никто и никогда не появлялся. Отсюда и всеобщее волнение.

— Зайди туда, Стампи,— сказал, обращаясь к одному из зевак, некий почтенный обитатель поселка, известный под именем Кентукки.— Зайди посмотри, может, помочь нужно. Ты ведь смыслишь в этих делах.

Такой выбор был, пожалуй, обоснован. В других палестинах Стампи считался главой сразу двух семейств, и Ревущий Стан — прибежище отверженных — был обязан обществом Стамши явной незаконности его семейного положения. Толпа одобрила эту кандидатуру, и у Стампи хватило благоразумия подчиниться воле большинства. Дверь за скороспелым хирургом и акушером закрылась, а Ревущий Стан расселся вокруг, закурил трубки и стал ждать исхода событий.

Возле хижины собралось человек сто. Один или двое из них скрывались от правосудия; имелись здесь и закоренелые преступники, и все они, вместе взятые, были народ отпетый. По внешности этих людей нельзя было догадаться ни о их прошлом, ни о их характерах. У самого отъявленного мошенника был рафаэлевский лик с копной белокурых волос. Игрок Окхерст меланхолическим видом и отрешенностью от всего земного походил на Гамлета; самый хладнокровный и храбрый из них был не выше пяти футов ростом, говорил тихим голосом и держался скромно и застенчиво. Прозвище «головорезы» служило для них скорее почетным званием, чем характеристикой.

Возможно, у Ревущего Стана был недочет в таких пустяках, как уши, пальцы на руках и ногах и тому подобное, но эти мелкие изъяны не отражались на его коллективной мощи. У местного силача на правой руке насчитывалось всего три пальца; у самого меткого стрелка не хватало одного глаза.

Такова была внешность людей, расположившихся во-

¹ С самого начала (*лат.*).

круг хижины. Поселок лежал в треугольной долине между двумя горами и рекой. Выйти из него можно было только по крутой тропе, которая избегала на вершину горы прямо против хижины и теперь была озарена восходящей луной. Страждущая женщина, наверно, видела со своей жесткой постели эту тропу — видела, как она вьется серебряной нитью и исчезает среди звезд.

Костер из сухих сосновых веток помог людям разговориться. Мало-помалу к ним вернулось их обычное легкомыслие. Предлагались и охотно принимались пари относительно исхода событий. Три против пяти, что Сэл «выкарабкается» и что даже ребенок останется жив; заключались и дополнительные пари — относительно пола и цвета кожи ожидаемого пришельца. В разгаре оживленных споров в группе, сидевшей поближе к дверям, послышалось восклицание, остальные замолчали и настожились. Пронзительный жалобный крик, какого в Ревущем Стане еще не слышали, прорезал стоны качающихся на ветру сосен, торопливое журчание реки и потрескивание костра. Сосны перестали стонать, река смолкла, костер затих. словно вся природа замерла и тоже настожилась.

Все как один вскочили на ноги. Кто-то предложил взорвать бочонок с порохом, но остальные вняли голосу благоразумия, и дело ограничилось несколькими выстрелами из револьверов, ибо вследствие ли несовершенства местной хирургии или каких-либо других причин жизнь черокийки Сэл быстро угасала. Прошел час, и она как бы поднялась по неровной тропе к звездам и навсегда покинула Ревущий Стан с его грехом и позором.

Вряд ли эта весть могла сама по себе хоть сколько-нибудь взволновать поселок, но о судьбе ребенка он задумался. «Выживет ли?» — спросили у Стампи. Ответ последовал неуверенный. Единственным в поселке существом одного пола с черокийкой Сэл, вдобавок тоже ставшим матерью, была ослица. Кое-кто высказывал сомнения, годится ли она, но все же решили попробовать. Это было, пожалуй, вернее, чем древний опыт с Ромулом и Ремом, и, по-видимому, могло сулить не меньший успех.

После обсуждения подробностей, занявшего еще час, дверь отворилась, и любопытствующие мужчины, выстроившись в очередь, гуськом стали входить в хижину. Рядом с низкой койкой или скамьей, на которой под одеялом резко проступали очертания тела матери, стоял сосновый

стол. На столе был поставлен свечной ящик, и в нем, закутанный в ярко-красную фланель, лежал новый житель Ревущего Стана. Рядом с ящиком лежала шляпа. Назначение ее скоро выяснилось.

— Джентльмены,— заявил Стампи, своеобразно сочетая в своем тоне властность и (*ex officio*¹) некоторую долю учтивости,— джентльмены благоволят войти через переднюю дверь, обогнуть стол и выйти через заднюю. Кто захочет пожертвовать сколько-нибудь в пользу сироты, обратите внимание на шляпу.

Первый из очереди вошел в хижину, осмотрелся по сторонам и обнажил голову, бессознательно подав пример следующим. В подобном обществе заразительны и хорошие и дурные поступки.

По мере того как зрители гуськом входили в хижину, слышались критические замечания, обращенные больше к Стампи, как к распорядителю.

— Вот он какой!

— Мелковат!

— А смуглый-то!

— Не больше пистолета.

Дары были не менее своеобразны: серебряная табакерка, дублон, пистолет флотского образца с серебряной насечкой, золотой самородок, изящно вышитый дамский носовой платок (от игрока Окхерста), булавка с бриллиантом, бриллиантовое кольцо (последовавшее за булавкой, причем жертвователь отметил, что он видел булавку и выкладывает двумя бриллиантами больше), рогатка, Библия (кто ее положил, осталось неизвестным), золотая шпора, серебряная чайная ложка (к сожалению, должен отметить, что монограмма на ней не соответствовала инициалам жертвователя), хирургические ножницы, ланцет, английский банкнот в пять фунтов и долларов на двести золотой и серебряной монеты.

Во время этой церемонии Стампи хранил такое же бесстрастное молчание, как и тело, лежавшее слева от него, такую же нерушимую серьезность, как и новорожденный, лежавший справа. Порядок этой странной процессии был нарушен только раз. Когда Кентукки с любопытством заглянул в свечной ящик, ребенок повернулся, судорожно схватил его за палец и секунду не выпускал из рук. Кентукки стоял с глуповатым и смущенным ви-

¹ По должности (*лат.*).

дом. Что-то вроде румянца появилось на его обветренных щеках.

— Ах ты, чертенок проклятый! — сказал он и высвободил палец таким нежным и осторожным движением, какого от него трудно было ожидать.

Выходя из хижины, он оттопырил этот палец и недоуменно осмотрел его со всех сторон. Осмотр вызвал тот же своеобразный комплимент по адресу ребенка. Кентукки как будто доставляло удовольствие повторять эти слова.

— Ухватил меня за палец, — сказал он Сэнди Типтону. — Ах ты, чертенок проклятый!

Только в пятом часу утра Ревущий Стан отправился на покой. В хижине, где остались бодрствовать несколько человек, горел свет. Стампи в эту ночь не ложился. Не спал и Кентукки. Он много пил и со вкусом рассказывал о происшествии, неизменно заключая свой рассказ проклятием по адресу нового обитателя Ревущего Стана. Оно как будто предохраняло его от несправедливых обвинений в чувствительности, а у Кентукки были некоторые слабости, украшающие более благородную половину рода человеческого. Когда все улеглись спать, Кентукки, задумчиво посвистывая, спустился к реке. Потом, все еще посвистывая, поднялся по ущелью мимо хижины. Дойдя до гигантской секвойи, он остановился, повернул обратно и снова прошел мимо хижины. На полпути к берегу он опять остановился, опять повернул обратно и постучал в дверь. Ему открыл Стампи.

— Ну, как дела? — спросил Кентукки, глядя мимо Стампи на свечной ящик.

— Все в порядке, — ответил тот.

— Ничего нового?

— Ничего.

Наступило молчание — довольно неловкое. Стампи по-прежнему придерживал дверь. Тогда Кентукки, решив прибегнуть к помощи все того же пальца, протянул вперед руку.

— Ведь ухватился за него, чертенок проклятый! — сказал он и пошел прочь.

На следующий день Ревущий Стан в соответствии со своими возможностями устроил черокийке Сэл скромные проводы. После того как ее тело было предано земле на склоне горы, весь поселок собрался на обсуждение вопроса, что делать с ребенком. Решение усыновить его

было принято единогласно и с большим подъемом. Однако сейчас же вслед за тем разгорелись споры относительно способов и возможностей удовлетворить потребности приемыша. Интересно отметить, что в прениях совершенно не было слышно ядовитых личных намеков и грубостей, без чего раньше не обходился ни один спор в Ревущем Стане. Типтон предложил отправить ребенка в поселок Рыжая Собака — за сорок миль, где можно будет поручить его женским заботам. Но эту неудачную мысль встретили единодушным и яростным возмущением. Было ясно, что участники собрания не примут никакого плана, который грозит им разлукой с их новым приобретением.

— Не говоря уж обо всем прочем, — сказал Том Райдер, — надо и о том подумать, что этот сброд в Рыжей Собаке наверняка подменит его и потом всучит нам другого. — Неверие в порядочность соседних поселков было так же распространено в Ревущем Стане, как и в других местах.

Предложение допустить в поселок кормилицу тоже встретили неодобрительно. Кто-то из ораторов заявил, что ни одна порядочная женщина не согласится жить в Ревущем Стане, «а другого сорта нам не нужно — хватит!». Этот намек на покойницу мать, хоть и весьма язвительный, был первым порывом благопристойности — первым признаком морального возрождения Ревущего Стана. Стампи не принимал участия в спорах. Может быть, чувство деликатности не позволяло ему вмешиваться в выборы своего преемника по должности. Но когда к нему обратились с вопросом, он решительно заявил, что они с Джинни — это было млекопитающее, о котором упоминалось выше, — как-нибудь вырастят ребенка. В этом плане были оригинальность, независимость и героизм, пленившие поселок. Стампи остался на своем посту. В Сакраменто послали за кое-какими покупками.

— Смотри, — сказал казначей, вручая посланцу мешок с золотым песком, — брать все самое лучшее, чтобы там с кружевами, с вышивкой, с рюшками — плевать на расходы!

Как ни странно, ребенок благоденствовал. Возможно, живительный горный климат возмещал ему многие лишения. Природа приняла найденыша на свою могучую грудь. В прекрасном воздухе Сьерры, воздухе, полном бальзамических ароматов, бодрящем и укрепляющем, как лечебное снадобье, он нашел для себя пищу, или, может

быть, некое вещество, которое превращало молоко ослицы в известь и фосфор. Стампи склонялся к убеждению, что все дело в фосфоре и в хорошем уходе.

— Я да ослица,— говорил он,— мы для него все равно что отец с матерью! — И добавлял, обращаясь к беспомощному комочку: — Смотри, брат, не вздумай потом отречься от нас!

Когда ребенку исполнился месяц, необходимость дать ему имя стала совершенно очевидной. До сих пор его называли то «Малышом», то «приемышем Стампи», то «Койотом» (намек на его голосовые данные); применяли и ласкательное прозвище, пущенное в ход Кентукки: «Чертенок проклятый». Но все это казалось неопределенным, недостаточно выразительным и наконец было отброшено под влиянием некоторых обстоятельств.

Игроки и авантюристы — люди большей частью суеверные. В один прекрасный день Окхерст заявил, что младенец принес Ревущему Стану счастье. Действительно, за последнее время жителям его здорово везло. Решили так и назвать ребенка Счастьем, а для большего удобства присовокупили к прозвищу имя Томми. О матери его при этом никто не упомянул, отец же был неизвестен.

— Самое верное дело — начать новый кон,— сказал Окхерст (у него был философский склад ума). — Назовем малыша Счастьем и с этим и пустим его в жизнь.

Назначили день крестин. Читатель, имеющий уже некоторое понятие о бесшабашной нечестивости Ревущего Стана, может вообразить, что должна была представлять собой эта церемония. Церемониймейстером избрали некоего Бостона, известного остряка, и все предвкушали, что на предстоящем торжестве можно будет здорово поразвлекаться. Изобретательный юморист потратил два дня на подготовку пародии на церковный обряд и снабдил ее язвительными намеками на присутствующих. Обучили хор, роль крестного отца поручили Сэнди Типтону. Но когда процессия с флажками и музыкой проследовала к роще и ребенка положили у некоего подобия алтаря, перед насторожившейся толпой вырос Стампи.

— Не в моих обычаях портить веселье, друзья,— сказал этот маленький человечек, решительно глядя прямо перед собой,— но, сдается мне, мы поступаем не по-честному. Зачем затевать комедию, когда мальчишка еще и шуток не понимает? А уж если здесь и крестный отец намечается, то хотел бы я знать, у кого на это больше

прав, чем у меня! — Слова Стампи были встречены молчанием. К чести всех юмористов, надо сказать, что автор пародии первым признал справедливость этих слов, хотя они и принесли ему разочарование. — Однако, — быстро продолжал Стампи, чувствуя, что успех на его стороне, — мы собрались на крестины, и крестины состоятся. Согласно законам Соединенных Штатов и штата Калифорния и с помощью божией нарекаю тебя Томасом-Счастьем.

В первый раз имя божие произносилось в поселке без кощунства. Обряд крещения был настолько нелеп, что вряд ли даже сам юморист мог придумать что-нибудь подобное. Но, как ни странно, никто этого не замечал, никто не смеялся. Томми окрестили с полной серьезностью, точно обряд совершался под кровом церкви; он плакал, и его утешали, как полагается.

Так началось возрождение Ревущего Стана. Перемены происходили в нем почти незаметно. Прежде всего преобразилась хижина, отведенная Томми-Счастью, или просто Счастью, как его чаще звали. Ее тщательно вычистили и побелили. Потом настлали пол, повесили занавески, оклеили стены обоями. Колыбель палисандрового дерева, которую везли восемьдесят миль на муле, по выражению Стампи, «забила всю остальную мебель». Поэтому понадобилось поддержать честь прочей обстановки. Посетители, заходившие к Стампи справляться, «как идут дела у Счастья», относились к этим переменам одобрительно, а конкурирующее заведение, «Бакалея Татла», раскочкалось и в целях самозащиты обзавелось ковром и зеркалами. Отражения, появлявшиеся в этих зеркалах, привили Ревущему Стану более строгие понятия о чистоплотности, тем паче что Стампи подвергал чему-то вроде карантина всех, кто домогался чести и привилегии подержать Счастье на руках. Лишение этой привилегии глубоко уязвило Кентукки, хотя оно было вызвано соображениями весьма разумного порядка, ибо он, со свойственной широким натурам небрежностью и в силу бродяжнических привычек, смотрел на одежду как на вторую кожу, которая, точно у змеи, должна истлеть, прежде чем человек от нее избавится. Но влияние всех этих новшеств, хоть и неуловимое, было так сильно, что впоследствии Кентукки каждый день появлялся в чистой рубашке и с лицом, лоснящимся от омовений. Не пренебрегали и моралью и другими законами общежития. Томми, вся жизнь ко-

того, по общему мнению, протекала в непрерывных попытках отойти ко сну, должен был наслаждаться тишиной. Крики и вопли, вследствие коих поселок получил свое злосчастное прозвище, вблизи хижины запрещались. Люди говорили шепотом или с важностью индейцев покуривали трубки. По молчаливому соглашению, ругань была изгнана из этих священных пределов, а такие выражения, как, например, «тут счастья днем с огнем не сыщешь» или «нет и нет счастья, пропади оно пропадом», совсем перестали употребляться в поселке, ибо в них теперь слышался намек на определенную личность. Вокальная музыка не возбранялась, поскольку ей приписывали смягчающее и успокаивающее действие, а одна песенка, которую исполнял английский моряк по кличке Джек Матрос, каторжник из австралийских колоний ее величества, пользовалась особенной популярностью в качестве колыбельной. Это была мрачная, в унылом миноре, повесть о семидесятичетырехпушечном корабле «Аретуза». Каждый куплет ее заканчивался протяжным, замيراющим припевом: «На борту-у-у Арету-у-зы». Надо было видеть это зрелище, когда Джек держал Счастье на руках, и, покачиваясь из стороны в сторону, будто в такт движению корабля, напевал свою матросскую песенку! То ли от мерного покачивания Джека, то ли от длины песни — в ней было девяносто куплетов, которые певец добросовестно доводил до грустного конца, — но колыбельная всегда производила желательное действие. Упиваясь этими песнопениями в мягких летних сумерках, обитатели поселка обычно лежали, растянувшись во весь рост, под деревьями и покуривали трубки. Неясное ощущение идиллического блаженства реяло над Ревущим Станом.

— Прямо как в раю, — говорил Англичанин Симмонс, задумчиво подпирая голову рукой. Это напоминало ему Гринвич.

В длинные летние дни Томми-Счастье уносили к ущелью, где Ревущий Стан пополнял свои золотые запасы. Там он лежал на одеяле, постланном поверх сосновых веток, а внизу, в канавах, шла работа. Потом кое-кто стал делать неловкие попытки убрать это уединенное местечко цветами и душистыми травами — Томми приносили азалии, дикую жимолость, тигровые лилии. Жителям поселка вдруг открылась красота и ценность этих пустыков, которые они столько лет равнодушно попирали ногами. Пластинка блестящей слюды, кусочки разноцветного кварца,

яркий камешек со дна реки обрели прелесть для прояснившихся, тверже смотревших глаз и приберегались в подарок Счастью. Просто чудо, сколько сокровищ давали леса и горные склоны — сокровищ, которые были «в самый раз нашему Томми». Надо полагать, что маленький Томми, окруженный игрушками, невиданными даже в сказочной стране, не мог пожаловаться на свою жизнь. Вид у малыша был безмятежно-счастливый, хотя ребяческая важность и задумчивый взгляд его круглых серых глаз по временам тревожили Стампи. Томми был всегда послушным и тихим, но однажды с ним произошел такой случай: выбравшись за пределы своего «корраля» — загородки из перевитых сосновых веток, — он ткнулся головой в мягкую землю и, с невозмутимой серьезностью задрав ножки кверху, пробыл в таком положении добрых пять минут. Когда его подняли, он даже не пискнул. Я не решаюсь приводить здесь многие другие доказательства ума Томми, ибо они основываются только на пристрастных свидетельствах его друзей. Кроме того, часть этих рассказов не свободна от некоторого привкуса суеверия.

— Лезу я сейчас вверх по склону, — рассказывал как-то Кентукки, еле переводя дух от восторга, — и — вот провалиться мне на этом месте! — сидит у него на коленях сойка, и он с ней разговаривает. Болтают за милую душу, воркуют оба, что твои херувимчики!

Как бы то ни было, но, выбирався ли Томми за ограду из сосновых веток, лежал ли безмятежно на спине, глядя на листву над головой, ему пели птицы, для него цокала белка, для него распускались цветы. Природа была его нянькой и товарищем его игр. Ему она протягивала сквозь ветви золотые солнечные стрелы — дотянись и схвати их! — ему слала легкий ветерок, приносивший с собой запах лавра и смолы; для него дружески и словно в дремоте покачивали вершинами высокие деревья, жужжали шмели, и засыпал он под карканье грачей.

Такова была золотая пора Ревущего Стана. В те горячие денечки счастье играло на руку его обитателям. Заявки давали уйму золота. Поселок ревниво оберегал свои права и подозрительно посматривал на чужаков, иммиграция не поощрялась, и, чтобы еще больше отгородиться от внешнего мира, обитатели Ревущего Стана закрепили за собой участки по обе стороны гор, стеной окружавших долину. Это обстоятельство плюс репутация,

которую заслужил Ревущий Стан благодаря своему искусству обращаться с огнестрельным оружием, сохраняли нерушимость его границ. Почталъон — единственное звено, соединявшее поселок с окружающим миром, — нередко рассказывал о нем чудеса. Он говорил:

— В Ревущем провели такую улицу! Куда там Рыжей Собаке! Вокруг домов у них насажены цветы, по стенам вьется плющ, моются они по два раза на день. Но чужаку туда лучше носа не совать. А поклоняются они индейскому мальчишке.

Вместе с процветанием появилась и потребность в дальнейших усовершенствованиях. Было предложено выстроить весной гостиницу и пригласить на постоянное жительство два-три почтенных семейства, с расчетом, что Счастью пойдет на пользу женское общество. Столь серьезную уступку, сделанную этими людьми, весьма скептически взиравшими на добродетель и полезность прекрасного пола, можно объяснить только любовью к Томми. Кое-кто восставал против такой жертвы. Но план этот нельзя было осуществить раньше чем через три месяца, и меньшинство покорилось, в надежде, что какие-нибудь непредвиденные обстоятельства помешают задуманному. Так оно и вышло.

Зима 1851 года долго будет памятна у подножия этих гор. На Сьерре выпал глубокий снег, и каждый горный ручеек превратился в реку, каждая река — в озеро. Ущелья наполнились бурными потоками, которые с корнем выдирали на своем пути громадные деревья, разносили плавник и камни по всей долине. Рыжую Собаку заливало уже дважды, и Ревущий Стан получил предостережение.

— Вода намывает золото в ущелья, — сказал Стампи. — Всегда так было и так будет!

И в эту ночь Северный Рукав вдруг вышел из берегов и разлился по всему треугольнику Ревущего Стана.

В хаосе бурлящей воды, падающих деревьев, треска ветвей и тьмы, которая словно неслась вместе с водой и заливала прекрасную долину, трудно было отыскать жителей разрушенного поселка. Когда наступило утро, хижины Стампи, ближайшей к реке, на месте не оказались. Выше по ущелью нашли тело ее незадачливого хозяина. Но гордость, надежда, радость, Счастье Ревущего Стана исчезли бесследно. Люди, вышедшие на его поиски, с тяжелым сердцем брели вдоль реки, как вдруг кто-то

окликнул их. Окрик шел из спасательной лодки, плывшей вниз по течению. Она подобрала в двух милях отсюда мужчину и ребенка — обоих без признаков жизни. Кто-нибудь знает их? Они здешние?

Достаточно было одного взгляда, чтобы узнать Кентукки, обезображенного, искалеченного, но все еще прижимающего к груди Счастье Ревущего Стана. Склонившись над этой странной парой, люди увидели, что ребенок уже похолодел и пульс у него не бьется.

— Умер, — сказал кто-то.

Кентукки открыл глаза.

— Умер? — чуть слышно проговорил он.

— Да, друг, и ты тоже умираешь.

Улыбка промелькнула в угасающих глазах Кентукки.

— Умираю, — повторил он. — Иду следом за ним. Скажите всем, что теперь Счастье всегда будет со мной.

И взрослого, сильного человека, хватающегося за хрупкое тело ребенка, как утопающий хватается за соломинку, унесла призрачная река, которая вечно катит свои волны в неведомое нам море.

КОМПАНЬОН ТЕННЕССИ



Вряд ли кому-нибудь из нас было известно его настоящее имя. Впрочем, это обстоятельство не причиняло нам ни малейших неудобств в общении с ним, так как в 1854 году почти всех обитателей Сэнди-Бара окрестили заново. Прозвища давались или по какой-нибудь особенности в одежде, как это было с «Нанковым Джеком», или в насмешку над каким-нибудь чудачеством, как с «Содовым Биллом», который валил в хлеб свой насущный несуразное количество соды, или же из-за простой обмолвки, чему служит доказательством «Железный Пират», — тихий, безобидный человек, обязаный своей мрачной кличкой тому, что он неправильно произносил термин «железный пирит». Кто знает, может быть, так закладывались основы примитивной геральдики? Впрочем, я склонен объяснять пристрастие к прозвищам тем фактом, что в то время настоящее имя человека можно было узнать только с его собственных слов, никем и ничем не подтвержденных.

— Так тебя, говоришь, зовут Клиффорд? — с бесконечным презрением обратился Бостон к одному скромному новичку. — Таковыми Клиффордами в преисподней хоть пруд пруди! — И тут же представил нам несчастного, которого действительно звали Клиффорд, под именем «Болтуна Чарли». Эта кличка, рожденная минутным вдохновением нечестивца Бостона, так и пристала к Клиффорду на всю жизнь.

Но вернемся к Компаньону Теннесси, которого мы только и знали под этим именем, выразившим его отношение к другому лицу. То, что он существует сам по себе как личность, и довольно яркая, стало нам ясно

гораздо позже. В 1853 году он отправился из Покер-Флета в Сан-Франциско подыскать себе жену, но дальше Стоктона не уехал. Там его пленила одна молодая особа, прислуживавшая за столиками в ресторане, куда он ходил обедать. Однажды утром он сказал ей что-то такое, что заставило ее улыбнуться отнюдь не сурово, не без некоторого кокетства опрокинуть блюдо с гренками прямо на его серьезную, простоватую физиономию, обращенную к ней, и скрыться на кухне. Он проследовал туда же и через несколько минут вернулся, увенчанный опять-таки гренками и лаврами победы. Неделию спустя судья сочетал их браком, и молодожены приехали в Покер-Флет. Я сознаю, что этот эпизод можно было бы разукрасить, но предпочитаю изложить его так, как он излагался в Сэнди-Баре — на заявках и в салунах, где всякая сентиментальность умеряется сильно развитым чувством юмора.

О супружеском счастье этой пары мало что известно, ибо сам Теннесси, который жил тогда у своего компаньона, вскоре обратился к новобрачной с какими-то словами, на которые она, как говорят, улыбнулась отнюдь не сурово и целомудренно скрылась, на этот раз в Мэрисвилл, куда за ней последовал и Теннесси и где они зажили вдвоем без помощи судьи. Компаньон Теннесси отнесся к потере жены, как относился ко всему в жизни, — просто и серьезно. Но когда Теннесси в один прекрасный день вернулся из Мэрисвилла без жены своего компаньона — она улыбнулась еще кому-то и скрылась с ним, — Компаньон Теннесси, ко всеобщему изумлению, первый пожал ему руку и дружески приветствовал его. Люди, собравшиеся в каньоне поглазеть на поединок, естественно, вознегодовали. Их негодование могло бы перейти в едкие насмешки, но взгляд Компаньона Теннесси ясно говорил, что он не способен оценить юмор. В самом деле, это был человек серьезный, склонный всегда становиться на путь практических мероприятий, что в случае каких-либо недоразумений с ним грозило неприятностями.

Между тем в Сэнди-Баре о Теннесси сложилось неблагоприятное мнение. Все знали, что он нечисто играет, подозревали его и в воровстве. Все это в равной степени набрасывало тень и на Компаньона Теннесси: продолжение их дружбы после вышеизложенных событий можно было объяснить только сообщничеством в преступлениях. Наконец виновность Теннесси стала совершенно явной. Однажды он нагнал на дороге человека, который шел в

поселок Рыжая Собака. Впоследствии этот человек рассказывал, что Теннеси развлекал его в пути разными анекдотами и воспоминаниями и вдруг ни с того ни с сего закончил беседу следующими словами:

— А теперь, молодой человек, потрудитесь отдать мне ваш револьвер, нож и деньги. Чего доброго, попадете в беду с таким арсеналом, а на деньги ваши в Рыжей Собаке могут позариться какие-нибудь мошенники. Сдается, вы говорили, что проживаете в Сан-Франциско? Постараюсь вас навестить там.

Надо сказать, что у Теннеси было недюжинное чувство юмора, которое не покидало его даже тогда, когда он занимался серьезными делами.

Это был его последний подвиг. Рыжая Собака и Сэнди-Бар объединились против грабителя. На Теннеси устроили облаву, как на медведя-гризли. Видя, что сети опутывают его все туже и туже, он сделал отчаянную попытку прорваться сквозь поселок, разрядив револьвер в толпу перед салуном «Аркадия», и скрылся в Медвеьем каньоне. Но в конце каньона путь ему преградил человек на серой лошади. С минуту они молча смотрели друг на друга. Оба были бесстрашны, хладнокровны, уверены в себе; оба прекрасные образчики цивилизации, которых в семнадцатом веке называли бы героическими личностями, а в девятнадцатом — попросту головорезами.

— Покажи свою игру — чья будет взятка, — спокойно сказал Теннеси.

— Два козыря и туз, — не менее спокойно ответил незнакомец, показывая два револьвера и охотничий нож.

— Моя карта бита, — сказал Теннеси. Отпустив эту игрецкую шуточку, он швырнул в сторону бесполезный револьвер, и под конвоем своего поимщика отправился обратно.

Был жаркий вечер. Прохладный ветерок, поднимавшийся обычно с заходом солнца из-за гор, поросших густым чапаралем, на этот раз миновал Сэнди-Бар. В узком каньоне стоял душный запах смолы; с отмелей, заваленных сплавным лесом, тянуло гнилью. Лихорадочная суматоха и жаркие страсти, бушевавшие в тот день в поселке, еще не стихли. Вдоль речного берега, не отражаясь в мутной воде, сновали огоньки. За темными стволами сосен ярко светилось окно чердака над почтовой конторой, и сквозь незанавешенное стекло зевакам, со-

бравшимся внизу, были видны те, кто решал участь Теннесси. А вверху, надо всем этим, вырисовываясь на темном небосводе, поднималась Сьерра, далекая и равнодушная, увенчанная еще более далекими и равнодушными звездами.

Суд над Теннесси велся настолько беспристрастно, насколько это соответствовало стремлению судьи и присяжных хоть как-нибудь оправдать в приговоре недостаточную юридическую обоснованность ареста и обвинительного заключения. Закон Сэнди-Бара разил неумолимо, но не мстил. Азарт и ярость, порожденные охотой на преступника, улеглись; заполучив Теннесси в свои руки, эти люди готовы были терпеливо выслушать любую речь в его защиту, заранее уверенные, что она будет недостаточно убедительна. Не сомневаясь в виновности подсудимого, они охотно давали ему право использовать в своих интересах любое колебание мнений. Уверенность в том, что преступник заслуживает петли, позволяла предоставить ему такие возможности защищаться, каких этот отчаянный смельчак, по-видимому, и не требовал. Судья, вероятно, был озабочен больше, чем подсудимый, который, не выказывая ни малейшего интереса к ходу дела, испытывал мрачное удовольствие при мысли о том, какую ответственность он налагает на других.

«Я в вашей игре не участвую», — таков был его неизменный, но беззлобный ответ на все вопросы. Судья — он же и поимщик Теннесси — на минуту почувствовал смутное сожаление, что не застрелил его на месте в то утро, однако поборол в себе эту человеческую слабость, как недостойную слуги закона. Тем не менее, когда послышался стук в дверь и выяснилось, что в пользу подсудимого хочет выступить Компаньон Теннесси, его сразу впустили. Присяжные помоложе, начинавшие изнывать от этой внушительной процедуры, в глубине души, может быть, приветствовали появление в зале суда нового лица, которое отнюдь не отличалось внушительностью. Приземистый, с квадратным, неестественно красным от загара лицом, в мешковатой парусиновой куртке и забрызганных красной глиной штанах, Компаньон Теннесси при любых обстоятельствах мог показаться фигурой весьма странной, а сейчас он был просто смешон. Когда он нагнулся поставить на пол тяжелый ковровый саквояж, полустертые буквы и надписи на заплатках, которыми пестрели его штаны, сразу уяснили присутствующим, что

этот материал первоначально предназначался для менее возвышенных целей. Но Компаньон Теннесси, как ни в чем не бывало, с весьма степенным видом прошел вперед, учтиво поздоровался со всеми за руку, вытер свое серьезное, озабоченное лицо красным носовым платком, чуть уступавшим в яркости цвету его кожи, оперся могучей рукой о стол и обратился к судье со следующими словами.

— Я проходил мимо, — начал он извиняющимся тоном, — дай, думаю, зайду послушаю, как обернется дело Теннесси... моего компаньона. Вечер-то какой душный! Что-то я не припомню такой жары в Сэнди-Баре.

Он немного помолчал и, так как никто не проявил желания предаться вместе с ним метеорологическим воспоминаниям, снова прибег к помощи носового платка и старательно вытер лицо.

— Вы имеете что-нибудь сказать о подсудимом? — спросил наконец судья.

— Вот, вот! — обрадовался он. — Я ведь компаньон Теннесси, я знаю его почти четыре года, насквозь знаю, как облупленного, и в беде и в счастье с ним был. Не по душе мне некоторые его повадки, что греха таить! Но нет в нем ничего такого, чего бы я не знал, и все его проделки мне известны. И когда вы спрашиваете меня напрямик, как мужчина мужчине: «Знаете ли вы что-нибудь о своем компаньоне?» — то я говорю тоже напрямик, как мужчина мужчине: «Неужто человек может не знать своего компаньона?»

— И это все, что вы хотели сказать? — нетерпеливо перебил его судья, видимо опасаясь, что чувство юмора настроит суд на более гуманный лад.

— Все, — ответил Компаньон Теннесси. — Мне против него не пристало говорить. А если рассудить, как было дело... Теннесси понадобились деньги, до зарезу понадобились, а одолжаться у своего старого компаньона он не хочет. Так что же Теннесси делает? Подкарауливает какого-то чужака и разделяется с этим чужаком по-своему. А вы подкарауливаете Теннесси и тоже разделяетесь с ним по-своему. Положение у вас равное. И вот я, как человек рассудительный, спрашиваю вас, джентльмены, а вы тоже люди рассудительные, — так это или не так?

— Подсудимый, — прервал его судья, — есть у вас вопросы к этому человеку?

— Что вы, что вы! — засуетился Компаньон Теннес-

си. — Я сам по себе пришел. А суть дела вот в чем: Теннесси ни с кем не посчитался — чужаку это дорого обошлось и нашему поселку тоже. Как же будет по-честному? Одни скажут — так, другие — эдак. Вот у меня здесь золота на тысячу семьсот долларов и часы — почти все мое богатство. Вот давайте и разотчемся! — И не успели ему помешать, как он высыпал содержимое саквояжа на стол.

Одно мгновение жизнь Компаньона Теннесси висела на волоске. Двое-трое вскочили со своих мест, несколько рук потянулось к припрятанному в карманах оружию, и предложение «вышвырнуть оскорбителя в окно» не было исполнено только благодаря тому, что судья предостерегающе поднял руку. Теннесси посмеивался. А компаньон его, по-видимому не замечая общей суматохи, спясть утерся платком.

Когда порядок был восстановлен и Компаньону Теннесси наконец весьма выразительно и красноречиво дали понять, что такое преступление не искупить деньгами, лицо его омрачилось и стало совсем багровым; те, кто стоял рядом с ним, заметили, как задрожала его заскорузлая рука, опиравшаяся о стол. Он начал убирать золото обратно в саквояж, но как-то нерешительно, точно еще не вполне поняв возвышенного чувства справедливости, владевшего трибуналом, и теряясь от мысли, что мало предложил. Потом он обратился к судье со словами: «Я сам по себе пришел, мой компаньон тут ни при чем», — поклонился присяжным и шагнул к выходу, но судья остановил его:

— Если хотите что-нибудь сказать Теннесси, говорите сейчас.

Впервые за все время глаза подсудимого встретились с глазами его странного адвоката. Теннесси улыбнулся, показав свои белые зубы, и со словами: «Плохая карта, дружище!» — протянул ему руку. Компаньон Теннесси пожал ее, пробормотав: «Шел мимо, дай, думаю, взгляну — послушаю, как тут дела обернутся», — потом добавил, что «вечер душный», снова вытер лицо платком и, не сказав больше ни слова, удалился.

При жизни эти двое больше не встретились. Неслышанное оскорбление, нанесенное судье Линчу¹, — попытка

¹ Линч Чарлз — американский плантатор-расист, живший в XVIII веке. Суд Линча — расправа над неграми и прогрессивно настроенными белыми без суда и следствия.

дать взятку этому фанатичному, слабому, ограниченному, но неподкупному судье — окончательно устранила в сознании этой мифической личности всякие колебания относительно судьбы Теннесси. И на рассвете осужденный под надежным конвоем пошел ей навстречу к вершине Марли-Хилла.

Как произошла эта встреча, с каким хладнокровием вел себя Теннесси, как он отказался что-либо сказать, насколько исполнители приговора справились со своей задачей — все это, с присовокуплением морали и предостережений на будущее всем злоумышленникам, было в свое время изложено редактором «Глашатая Рыжей Собаки», который находился в числе зрителей на вершине Марли-Хилла, и я с удовольствием отсылаю читателя к его красноречивому отчету. Но прелесть летнего утра, сладостная гармония земли, воздуха и неба, пробуждающиеся к жизни вольные леса и горы, ликование обновленной природы и, самое главное, нерушимое спокойствие в вышине не попали на страницы газеты, будучи явлениями малопоучительными для общества. И все же, когда жалкое и безумное деяние свершилось и жизнь с ее надеждами и возможностями покинула тело, повисшее между небом и землей, птицы пели, цветы благоухали, солнце светило так же радостно, как всегда; и весьма возможно, что «Глашатай Рыжей Собаки» был прав.

Компаньона Теннесси не было в толпе, окружавшей зловещее дерево. Но когда люди стали расходиться, их внимание привлекла неподвижно стоявшая у дороги тележка, запряженная ослом. Подойдя ближе, все узнали почтенную Джинни и двуколку — собственность Компаньона Теннесси, на которой он свозил с участка отработанную породу; а подалее, под каштаном, вытирая пот с лоснящегося лица, сидел и сам хозяин этого выезда. В ответ на чей-то вопрос он сказал, что приехал за покойным, «если не будет возражений». Он никого не торопит — он сегодня не работает и может подождать, куда джентльмены не кончат своего дела.

— Если найдутся желающие присутствовать на похоронах, — добавил Компаньон Теннесси, как всегда просто и серьезно, — пусть приходят.

Возможно, тут заговорило чувство юмора, которым, как я уже отмечал, славился Сэнди-Бар, а возможно, и что-нибудь большее, но две трети зевак сразу приняли приглашение.

В полдень тело Теннесси передали его компаньону. Когда тележка подъехала к роковому дереву, мы увидели, что на ней стоит продолговатый ящик, очевидно сколоченный из досок промывного желоба и наполовину набитый древесной корой и хвоей. Сама двуколка была украшена ивовыми ветками и благоухающими цветами каштана. Как только тело положили в ящик, Компаньон Теннесси прикрыл его просмоленным брезентом, с серьезным видом взобрался на узенькое сиденье и, поставив ноги на оглобли, стегнул ослицу. Двуколка двинулась с той благопристойной медлительностью, которая была свойственна Джинни даже при менее торжественных обстоятельствах. Провожающие — народ незлобивый — отчасти из любопытства, отчасти ради шутки потянулись кто впереди, кто сзади, кто по бокам. Но оттого ли, что мало-помалу дорога начала суживаться, оттого ли, что в них восторжествовало чувство благопристойности, все они постепенно выстроились парами позади этого убогого катафалка, с виду ничем не отличаясь от обычной похоронной процессии. Джек Фолинсби вначале пытался сделать вид, будто играет похоронный марш на воображаемом тромбоне, но, не встретив сочувствия и одобрения, быстро стушевался, что свидетельствовало об отсутствии в нем дара истинного юмориста, умеющего обходиться без аудитории.

Дорога проходила Медвежьим каньоном, который уже был укутан в траурные сумерки и тени. Вдоль нее, вытянувшись гуськом, зарыв мохнатые ноги в красную землю, как индейцы в мокалинах, стояли секвойи, и склоненные ветви их неуклюже посылали гробу свое благословение. Заяц, с перепугу поднявшись на задние лапы и дрожа всем телом, следил за процессией из придорожных зарослей папоротника. Белки скакали по верхушкам деревьев, стараясь получше рассмотреть, что делается внизу; сойки, расправив крылья, неслись впереди них, точно фореиторы. Наконец катафалк выехал на окраину Сэнди-Бара и поравнялся с одинокой хижиной Компаньона Теннесси.

Даже в более веселую минуту это место не могло бы порадовать глаз. Скучный ландшафт, убогое жилье, мерзость запустения вокруг — так вьют свои гнездышки все калифорнийские золотоискатели, а здесь па всем лежала печать какого-то особого уныния и заброшенности. В нескольких шагах от хижины стояла плохонькая изгородь,

за которой в недолгие дни супружеского счастья Компаньона Теннесси был садик, теперь заросший папоротником. Подойдя ближе, мы с изумлением увидели, что кучка земли, показавшаяся нам издали свежевскопанной грядкой, была навалена у открытой могилы.

Двуколка остановилась у изгороди; отклонив предложения помочь ему, Компаньон Теннесси все с тем же спокойным достоинством взвалил самодельный гроб на плечи и сам опустил его в неглубокую могилу. Потом он прибил гвоздями доски, заменившие гробу крышку, стал на маленький холмик рядом с могилой, снял шляпу и неторопливо вытер платком лицо. Все поняли, что он готовится произнести речь, и, разместившись кто на пнях, кто прямо на каменистой земле, ждали, что будет дальше.

— Когда человек весь день бегал где вздумается, — медленно начал Компаньон Теннесси, — то что ему надо сделать? Да вернуться домой, конечно! А если сам он не может идти, то что должен сделать его лучший друг? Доставить его домой! Так вот и Теннесси бегал где вздумается, а теперь мы доставили его домой. — Он замолчал, поднял с земли кусочек кварца, задумчиво потер его о рукав и продолжал: — Мне не впервой нести Теннесси на спине. Сколько раз, бывало, я тащил его в хижину, когда он и пальцем шевельнуть не мог. Сколько раз мы с Джинни поджидали его на холме и везли домой, когда он и языком не ворочал и меня не узнавал. А вот сегодня это в последний раз. — Он снова замолчал и снова осторожно потер кусочек кварца о рукав. — И, знаете, нелегко это его компаньону. — Он поднял с земли лопату с длинной ручкой. — А теперь, джентльмены, похоронный обряд окончен. За ваше беспокойство премного вам благодарен, и Теннесси тоже вас благодарит.

Отказавшись от нашей помощи, Компаньон Теннесси повернулся к нам спиной и стал засыпать могилу; после минутного колебания толпа начала постепенно расходиться. Поднявшись на холм, который закрывал Сэнди-Бар, люди оглядывались назад и уверяли, будто отсюда видно Компаньона Теннесси и будто он, кончив свое дело, сидит на могиле, поставив лопату между колен и закрыв лицо красным платком. Впрочем, другие говорили, что на таком расстоянии не отличить его лица от платка, и этот вопрос так и остался неразрешенным.

Лихорадочное волнение того дня улеглось, но Ком-

паньона Теннесси не забыли. Тайное расследование отвело от него всякие подозрения в сообщничестве с Теннесси и оставило невыясненным только вопрос о состоянии его рассудка. Сэнди-Бар повадился заходить к нему в хижину и одолевал его своими неуклюжими, но дружескими услугами. Однако с того дня железное здоровье и несокрушимая сила Компаньона Теннесси начали заметно сдавать, и, когда пошли дожди и на каменистой могильной насыпи стали пробиваться тонкие усики травы, он совсем слег.

Как-то ночью, в бурю, когда сосны у хижины раскачивались на ветру, проводя своими тонкими пальцами по крыше, а снизу доносился рев и плеск вздувшейся реки, Компаньон Теннесси поднял голову с подушки и сказал:

— Пора идти за Теннесси. Пойду запрягу Джинни.— Он хотел было встать с койки, но человек, представленный к нему для ухода, удержал его. Сопротивляясь, он все еще продолжал бредить: — Ну, ну, Джинни, стой спокойно, старушка. Темно-то как! Гляди, где тут колея, и про него тоже не забывай. Ведь знаешь, напьется и рухнет поперек дороги. Держи вон к той самой сосне на горе. Стоп! Ну, что я говорил? Вот он, идет сюда — сам идет, трезвый, и лицо светится. Теннесси! Компаньон!

И тут они встретились.

Глава I


К

ак раз в том месте, где Сьерра-Невада переходит в волнистые предгорья и реки становятся не такими быстрыми и мутными, на склоне высокой Красной горы расположился Смитов Карман. Если на закате солнца смотреть на поселок с ведущей к нему красной дороги, то в красных лучах и в красной пыли его белые домики кажутся гнездами кварца, вкрапленными в гору. Красный дилижанс с пассажирами в красных рубашках много раз пропадает из виду на извилистом спуске, неожиданно появляется вновь и совершенно исчезает из глаз в сотне шагов от поселка. Вероятно, благодаря этим неожиданным поворотам дороги прибытие нового лица в Смитов Карман обычно сопровождается странным обстоятельством. Выйдя из дилижанса на станции, самонадеянный путешественник непременно направится в сторону от поселка в полной уверенности, что идет куда следует. Рассказывают, что какой-то старатель встретил одного из таких самонадеянных пассажиров в двух милях от поселка, с ковровым саквояжем, зонтиком, журналом «Харперс» и прочими атрибутами «цивилизации и культуры», в безуспешных поисках Смита Кармана шествующего в обратную сторону по той самой дороге, по которой он только что приехал.

Если путешественник наблюдателен, своеобразие пейзажа до некоторой степени вознаградит его. Глубокие расселины в склоне горы и оползни красной глины больше напоминают первобытный хаос, чем результаты человеческих трудов; на половине спуска длинный и узкий желоб растопыривает свои уродливые лапы над пропастью, словно гигантский скелет допотопного ископаемого.

На каждом шагу дорогу пересекают канавы поуже, тающие в своих желтых глубинах мутные ручьи, которые спешат тайно соединиться с желтой рекой внизу; кое-где виднеются разрушенные хижины с торчащей трубой и очагом, открытым ветру.

Своим происхождением Смитов Карман обязан некоему Смигу, обнаружившему Карман на том месте, где стоит теперь поселок. Пять тысяч долларов были выбраны из него Смигом в первые полчаса. Три тысячи долларов были истрачены Смигом и другими на сооружение желоба для промывки золота и на рытье шурфов. А потом оказалось, что участок Смита — просто карман, который легко опустошить, как и другие карманы. Хотя Смит дорылся до самых недр Красной горы, эти пять тысяч были первой и последней наградой за его труды. Гора не выдала своей золотой тайны, а желоб спустил в реку последние деньжонки Смита. Смит занялся разработкой кварцевых жил, затем дроблением кварца, затем установкой грохотов и рытьем канав, а там легко докатился и до содержания салуна. Скоро стали поговаривать, что Смит сильно пьет, потом стало известно, что он горький пьяница, потом люди, как водится, начали думать, что он сроду был такой. К счастью, поселок Смитов Карман, как и большинство таких поселков, не зависел от судьбы своего основателя, и теперь не он, а другие закладывали шурфы и находили карманы. И вот Смитов Карман превратился в городок с двумя галантерейными лавками, двумя гостиницами, конторой дилижансов и двумя первыми в поселке семействами. Время от времени единственная улица поселка, непомерно растянувшаяся в длину, благоговейно созерцала последние моды Сан-Франциско, выписанные с нарочным исключительно для двух первых семейств. Тогда поруганная природа выглядела еще более неказистой, и большинство населения, которому день субботний напоминал не о нарядах, а только о необходимости помыться и переменить белье, видело в этом франтовстве личное оскорбление. Была в поселке и методистская церковь, а рядом с ней банк, немного дальше, на склоне горы, — кладбище, а за ним — маленькая школа.

Однажды вечером «учитель» — под этим именем его знала маленькая паства — сидел в школе, разложив перед собой открытые тетради, и старательно выводил в них крупными и твердыми буквами те прописи, в которых, как принято думать, высокое искусство чистописания соче-

тается с высокой назидательностью. Он уже дошел до изречения «Не все то золото, что блестит» и украшал существительное лицемерным завитком, вполне соответствовавшим характеру этой прописи, когда послышался легкий стук. На крыше целый день возились дятлы, и их стук не мешал ему работать. Но когда дверь отворилась и стук послышался уже в комнате, учитель поднял глаза. Он немного удивился, увидев перед собой девочку-подростка, неряшливо и бедно одетую. Однако большие черные глаза, жесткие, растрепанные, черные без блеска волосы, падавшие на загорелое лицо, красные руки и ноги, измазанные красной глиной, были ему знакомы. Это была Мелисса Смит, выросшая без матери дочка Смита.

«Что ей здесь понадобилось?» — подумал учитель.

Все знали «Млисс», под этим именем она была известна в поселках Красной горы. Все знали, что она неисправима. Ее дикий, неукротимый нрав, сумасбродные выходки, непокорный характер вошли в поговорку так же, как и слабости ее отца, и население поселка относилось к ним не менее философски. Она ссорилась и дралась со школьниками, не уступая им в силе и превосходя их язвительностью. Она карабкалась по горным тропам с ловкостью настоящего горца, и учитель не раз встречал ее в горах, за много миль от поселка, босую, с непокрытой головой. Золотоискатели в своих лагерях кормили ее во время этих добровольных скитаний, щедро подавая милостыню. Впрочем, когда-то ей была оказана и более существенная помощь. Преподобный Джошуа Мак-Снэгли, «штатный» проповедник поселка, устроил ее служанкой в гостиницу, надеясь, что там она научится прилично вести себя, и принял ее в воскресную школу. Но она швыряла в хозяина тарелками, отвечала дерзостями на дешевые остроты гостей, а в воскресной школе произвела сенсацию, настолько несовместимую с благочестивой и мирной скукой этого учреждения, что почтенный проповедник, оберегая накрахмаленные платица и совершенную непорочность двух бело-розовых девочек из первых семейств, с позором изгнал ее оттуда. Такова была история, и таков был характер девочки, стоявшей перед учителем. Этот характер угадывался по рваному платью, нечесаным волосам, расцарапанным в кровь ногам и вызывал жалость. Он сверкал в ее черных бесстрашных глазах и требовал к себе уважения.

— Я пришла сюда,— сказала она быстро и смело, устремив твердый взгляд на учителя,— потому что знала, что вы один. Если б эти девчонки были здесь, я бы не пришла. Я их ненавижу, и они меня тоже. Вот что! Вы учите в школе, да? Ну, так я хочу учиться!

Если бы к жалкой одежде и неприглядности спутанных волос и грязного лица прибавились еще смиренные слезы, учитель почувствовал бы только ни к чему не обязывающее сожаление — и ничего больше. Но тут вполне естественно, хоть и не совсем последовательно, ее смелость пробудила в нем то уважение, которое все незаурядные натуры невольно чувствуют друг к другу, на какой бы ступени общественной лестницы они ни стояли. Он внимательно смотрел на нее, а она торопилась высказать все, что нужно, держась за ручку двери и не сводя с учителя глаз:

— Меня зовут Млисс, Млисс Смит! Провалиться мне, если вру! Мой отец — старик Смит, лодырь Смит, вот в чем дело. Я Млисс Смит, и я буду ходить в школу!

— Ну так что же? — сказал учитель.

Млисс привыкла к тому, что ей всегда мешали и перечили, нередко беспричинно и жестоко, только для того, чтобы просто подразнить, и потому растерялась видя невозмутимость учителя. Она загнулась, начала крутить в пальцах прядку волос, и жесткая линия верхней губы, закрывавшей острые зубки, смягчилась и слегка дрогнула. Потом глаза ее опустились, и что-то вроде румянца проступило на щеках сквозь многолетний загар и брызги красной глины. Вдруг девочка подбежала к столу и, припав к нему головой, зарыдала так, словно сердце у нее разрывалось, горестно причитая и моля бога поразить ее смертью.

Учитель тихонько приподнял ее за плечи и стал ждать, пока она успокоится. Отвернувшись в сторону и рыдая, она повторяла, в приступе детского раскаяния, что она исправится, что она не нарочно и т. д., и тут ему пришло в голову спросить, почему она бросила воскресную школу.

Почему она бросила воскресную школу? Почему? Ах, вот как! А зачем он (Мак-Снэгли) сказал, что Млисс плохая? А зачем он говорил, что бог ее не любит? Если бог ее не любит, нечего ей делать в воскресной школе. Она не желает ходить туда, где ее не любят.

— Ты так и сказала Мак-Снэгли?

— Да, так и сказала.

Учитель засмеялся. Смех был искренний, он прозвучал так странно в маленькой школе и так не вязался с шумом сосен за окном, что учитель сейчас же спохватился и вздохнул. Однако и вздох был тоже искренний; помолчав минуту, он спросил ее об отце.

Отец? Какой отец? Чей отец? Что он для нее сделал? За что девочки ее ненавидят? Подите вы, пожалуйста! Отчего же люди говорят, когда она проходит мимо: «Дочка старого лодыря Смита»? Да, да! Уж лучше бы он помер, да и она тоже, да хоть бы и все подошли. И рыдания разразились с новой силой.

Тогда учитель, наклонившись к девочке, стал говорить, как только мог убедительнее, то, что могли бы сказать и мы с вами, услышав от ребенка такие неподходящие речи; он лучше нас с вами знал, как не идет девочке рваное платье, исцарапанные в кровь ноги и как омрачает ее жизнь тень вечно пьяного отца. Потом он помог ей встать, закутал в свой плед и, сказав, чтобы она приходила пораньше утром, проводил ее по дороге. Там он попрощался с ней. Луна ярко освещала узкую тропинку. Он долго стоял и следил, как съезжившаяся маленькая фигурка, спотыкаясь, бредет по дороге, подождал, пока она миновала кладбище и поднялась на гребень холма, где обернулась и постояла минутку — пылинка человеческого горя в сиянии далеких терпеливых звезд. Потом он вернулся и снова сел за работу. Но линейки в тетрадах казались ему теперь длинными параллелями бесконечных тропинок, по которым, всхлипывая и плача, уходили в темноту детские фигурки. Школа казалась теперь еще неприютнее, и он запер дверь и ушел домой.

Наутро Млисс пришла в школу. Ее лицо было вымыто, а жесткие черные волосы носили следы недавней борьбы с гребнем, в которой пострадали, очевидно, обе стороны. Иногда ее глаза сверкали по-старому задорно, но держалась она более смиренно и послушно. Начались взаимные испытания и уступки со стороны учителя и со стороны ученицы, и взаимное доверие и симпатия между ними крепили и росли. При учителе Млисс сидела смиренно, зато на переменах она приходила в необузданную ярость из-за какой-нибудь воображаемой обиды, и не один юный дикарь в разорванной куртке и с царапинами на щеках, найдя в ней равного по силе противника, весь в слезах разыскивал учителя и жаловался на «эту противную Млисс». Жители поселка резко расходились во мнениях

по этому поводу; одни грозили, что возьмут своих детей из такого дурного общества, другие столь же горячо поддерживали учителя, взявшего на себя задачу перевоспитания Млисс. А учитель с упорной настойчивостью, впоследствии удивлявшей его самого, вытягивал Млисс из мрака ее прошлой жизни, и она как будто сама, без чужой помощи, двигалась вперед по узкой тропе, на которую он вывел ее в ту лунную ночь. Помня опыт фанатика Мак-Снэгли, учитель старательно избегал того подводного камня, о который этот малоопытный лоцман разбил ладонью ее робкой веры. И если при чтении ей попались те немногие слова, которые поставили младенцев выше взрослых людей, более опытных и благоразумных, если она узнала что-нибудь о вере, символ которой — страдание, и задорный огонек в ее глазах смягчился, то это был уже не урок. Несколько простых людей собрали небольшие деньги, чтобы оборванная Млисс могла одеться, согласно требованиям приличия и цивилизации. И нередко крепкое рукопожатие и бесхитростные слова одобрения какой-нибудь коренастой фигуры в красной рубашке заставляли молодого учителя краснеть и думать, что похвала вряд ли заслужена им.

Прошло три месяца с тех пор, как они встретились впервые. Поздно вечером учитель сидел над назидательной прописью, когда в дверь постучались и перед ним снова предстала Млисс. Она была опрятно одета и умыта, и только длинные черные косы да блестящие черные глаза напоминали учителю прежнюю Млисс.

— Вы заняты? — спросила она. — Можете пойти со мной? — И когда он изъявил полную готовность, она сказала по-прежнему своевольно: — Ну, тогда идем скорее!

Они вместе вышли из школы на темную дорогу. Уже в городе учитель спросил, куда они идут.

— К отцу, — ответила Млисс.

В первый раз она назвала его, как подобает дочери, а не «стариком Смитом» или просто «стариком». В первый раз за все эти три месяца она заговорила о нем, — учитель знал, что Млисс решительно отдалилась от отца с тех пор, как в ее жизни произошел перелом. Понимая, что расспрашивать Млисс о цели их путешествия бесполезно, он покорно шел за ней. Вместе с нею он заходил в самые подозрительные притоны, в кабачки самого низкого пошиба, в закусочные, в бары, в игорные и танцевальные залы. Девочка стояла среди сизого дыма и громкой брани,

тревожно оглядываясь и держа учителя за руку, и, по-видимому, ни о чем не думала, вся поглощенная своим поиском. Иногда гуляки, узнав Млисс, подзывали ее, чтобы она им спела и сплясала, и, верно, заставили бы ее выпить глоток-другой, если б не вмешательство учителя. Другие, узнав его, безмолвно расступались, давая дорогу. Так прошел час. Потом девочка шеннула учителю на ухо, что по ту сторону ручья, через который перекинут длинный желоб, стоит хижина и, может быть, ее отец там. Туда они и отправились. Нелегкий путь отнял полчаса, но поиски их были тщетны. Они уже возвращались домой вдоль канавы, тянувшейся мимо устоев желоба, глядя на огни поселка за ручьем, как вдруг в чистом почном воздухе неожиданно и резко прозвучал выстрел. Эхо подхватило выстрел и понесло вокруг Красной горы, и, услышав его, собаки на приисках залаяли. На окраине поселка задвигались и заплясали огни, ручей зажурчал более внятно, два-три камня отделились от обрыва и с плеском упали в воду, порыв ветра всколыхнул вершины траурных сосен — и после этого тишина словно сгустилась, стала еще глуше и еще мертвеннее. Учитель невольно обернулся к Млисс, словно для того, чтобы защитить ее, но девочка исчезла. Сердце у него сжалось от страха, он быстро сбежал по тропинке к ручью и, перепрыгивая с камня на камень, очутился у подножия Красной горы, где начинался поселок. На середине пути он взглянул вверх, и у него захватило дыхание: высоко над собой, на узком желобе, он заметил фигурку своей спутницы, перебегавшую по желобу в темноте.

Выбравшись на крутой берег, он пошел прямо на огоньки, которые двигались по горе вокруг одной какой-то точки, и скоро, совсем запыхавшись, очутился среди притихших и опечаленных золотоискателей.

Из толпы выступила девочка и, взяв учителя за руку, молча подвела его к пещере с обвалившимися краями. Лицо Млисс сильно побледнело, но она больше не волновалась, и ее глаза смотрели так, словно произошло наконец событие, которого она давно ожидала; в ее взгляде было что-то похожее на облегчение, как показалось растерявшемуся учителю. Стены пещеры местами были подперты полусгнившими стойками. Девочка показала на бесформенную грудку, которую учитель принял было за лохмотья, оставленные в пещере ее последним жильцом. Он поднес ближе горящую сальную свечу и нагнулся над

лохмотьями. Это был Смит. Уже похолодевший, с пистолетом в руке и пулей в сердце, он лежал возле своего пустого «кармана».

Г л а в а II

Мнение, высказанное Мак-Снэгли относительно «духовного перелома», который, по его словам, переживала Млисс, нашло себе более образное выражение в шахтах и на приисках. Там говорили, что Млисс «разрабатывает новую жилу». Когда на маленьком кладбище прибавилась еще одна могила и над нею на средства учителя была поставлена небольшая надгробная плита, «Знамя Красной горы», не пожалев затрат, выпустило специальный номер, который воздавал должное памяти «одного из старейших наших пионеров», осторожно намекая на «причину гибели многих благородных умов» и всячески затушевывая неблагоприятное прошлое «нашего дорогого собрата».

«Его оплакивает единственная дочь, — писало «Знамя», — которая за последнее время показала примерные успехи в науках благодаря усилиям почтенного мистера Мак-Снэгли». Почтенный Мак-Снэгли действительно много носился с идеей обращения Млисс и, косвенно обвиняя несчастного ребенка в самоубийстве отца, намекал в воскресной школе на благотворное действие «безгласной могилы». От таких утешительных речей дети замирали в страхе, а бело-розовые отпрыски самых первых семейств в городке раздражались отчаянным ревом, не желая слушать никаких уговоров.

Наступило долгое засушливое лето. День за днем догорал на вершинах гор в клубах жемчужно-серого дыма, ветерок налетал и рассеивал над землей красную пыль, и зеленая волна, захлестнувшая ранней весной могилу Смита, пожелтела, завяла и высохла. Учитель, гуляя по воскресеньям на кладбище, иногда с удивлением находил цветы из влажных сосновых лесов, рассыпанные на этой могиле, а еще чаще — неуклюжие венки на маленьком сосновом кресте. Почти все венки были сплетены из душистой травы, какую дети любили держать в партах, и цветущих веток конского каштана, дикого жасмина и лесных анемонов; среди других цветов учитель заметил кое-где темно-синие клубочки ядовитого борца, или аконита. Ядовитая трава, попавшая в надгробный венок, скорее производила тяжелое впечатление, чем радовала глаз.

Однажды, во время долгой прогулки, поднимаясь на лесистый горный склон, он встретил Млисс в самой глубине леса. Она сидела на поваленной сосне, косматые сухие ветви которой образовали что-то вроде фантастического трона, и, разбирая травы и шишки, лежавшие у нее на коленях, тихо напевала негритянскую песенку, которой выучилась в детстве. Узнав учителя еще издали, она подвинулась, освободив ему место рядом с собой, и гостеприимно и покровительственно, что могло бы показаться смешным, если б она вела себя не так серьезно, угостила его орехами и дикими яблоками. Заметив у нее на коленях темные цветы аконита, учитель воспользовался случаем и рассказал ей о вредных, ядовитых свойствах этого растения, взяв с нее слово, что она не станет его рвать, пока учится в школе. Зная по опыту, что на честность девочки можно положиться, он поверил ей, и странное чувство, возникшее у него при виде этих цветов, мало-помалу прошло.

Из всех семей, предложивших приютить Млисс под своим кровом после того, как стало известно, что она «обратилась», учитель выбрал семью миссис Морфер, женщины добросердечной, которая была уроженкой юго-восточных штатов и в девичестве носила прозвище «Роза Прерий». Миссис Морфер была одной из тех натур, которые энергично сопротивляются собственным склонностям, и после долгой борьбы с собой и многих жертв она подчинила наконец свой безалаберный характер идее «порядка», который считала вместе с Попом «первым законом небес». Но как бы закономерно ни было ее движение по собственной орбите, она не в состоянии была уследить за своими спутниками, и даже ее Джим подчас сталкивался с ней. Но истинный характер миссис Морфер возродился в ее детях. Ликург шарил в буфете до обеда, Аристид возвращался из школы без башмаков, сбросив эту важную часть туалета на улице ради удовольствия прогуляться босиком по канавам. Октавия и Кассандра были порядочные неряхи. И сколько Роза Прерий ни подстригала и ни холила свою зрелую красоту, ее юные отпрыски росли дико и буйно, наперекор матери, за одним-единственным исключением. Этим исключением была Клитемнестра¹ Морфер, пятнадцати лет от роду. Чистенькая,

¹ Брет Гарт иронизирует над тщеславием миссис Морфер, которая дала своим детям имена героев Древней Греции и Рима.

аккуратная и скучная, она как бы воплощала собой безупречный идеал матери.

Миссис Морфер имела слабость думать, что Клити служит для Млисс утешением и примером. Повинуясь этой слабости, миссис Морфер ставила свою дочь в пример Млисс, когда та плохо себя вела, и заставляла девочку восхищаться ею в минуты раскаяния. Поэтому учитель не удивился, услышав, что Клити будет ходить в школу, очевидно, из уважения к нему и ради примера для Млисс и других, ибо Клити была уже взрослая молодая особа. Она расцвела рано, унаследовав физические особенности своей матери и подчиняясь климатическим законам Красной горы. Местная молодежь, которой редко приходилось видеть такие пышные цветы, вздыхала по ней в апреле и томилась в мае. Ее вздыхатели слонялись возле школы в те часы, когда кончались уроки. Некоторые ревновали ее к учителю.

Может быть, именно это обстоятельство открыло учителю глаза. Он не мог не заметить романтических склонностей Клити, не мог не заметить, что в классе она то и дело требовала к себе внимания, что перья у нее всегда плохо писали и нуждались в очинке, что просьбы эти обычно сопровождались выразительными взглядами, совершенно не соответствовавшими характеру услуги, о которой она просила; что иногда она касалась полным круглым локотком руки учителя, выведившего для нее пропись; что при этом она всегда краснела и откидывала назад белокурые локоны. Не помню, говорил ли я, что учитель был молод. Впрочем, это не имеет значения; он уже прошел суровую школу, в которой Клити брала первый урок, и довольно успешно сопротивлялся полным локоткам и притворно ласковым взглядам, как оно и подобало молодому спартанцу. Быть может, такому аскетизму способствовало недостаточное питание. Обычно учитель избегал Клити, но однажды вечером, когда она вернулась в школу за какой-то забытой вещью и нашла ее не раньше того, как учитель собрался идти домой, он проводил ее и постарался быть особенно любезным, мне кажется, отчасти потому, что такое поведение наполняло горечью и без того переполненные сердца поклонников Клитемнестры.

На следующее утро после этого трогательного происшествия Млисс не пришла в школу. Наступил полдень, а Млисс все не было. Когда учитель спросил о ней Клити,

оказалось, что обе они вышли из дому вместе, но упрямая Млисс пошла другой дорогой. Она не приходила весь день. Вечером он зашел к миссис Морффер, чье материнское сердце было не на шутку встревожено. Мистер Морффер провел целый вечер в поисках беглянки, но не нашел никаких следов ее местопребывания. Призвали Аристида, как возможного сообщника, но этот добродетельный младенец сумел уверить домашних в своей невиновности. Живое воображение миссис Морффер подсказывало ей, что девочка утонула в канаве или — а это еще ужаснее — так перепачкалась, что делу нельзя будет помочь ни мылом, ни водой. С тяжелым чувством учитель вернулся в школу. Засветив лампу и усевшись за стол, он заметил перед собой письмо, написанное почерком Млисс и адресованное ему. Оно было написано на листке, вырванном из старой записной книжки, и запечатано шестью старыми облатками, чтобы ничьи дерзновенные руки не коснулись его. Учитель вскрыл его почти с нежностью и прочел:

«Милостивый государь, когда вы прочтете это, меня уже не будет здесь. И я никогда не вернусь. Никогда, никогда, никогда! Можете отдать мои бусы Мери Дженингс, а мою «Гордость Америки» (ярко раскрашенную картичку с табачной коробки) — Салли Флэндере. Только не давайте ничего Клити Морффер. Не смейте давать! Если хотите знать, что я о ней думаю, так вот: она препротивная девчонка. Вот и все, и больше мне писать не о чем.

С уважением *Мелисса Смит*».

Учитель сидел, размышляя над этим странным посланием, до тех пор пока светлый лик луны не поднялся над дальними горами и не осветил протоптанную детскими ногами дорожку, которая вела к школе. Потом, несколько успокоившись, он разорвал письмо на клочки и разбросал их по дороге.

На следующее утро, с восходом солнца, он уже прокладывал себе путь сквозь пальмовидные папоротники и густой кустарник в сосновом лесу, спугивая по дороге зайцев и вызывая хриплый протест со стороны беспутных ворон, должно быть прогулявших всю ночь напролет, и наконец добрался до лесистого горного склона, где когда-то повстречал Млисс. Там он разыскал поваленное дерево с косматыми ветвями, но трон пустовал. Когда он

подошел ближе, сучья затрещали, словно под ногами испуганного зверька, что-то пробежало вверх среди вскинутых к небу рук павшего гиганта и затаилось в гостеприимной хвое. Добравшись до знакомого места, учитель увидел, что гнездышко еще не остыло; взглянув вверх, он встретил среди переплетенных ветвей черные глаза беглянки Млисс. Они молча смотрели друг на друга. Млисс первая нарушила молчание.

— Что вам нужно? — резко спросила она.

Учитель заранее обдумал, как ему держаться.

— Яблок, — сказал он смиренно.

— Ничего вы не получите! Ступайте прочь. Подите попросите у Клитемне-с-стры. (Ей, казалось, доставляло удовольствие презрительно растягивать и без того длинное имя этой классической молодой особы.) Как вам не стыдно!

— Я хочу есть, Лисси. Я ничего не ел со вчерашнего обеда. Умираю с голоду! — И молодой человек в совершенном изнеможении прислонился к дереву.

Сердце Мелиссы дрогнуло. Еще с горьких дней цыганской жизни ей было знакомо чувство голода, которое так искусно имитировал учитель. Победенная его смиренным тоном, но еще не совсем отбросив подозрения, она сказала:

— Поройтесь под деревом у корней, там их много; только не говорите никому. — У Млисс была своя кладовая, как у белок или мышей.

Учитель, конечно, не мог ничего найти; должно быть, плохо видел от голода. Наконец она лукаво взглянула на него сквозь ветви и спросила:

— Если я слезу и дам вам яблок, вы меня не тронете?

Учитель обещал.

— Скажите: «Помереть мне на этом месте».

Учитель был согласен и на это. Млисс соскользнула на землю. Несколько минут оба молча грызли орехи.

— Теперь вам лучше? — спросила она заботливо.

Учитель признался, что силы его восстанавливаются, и, серьезно поблагодарив ее, пустился в обратный путь. Как он и предвидел, Млисс окликнула его, не дав ему отойти. Он обернулся. Девочка стояла бледная, со слезами в широко раскрытых глазах. Учитель почувствовал, что наступила подходящая минута. Он подошел к ней, взял ее за руки и, заглянув ей в глаза, полные слез, сказал серьезным тоном:

— Лисси, помнишь тот вечер, когда ты пришла ко мне в первый раз?

Да, Лисси помнила этот вечер.

— Ты сказала, что хочешь учиться, хочешь исправиться, а я ответил...

— «Приходи», — быстро закончила девочка.

— А что ты ответишь, если твой учитель скажет, что ему скучно без маленькой ученицы, и попросит тебя вернуться и помочь ему исправиться?

Девочка повесила голову и долго молчала.

Учитель терпеливо ждал. Обманутый тишиной заяц подбежал к ним и уселся, подняв бархатные передние лапки и глядя на них блестящими глазами. Белка сбегала вниз по морщинистой коре поваленного дерева и остановилась на полдороге.

— Мы ждем, Лисси, — шепотом сказал учитель, и девочка улыбнулась.

Налетевший ветерок закачал верхушки деревьев, длинный тонкий луч света прокрался сквозь спутанные ветви и осветил растерянное лицо и полную нерешимости фигурку. Вдруг Млисс со свойственной ей живостью схватила учителя за руку. Что она сказала, едва можно было слышать, но учитель, откинув со лба Млисс черные волосы, поцеловал ее. И рука об руку они вышли из-под влажных сводов, полных лесного аромата, на открытую, освещенную солнцем дорогу.

Глава III

Млисс отчасти примирилась со всеми школьными товарищами, но по-прежнему держалась враждебно с Клитемнестрой. Быть может, ревнивое чувство не совсем уснуло в ее горячем маленьком сердечке. Быть может, круглые локотки и пышная фигура представляли более широкие возможности для щипков. Но так как эти вспышки умерялись присутствием учителя, ее вражда иногда принимала иные формы, с которыми трудно было бороться.

Учителю, когда он впервые составил суждение о характере девочки, не могло прийти в голову, что у нее есть кукла. Но он, как и другие профессиональные знатоки человеческой души, умел лучше рассуждать *a posteriori*¹, чем *a priori*². У Млисс была кукла, именно такая, как

¹ Исходя из опыта (лат.).

² До опыта (лат.).

следовало ожидать, — маленькая копия ее самой. Она влачила свое плачевное существование втайне до тех пор, пока ее случайно не открыла миссис Морфер. Кукла была подругой Млисс в ее прежних скитаниях, и на ней остались явные следы пережитых невзгод. Былой румянец смыло дождем и затушевало грязью из канав. Она была очень похожа на самое Млисс в прежнее время. Единственное платье из полинявшего ситца было так же грязно и оборвано, как раньше у Млисс. Девочка никогда не ласкала свою куклу, как другие дети, никогда не играла в куклы при других. Она обращалась с ней строго, укладывала ее спать в дупло дерева, неподалеку от школы, и гулять ей разрешалось только во время скитаний самой Млисс. Она относилась к кукле так же сурово, как к самой себе, и не баловала ее.

Миссис Морфер, повинувшись весьма похвальному побуждению, купила новую куклу и подарила ее Млисс. Девочка приняла подарок с достоинством и как будто заинтересовалась им. Как-то раз учителю показалось, что круглые розовые щеки и светлые голубые глаза куклы слегка напоминают Клитемнестру. Скоро выяснилось, что и сама Млисс заметила это сходство. Оставшись одна, она колотила ее восковой головкой о камни, а иногда, привязав за шею, тащила в школу на веревочке. Или, посадив куклу перед собой на парту, втыкала булавки в ее терпеливое, безответное тело. Делалось ли это в отместку за то, что добродетельную Клити, как она думала, нарочно ставили ей в пример, или она бессознательно усвоила обряды многих языческих племен и, проделывая эту церемонию над фетишем¹, воображала, что оригинал ее восковой модели зачахнет и в конце концов умрет, — вопрос слишком отвлеченный, и обсуждать его мы здесь не будем.

Несмотря на эти выходки, учитель не мог не заметить в ее школьных работах проблесков живого, беспокойного и сильного ума. Она не знала ни колебаний, ни сомнений, свойственных детям. Ее ответы в классе всегда отличались смелостью. Разумеется, она часто ошибалась. Но храбрость, с которой она отважно пускалась вплавь, опережая барахтавшихся рядом с ней маленьких пловцов, перевешивала в их глазах все ошибки суждения. Мне кажется,

¹ Ф е т и ш — неодушевленный предмет, наделенный, по представлению верующих, сверхъестественными свойствами; предмет слепого поклонения.

дети в этом отношении не лучше взрослых. Когда маленькая красная ручка поднималась над партой, наступало настроенное молчание, и даже учитель подчас переставал доверять собственному опыту и уму.

Однако некоторые черты ее характера, сначала забавлявшие учителя, стали вызывать у него серьезную тревогу. Он не мог не видеть, что Млисс дерзка, мстительна и упряма. В ней была одна хорошая черта, естественная в такой дикарке, — физическая выносливость и самоотверженность, и другая, не всегда свойственная дикарям, — правдивость. Млисс была бесстрашна и пряма — быть может, в применении к такой натуре оба эти слова значили одно и то же.

Учитель долго раздумывал над этим и пришел к выводу (знакомому всем, кто искренен сам с собой), что он раб собственных предрассудков. Он решил посоветоваться с преподобным Мак-Снэгли. Это решение было довольно оскорбительно для его самолюбия, потому что они с Мак-Снэгли отнюдь не были друзьями. Но он подумал о Млисс, о том вечере, когда она впервые пришла к нему, и с суеверной, но простительной мыслью, что вряд ли только случай привел упрямыцу к школе, он поборол свою антипатию к Мак-Снэгли, в глубине души очень довольный собственным благородством.

Почтенный Мак-Снэгли был рад его видеть; больше того, заметил, что учитель теперь выглядит значительно лучше, и выразил надежду, что он избавился от ревматизма и невралгии. Сам Мак-Снэгли с последнего молитвенного собрания страдает ломотой в ногах. Но он выучился преодолевать болезни молитвой.

Помолчав с минуту, чтобы дать учителю возможность запечатлеть в памяти этот способ лечения болезней, мистер Мак-Снэгли перешел к расспросам о «сестре Морфер».

— Она украшение христианства, и потомство у нее растет такое же, — прибавил Мак-Снэгли, — дочка у нее такая воспитанная, эта самая мисс Клити, так прекрасно себя ведет...

Он так восхищался совершенствами мисс Клити, что разглагольствовал о ней битых четверть часа. Учитель совсем растерялся. Во-первых, в похвалах по адресу Клити он усматривал недоброжелательство к бедной Млисс. Во-вторых, в тоне, каким Мак-Снэгли говорил о старшей дочери миссис Морфер, чувствовалась неприятная фа-

миллярность. И учитель после нескольких бесплодных попыток сказать что-нибудь подходящее счел за лучшее вспомнить какое-то неотложное дело и ушел, так и не попросив совета. Впоследствии он не совсем справедливо обвинял преподобного Мак-Свэгли в том, что он отказался дать этот совет.

Быть может, именно эта неудача снова сблизила учителя с ученицей. Казалось, девочка заметила, что за последнее время учитель стал держаться с ней иначе, более принужденно, и во время одной из долгих послеобеденных прогулок она неожиданно остановилась, влезла на пенёк и посмотрела ему прямо в лицо своими большими, пытливыми глазами.

— Вы не сердитесь? — спросила она, отбросив за спину свои черные косы.

— Нет.

— И не расстроены?

— Нет.

— И не голодны? (Голод, по мнению Млисс, был такой болезнью, которая могла поразить человека в любое время.)

— Нет.

— И о ней не думаете?

— О ком, Лисси?

— Об этой белобрысой! (Последний эпитет Млисс, очень смуглая брюнетка, изобрела для обозначения Клитемнестры.)

— Нет.

— Честное слово? (Замена «помереть на этом месте», предложенная учителем.)

— Да.

— Честное-пречестное?

— Да.

Млисс стремительно поцеловала учителя и, прыгнув на землю, бросилась бежать. Дня на два, на три она снизошла до того, что вела себя почти так же, как другие дети, — «исправилась», по ее выражению.

Прошло два года с тех пор, как учитель приехал в поселок, и он уже подумывал о перемене места, так как жалованье его было невелико, а рассчитывать на то, что Смитов Карман станет в скором времени столицей штата, не приходилось. Он намекнул школьному совету о своих

намерениях, но в то время нелегко было найти образованного молодого человека с незапятнанной репутацией, и он согласился остаться до конца учебного года. Никто не знал планов учителя, кроме его единственного друга, доктора Дюшена, молодого врача-креола, которого жители Уингдэма звали Дюшени. Он не говорил о своих планах ни миссис Морфер, ни Клити, ни кому-либо из учеников. Его молчание объяснялось отчасти природной сдержанностью, отчасти желанием избежать расспросов и назойливого любопытства, отчасти же тем, что он привык не доверять самому себе, пока не выполнит задуманного.

Он старался не думать о Млисс. Повинуясь, быть может, эгоистическому инстинкту, он считал свое чувство к девочке глупым, романтическим и безрассудным. Ему казалось даже, что она будет лучше учиться под началом более пожилого и более строгого учителя. К тому же ей было около одиннадцати лет, и, по законам Красной горы, через три-четыре года она уже могла считаться взрослой девушкой. Свой долг он исполнил. После кончины Смита он написал его родственникам и получил одно письмо от тетки Млисс. Выражая благодарность учителю, она писала, что через несколько месяцев собирается переехать с мужем из восточных штатов в Калифорнию. Это несколько меняло архитектуру воздушного замка, возведенного учителем для Млисс, но все же нетрудно было себе представить, что сердечная и любящая женщина, к тому же родственница, скорее сумеет взять в руки эту своевольную натуру. Однако когда учитель читал Млисс это письмо, девочка слушала равнодушно и не стала спорить, а потом вырезала из него несколько фигурок, изображавших Клитемвестру, и, подписав во избежание ошибки «белобрысая», наклеила их снаружи на стены школы.

Лето было на исходе, в долинах уже собрали последнюю жатву, и учитель вспомнил, что пора и ему пожинать плоды и устраивать праздник урожая, иначе говоря, экзамены. И вот ученые джентльмены и многоопытные дельцы Смитова Кармана собрались созерцать, как в силу освященного веками обычая робких детей будут запугивать, точно свидетелей на суде. Как всегда в таких случаях, почести достались тем, кто был смелее, и меньше робел. Читателю нетрудно будет представить себе, что на этот раз Млисс и Клити были впереди других и привлекали внимание зрителей: Млисс — ясным и практическим умом, Клити — безмятежной самоуверенностью и благо-

честивой скромностью манер. Остальные дети робели и путались. Разумеется, живость и блестящие способности Млисс покорили большинство зрителей и вызвали шумное одобрение. История Млисс будила живейшее сочувствие среди тех слушателей, которые жались к стенам, подпирая их могучими плечами, и среди тех, чьи мужественные бородатые лица заглядывали с улицы в окна. Но популярность Млисс была подорвана одним непредвиденным обстоятельством.

Мак-Снэгли сам напросился на экзамены и испытывал немалое удовольствие, пугая робких школьников непонятными и двусмысленными вопросами, которые задавал устрашающим загробным голосом. Млисс отвечала по астрономии и парила за облаками под музыку сфер, рассказывая о пути земного шара в пространстве и о движении планет по орбитам, когда Мак-Снэгли внушительно поднялся с места.

— Мелисса! Ты говорила о вращении нашей Земли и движении Солнца, и, кажется, ты сказала, что оно не останавливалось ни разу с сотворения мира?

Млисс презрительно кивнула головой.

— Так ли это? — спросил Мак-Снэгли, скрестив руки на груди.

— Да! — ответила Млисс и крепко сжала свои красные губы.

Великолепные бородачи в окнах подались вперед; и один из них, с рафаэлевским благообразным лицом, белокурой бородой и кроткими синими глазами, первый бездельник на приисках, повернулся к девочке и шепнул:

— Стой на своем, Мелисса!

Почтенный Мак-Снэгли испустил глубокий вздох, со страдательно взглянул на учителя, потом на детей и наконец остановил свой взгляд на Клити. Молодая особа не спеша подняла полную белую руку. Обольстительная полнота ее ручки оттенялась массивным браслетом из самородного золота — подарком одного из самых смиренных поклонников, надетым по случаю экзаменов. На минуту все стихло. Круглые щечки Клити рдели таким нежным румянцем. Большие голубые глаза Клити так ярко блестя. Открытое муслиновое платье Клити так мягко облегало пышные белые плечики. Клити посмотрела на учителя, и он кивнул. Тогда Клити сказала нежным голосом:

— Иисус Навин¹ велел Солнцу остановиться, и оно повиновалось ему!

В классе послышался тихий гул одобрения, лицо Мак-Снэгли выразило торжество, лицо учителя омрачилось, а во взглядах зрителей самым забавным образом выразилось разочарование. Млисс быстро перелистала учебник астрономии и громко захлопнула книгу. Мак-Снэгли застоялся, в классе изумленно ахнули, и за окном раздавался вопль, когда Млисс стукнула красным кулачком по парте и торжественно объявила:

— Враки! Я этому не верю.

Глава IV

Долгий сезон дождей подходил к концу. Приближение весны было заметно по набухшим почкам и бурлящим потокам. Из сосновых лесов тянуло свежей хвоей. На азалиях уже наливались почки, и джерсейский чай готовил к весне свою лиловую ливрею. На зеленом ковре, покрывавшем южные склоны Красной горы, снова поднялись среди лапчатых листьев высокие стрелы волчьего борца и снова распустили свои темно-синие колокольчики. Над могилой Смита снова заколыхались мягкие зеленые волны, и гребни их подернулись пеной маргариток и лютиков. На маленьком кладбище за этот год появились новые жильцы, и могильные холмики попарно жалась к низенькой ограде, доходя почти до могилы Смита, которая была в стороне от других. Все по какому-то суеверному чувству избегали этой могилы, и место рядом с нею оставалось незанятым.

По городу были расклеены афиши, извещавшие о том, что в скором времени известной драматической труппой представлено будет несколько «уморительно веселых фарсов», а сверх того для разнообразия дана будет мелодрама и большой дивертисмент² с пением, танцами и пр. Эти афиши вызвали волнение среди малышей, о них много говорили и возбужденно спорили в школе. Учитель обещал Млисс, для которой такие зрелища были в диковинку, взять ее в театр, и оба они «присутствовали» на спектакле.

Игра была скучная и посредственная: мелодрама была

¹ Иисус Навин — по Библии, помощник и преемник Моисея, пророка и основателя иудейской религии.

² Дивертисмент — вставные, преимущественно вокально-хореографические, номера в драматических, оперных и балетных спектаклях.

не так плоха, чтобы вызвать смех, и не так хороша, чтобы ее можно было смотреть с увлечением. Однако скучающий учитель, взглянув на девочку, был изумлен и даже почувствовал себя в чем-то виноватым, заметив, как действует представление на ее впечатлительную натуру. Горячая краска заливала ее щеки с каждым биением сердца. Губы слегка раскрылись, и сквозь них вырывалось учащенное дыхание. Черные брови изумленно поднялись над широко раскрытыми глазами. Она не смеялась унылым шуткам комика; Млисс вообще редко смеялась. Она не прикладывала украдкой к глазам уголок белого платочка, как чувствительная Клити, которая, беседуя со своим кавалером, в то же время нежно поглядывала на учителя. Но когда спектакль кончился и зеленый занавес опустился над маленькой сценой, Млисс вздохнула глубоким, долгим вздохом, устало потянулась и с виноватой улыбкой обратила к учителю свое серьезное лицо.

— А теперь проводите меня домой! — сказала она, закрыв черные глаза, словно для того, чтобы пережить еще раз все, что она видела на сцене.

По дороге к дому миссис Морфер учитель счел нужным высмеять представление. Неужели Млисс думает, что молодая леди, которая так прекрасно играла, в самом деле любит этого нарядного джентльмена? Если она его любит, это — сущее несчастье.

— Почему? — спросила Млисс, поднимая глаза.

— Как же, ведь он не может на свое теперешнее жалованье содержать жену и нарядно одеваться, да и платить ему станут меньше, если они поженятся. Впрочем, — прибавил учитель, — он, может быть, женат на ком-нибудь другом. По-моему, муж молодой графини проверяет билеты у входа, поднимает занавес, снимает нагар со свечей или делает еще что-нибудь столь же утонченное и изящное. Что же касается молодого человека в таком нарядном костюме, — а костюм этот и в самом деле очень наряден и стоит доллара два с половиной, а то и все три, не говоря уж о плаще из красного плиса, я такую материю покупал на занавески и знаю, сколько она стоит, — что до него, Лисси, так он действительно хороший малый, и если запивает иной раз, то нельзя же, пользуясь этим, толкать его в грязь или наставлять ему синяки. Как ты думаешь? Если бы он был мне должен два с половиной доллара, я не стал бы попрекать его при всех, как тот человек в Уингдэме.

Девочка схватила учителя за руку и пыталась заглянуть ему в лицо, но он упорно отворачивался. Млисс имела некоторое представление об иронии, она и сама не лишена была едкого юмора, который и сказывался в ее словах и поступках. Но учитель продолжал разговор в том же духе, пока они не дошли до дома Морферов, а там поручил Млисс материнским заботам миссис Морфер. Отклонив приглашение миссис Морфер отдохнуть и закусить и заслоняясь рукой от взглядов голубоглазой сирены Клиты, он извинился и ушел домой.

В течение двух или трех дней после приезда драматической труппы Млисс опаздывала в школу, а в пятницу учитель, оставшись без своего опытного проводника, не смог пойти на прогулку. Складывая книги и собираясь уходить из школы, он услышал рядом с собой тоненький голосок:

— Извините, сэр!

Учитель обернулся и увидел Аристиду Морфера.

— Ну, в чем дело, малыш? — сказал нетерпеливо учитель. — Говори скорей!

— Извините, сэр, мы с Кэргом думаем, что Млисс опять наострила лыжи!

— Что такое, сэр? — сказал учитель с тем несправедливым раздражением, какое у нас всегда вызывает неприятное известие.

— Да, сэр, она совсем не бывает дома, и мы видели, как она разговаривала с одним актером. Она и сейчас там, а вчера, сэр, она хвастала, будто умеет декламировать не хуже мисс Селестины Монморесси, и жарила стихи прямо наизусть.

Тут малыш замолчал, разинув рот.

— С каким актером? — спросил учитель.

— А у которого блестящая шляпа. И волосы. И золотая булавка. И золотая цепочка для часов, — отвечал правдивый Аристид, ставя точки вместо запятых, чтобы перевести дыхание.

Учитель надел шляпу и перчатки и с неприятным чувством удушья в груди вышел из школы. Аристид, стараясь не отставать, семеня за ним короткими ножками. Вдруг учитель остановился, и Аристид наскочил на него.

— Где они разговаривали? — спросил учитель, словно продолжая разговор.

— В «Аркадии»! — ответил Аристид.

Когда они вышли на главную улицу, учитель остановился.

— Беги домой, — сказал он мальчику. — Если Млисс там, ты придешь в «Аркадию» и скажешь мне. Если ее там нет, оставайся дома. Ну, беги!

Аристид рысью пустился домой на своих коротеньких ножках.

«Аркадия» была как раз через дорогу — длинное строение, в котором помещались бар, ресторан и бильярдная. Переходя через площадь, молодой человек заметил, что двое или трое прохожих обернулись и посмотрели ему вслед. Он оглядел свой костюм и, прежде чем войти в бар, достал платок и вытер лицо. Как обычно, в баре было несколько завсегдатаев, которые уставились на него, как только он вошел. Один из них смотрел так пристально и с таким странным выражением, что учитель остановился, взглянул на него еще раз и только тогда заметил, что это его собственное отражение в большом зеркале. Учитель подумал, что он взволнован, и, захватив со стола «Знамя Красной горы», пробежал столбец объявлений, чтобы дать себе успокоиться.

Потом он прошел через бар и ресторан в бильярдную. Девочки там не было. В бильярдной возле одного из столов стоял человек в блестящем цилиндре с широкими полями. Учитель узнал в нем антрепренера драматической труппы, которого невзлюбил с первой встречи за манеру как-то особенно подстригать волосы и бороду. Убедившись, что той, которую он ищет, здесь нет, учитель подошел к человеку в цилиндре. Тот заметил учителя, но попытался сделать вид, будто не замечает, что редко удается людям невоспитанным. Поигрывая кием, он притворился, что целится в шар посередине бильярда. Учитель стал против него и, когда актер поднял глаза и они встретились взглядами, подошел ближе.

Он не хотел начинать сцену или ссору, но как только заговорил, что-то клубком подкатилось у него к горлу, и он испугался собственного голоса — так глухо и отчужденно он прозвучал.

— Насколько мне известно, — начал он, — Мелисса Смит, сирота и одна из моих учениц, говорила вам, что хочет стать актрисой. Это правда?

Человек в цилиндре оперся на стол и сделал такой фантастический выпад кием, что шар завертелся и помчался вдоль борта бильярда. Обойдя кругом стола, игрок

поймал шар и водворил его на место. Покончив с этим и снова нацелившись, он спросил:

— Ну так что же из этого?

Учитель снова почувствовал удушье, но сдержался и, сжимая борт бильярда рукой в перчатке, продолжал:

— Если вы джентльмен, мне довольно будет сказать вам, что я опекун Мелиссы и отвечаю за ее будущее. Вам не хуже моего известно, какую жизнь вы предлагаете ей. Первый встречный вам скажет, что мне удалось спасти ее от того, что хуже смерти, — от улицы, от грязи, порока. Попытаюсь спасти её и теперь. Поговорим, как подобает мужчинам. У нее нет ни отца, ни матери, ни братьев, ни сестер. Что вы дадите ей взамен?

Человек в цилиндре осмотрел кончик кия, потом оглянулся по сторонам, нет ли поблизости кого-нибудь, кто мог бы посмеяться вместе с ним.

— Я знаю, она странная, своевольная девочка, — продолжал учитель, — но теперь она изменилась к лучшему. Думаю, что я еще не потерял ее доверия. Надеюсь, что вы, как джентльмен, не станете больше вмешиваться в это дело. Я согласен...

Но тут клубок снова подкатился к горлу учителя, и фраза осталась недоконченной. Человек в цилиндре, не понимая молчания учителя, поднял голову, грубо и хрипло засмеялся и громко сказал:

— Самому понадобилась, а? Этот номер не пройдет, молодой человек.

Оскорбительны были не столько слова, сколько тон, и не столько тон, сколько взгляд, и не все это, вместе взятое, а скорее грубость его натуры. Такие скоты лучше всякого другого красноречия понимают красноречие удара. Учитель это почувствовал и, давая выход накопившемуся раздражению, ударил актера прямо в ухмыляющееся лицо. Цилиндр полетел в одну сторону, кий в другую, и учитель, разорвав перчатку, до крови ободрал себе руку. Рот у джентльмена в цилиндре был рассечен, и холеная борода надолго утратила свою оригинальную форму.

Послышались крики, брань, глухие удары и топот. Толпа расступилась, и один за другим резко прозвучали два выстрела. После этого толпа снова сомкнулась вокруг актера, а учитель остался один. Он помнил, что левой рукой снимал с рукава клочки дымящегося пыжа. Кто-то

держал другую руку. Взглянув на эту руку, он увидел, что она вся в крови от удара, а пальцы стискивают рукоятку блестящего ножа. Он не мог понять, откуда взялся этот нож.

Оказалось, что руку его держит мистер Морфер. Он подталкивал учителя к дверям, но тот упирался и, едва шевеля пересохшими губами, что-то говорил о Млисс.

— Все в порядке, мой милый, — сказал мистер Морфер. — Она дома!

И они вместе вышли на улицу. По дороге мистер Морфер рассказал, что Млисс прибежала домой несколько минут назад и потащила его за собой, крича, что учителя убивают в «Аркадии». Учителю хотелось остаться одному, и, пообещав мистеру Морферу не разыскивать сегодня антрепренера, он простился с ним и отправился в школу. Подойдя к дому, он удивился, увидев, что дверь открыта, и еще больше удивился, увидев, что там сидит Млисс.

Мы уже говорили, что характер учителя основывался на эгоизме, как у большинства чувствительных натур. Грубая насмешка, только что брошенная ему противником, все еще жгла его сердце. Возможно, думал он, что именно так перетолковывают его привязанность к девочке, конечно, неразумную и донкихотскую. Кроме того, разве она сама сколько-нибудь считается с его авторитетом, с его привязанностью? Что о ней говорят? Почему он один должен идти наперекор общему мнению, только для того, чтобы наконец молчаливо признать справедливость их предсказаний? Что он хотел доказать этой дракой в кабаке с каким-то дикарем, для чего рисковал жизнью? И что он доказал? Ровно ничего. Что скажут люди? Что скажут его друзья? Что скажет Мак-Снэгли?

В таком покаянном настроении он меньше всего хотел видеть Мелиссу. Затворив за собой дверь, он подошел к своему столу и холодно и резко сказал девочке, что хочет остаться один. Млисс встала; учитель сел на ее место, опустил голову на руки. Когда он поднял глаза, Млисс все еще стояла перед ним. Она тревожно смотрела ему в лицо.

— Вы его убили? — спросила она.

— Нет! — сказал учитель.

— Для чего же я дала вам нож? — возразила она живо.

— Ты дала мне нож? — в изумлении повторил учитель.

— Да, нож! Я сидела там под стойкой. Видела, как вы его ударили. Как вы оба упали. Он уронил нож. Я дала этот нож вам. Почему же вы его не пырнули? — быстро говорила Млисс, энергично взмахивая красной ручкой и выразительно сверкая глазами.

Учитель, онемев от изумления, взглянул на нее.

— Да,— сказала Млисс,— если б вы спросили, я бы вам сказала, что уезжаю с актерами. А почему я уезжаю с ними? Потому, что вы не хотели сказать мне, что сами уезжаете отсюда. Я это знала, я слышала, как вы говорили доктору. Я не хочу здесь оставаться одна, с этими Морферами. Лучше умереть!

Драматическим движением, которое было вполне в ее духе, она вытащила из-за пазухи горсть увядших зеленых листьев и, держа их в протянутой руке, сказала с живостью и с той странной интонацией, которая всегда проскальзывала в ее речи, когда она волновалась:

— Вот он, ядовитый корень! Вы сами сказали, что им можно отравиться. Я уеду с актерами или проглочу это и тут же умру. Мне все равно. Я здесь не останусь, все они меня презирают и ненавидят! И вы тоже, иначе вы бы меня не бросили.

Грудь Мелиссы дышала перовно, две крупные слезы повисли на ресницах, но она смахнула их уголком фартука, словно это были осы.

— Если вы засадите меня в тюрьму, чтоб я не сбежала с актерами, я отравлюсь,— в ожесточении говорила Млисс.— Отец застрелился, почему же я не могу отравиться? Вы сказали, что от горсточки этого корня можно умереть, и я всегда ношу его с собой.— Она ударила себя в грудь сжатым кулачком.

Учитель подумал о пустующем месте рядом с могилой Смита, подумал о непокорной девочке, стоявшей перед ним. Он схватил ее за руки и, глядя прямо в ее правдивые глаза, спросил:

— Лисси, поедешь со мной?

Девочка обвила руками его шею и радостно ответила:

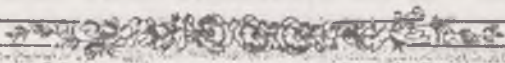
— Да.

— Сегодня... сейчас?

— Сейчас!

И рука об руку они вышли на дорогу, на ту узкую дорогу, которая привела когда-то ее усталые ноги к дверям учителя и на которую она больше не выйдет одна.

Звезды ярко сияли над ними. К добру или к худу, урок был окончен, и двери школы на Красной горе закрылись за ними навсегда.



Нас было восемь человек, вместе с кучером. Последние шесть миль¹ — считая с той минуты, как подскакиванье дилижанса на рытвинах все ухудшающейся дороги погубило очередную стихотворную цитату судьи, — никто из нас не проронил ни слова. Рослый человек, сидевший рядом с судьей, заснул, продев руку в раскачивающийся ремень и поникнув на нее головой; вся его обмякшая фигура приняла совершенно беспомощный вид, точно он повесился и веревку перерезали, когда было уже поздно. Француженка на заднем сиденье тоже дремала, но даже в полусне умудрялась сохранять изящество позы и, держа у лба носовой платок, прикрывала им лицо. Дама из Вирджиния-Сити, штат Невада, которая ехала с мужем, давно уже перестала быть сама собой, превратившись в охапку лент, вуалек, шалей и мехов. Кроме грохота колес да стука дождевых капель по крыше, ничего не было слышно. Но вот дилижанс остановился, и до нас донеслись глухие звуки голосов. Наш кучер вел оживленный разговор с кем-то, кто стоял на дороге, — разговор, из которого сквозь шум бури до нас долетали такие обрывки: «мост снесло», «вода поднялась на двадцать футов²», «проезда нет». Потом все стихло, и неизвестный прокричал нам свое последнее заклятие: — Миггс! Попытайте там!

Когда дилижанс медленно завернул, у нас перед глазами промелькнули передние лошади упряжки и всадник, сейчас же скрывшийся за дождевой завесой. И вот мы поехали к Миггсу.

¹ Милья (сухопутная) — в Англии и США равна 1,609 км.

² Фут — единица длины, равная 0,3 м.

Но кто этот Миггс и где он живет? Наш авторитет — судья — не мог припомнить такого человека, а он знал эти места вдоль и поперек. Пассажир из Невады решил, что Миггс содержит гостиницу. Словом, нам было известно только одно: разлив преградил путь вверх и вниз по дороге, и Миггс — сейчас наше единственное прибежище. Еще десять минут барахтанья в лужах извилистого узкого проселка, по которому дилижанс еле двигался, — и мы остановились у задвинутой на засов калитки в каменной ограде или стене футов восьми вышиной. Теперь уже не приходилось сомневаться, что Миггс здесь и проживает и что никакой гостиницы этот Миггс не содержит.

Кучер спрыгнул с козел и толкнул калитку. Она была заперта крепко-накрепко.

— Миггс! Эй, Миггс!

Молчание.

— Ми-и-ггс! Эй ты, Миггс! — продолжал кучер с возрастающей яростью.

— Миггси! — воззвал и курьер. — Мигги! Мигг!

Но бесчувственный Миггс по-прежнему не подавал голоса. Судья, ухитрившийся наконец опустить окно дилижанса, высунул голову наружу и разразился целым градом вопросов. Если бы на эти вопросы были даны ясные ответы, они, без сомнения, помогли бы разгадать тайну; однако кучер оставил их без внимания, сказав только, что если мы не хотим просидеть в дилижансе всю ночь, то надо вылезать и вместе с ним кликать Миггса.

Мы вылезли и принялись звать к Миггсу, сначала хором, потом поодиночке. Когда возгласы наши смолкли, ирландец, ехавший на империале, крикнул: «Мейгелс!» — и все мы рассмеялись. Но кучер зашикал на нас.

Мы прислушались. К нашему величайшему изумлению, голоса, выкрикивавшие хором «Миггс» и даже заключительное, сверхпрограммное «Мейгелс», повторились где-то за оградой.

— Поразительное эхо! — сказал судья.

— Поразительный прохвост, черт его побери! — рывкнул кучер. — Ну-ка, выходи, Миггс, покажись! Чего струсил, Миггс! — продолжал Юба Билл, приплясывая на месте от ярости.

— Миггс! — отозвался все тот же голос из-за ограды. — Эй, Миггс!

— Послушайте, почтеннейший! Мистер Мигейл! —

крикнул судья, по мере сил сглаживая шероховатость этого имени.— Неужели вы способны отказать в гостеприимстве беззащитным женщинам, которые остались без крова в эту суровую ночь? Право же, дорогой сэр...— Но голос его потонул в криках «Миггс, Миггс!», завершившихся взрывом хохота.

Юба Билл решил действовать. Подняв с дороги тяжелый камень, он сбил калитку с петель и вместе с курьером прошел за ограду. Мы последовали за ними. Кругом было пусто. В сгущавшейся тьме мы разобрали, что находимся в саду,— нас обдало брызгами с залитых дождем розовых кустов перед длинной, несуразного вида деревянной постройкой.

— А вы знаете этого Миггса? — спросил судья у Юбы Билла.

— Не знаю и знать не желаю,— отрезал Билл, считавший, что нелюбезный Миггс наносит в его лице оскорбление компании дилижансов «Пионер».

— Однако, уважаемый...— запротестовал судья, вспомнив о наглухо запертой калитке.

— Послушайте-ка, сударь,— язвительнейшим тоном сказал Юба Билл,— может, вы вернетесь в дилижанс и посидите там, пока вас не отрекомендуют хозяину? А я войду.— И он распахнул дверь дома.

Длинная комната, освещенная из дальнего угла догорающими в широком очаге головешками; какие-то странные обои на стенах, причудливый узор их, мелькнувший в неверных отблесках огня; одинокая фигура в кресле у очага. Все это мы увидели, столпившись в дверях позади кучера и курьера.

— Здравствуйте! Это вы и будете Миггс? — обратился Юба Билл к единственному обитателю комнаты.

Человек ничего не ответил, даже не шевельнулся. Разгневанный Юба Билл подошел ближе и осветил фонарем ему в лицо. Оно было преждевременно увядшее и морщинистое — лицо с большими глазами, полными той совершенно необъяснимой важности, которую мне приходилось наблюдать у сов. Взгляд этих больших глаз остановился сначала на Билле, потом перешел на фонарь, и незнакомец бессмысленно уставился на его огонек.

Билл с усилием сдержал себя.

— Миггс! Вы что, оглохли? Только немым-то, сделайте одолжение, не прикидывайтесь! — И Юба Билл дернул неподвижную фигуру за плечо.

Как только он отнял руку, почтенный незнакомец, к нашему ужасу, сразу поник, став как будто вдвое меньше и превратившись в бесформенную охапку одежды.

— Вот оказия-то! — сказал Билл, смущенно поглядывая на нас и пятясь от кресла.

Тогда судья выступил вперед и с нашей помощью усадил это беспозвоночное существо в прежней позе. Мы послали Билла с фонарем на разведку около дома — должны же быть поблизости люди, которые присматривают за этим беспомощным человеком, — и столпились около очага. Тем временем судья, вновь обретший свой авторитетный тон и общительность, стал спиной к огню и обратился к нам, точно к присяжным, со следующей речью:

— Совершенно очевидно, что наш почтенный друг достиг того возраста, который Шекспир уподобляет «желтому, увядшему листу», или же он является жертвой преждевременного угасания всех своих духовных и физических сил. Если это тот самый Мигглс...

Но тут его речь была прервана возгласами: «Мигглс! Эй, Мигглс! Мигглс! Мигг!» Это имя повторялось на разные лады все тем же голосом, который мы слышали раньше.

Несколько секунд мы в тревоге смотрели друг на друга. Судья даже поспешил сойти со своего места, так как голос, казалось, шел у него из-за плеча. Однако источник этих звуков был скоро обнаружен: на полочке над очагом сидела большая сорока, погруженная теперь в гробовое молчание, что составляло странный контраст с ее недавней болтливостью. Не оставалось никаких сомнений, что ее-то голос мы и слышали на дороге. Значит, наш друг, сидевший в кресле, был неповинен в этой бесцеремонной выходке. Юба Билл, после безрезультатных поисков снова появившийся в комнате, нехотя выслушал это объяснение и по-прежнему подозрительно поглядывал на беспомощного инвалида. Биллу удалось обнаружить на дворе сарай; поставив туда лошадей, он вернулся к нам, промокший до нитки и настроенный весьма скептически.

— Тут на десять миль вокруг ни живой души, кроме него. Он, прохвост, прекрасно это знает!

Но вскоре оказалось, что правда была на стороне большинства. Только Билл перестал ворчать, как мы услышали на крыльце быстрые шаги и шуршанье мокрой юбки. Дверь распахнулась настежь, и, сверкнув белос-

нежными зубами, с искоркой в карих глазах, без тени чопорности или смущения в комнату вошла молоденькая женщина. Она затворила за собой дверь и, с трудом переводя дух, прислонилась к ней спиной.

— Прощу прощения. Миггс — это я.

Так вот кто такая Миггс! Большеглазая молоденькая женщина с полной шейкой и стройным станом, женственность которого еще больше подчеркивало промокшее платье из грубой синей материи. Начиная с копны каштановых волос под мужской клеенчатой зюйдвесткой и кончая крохотными ножками, утопающими в тяжелых мужских сапогах, — все в ней было грациозно. Так вот кто такая Миггс, и эта Миггс смеется, глядя на нас, веселым, задорным, беззаботным смехом.

— Понимаете, в чем дело, друзья, — прерывающимся голосом заговорила Миггс, прижимая к груди маленькую ручку и словно не замечая, что мы не находим слов от неожиданности, а Юба Билл, на лице которого появилось выражение ничем не объяснимого блаженства, стоит совсем обалдевший. — Понимаете, в чем дело: когда вы проезжали мимо нашего дома, я была милю за две отсюда. Думала, вы, может, завернете к нам, и всю дорогу бежала бегом — ведь, кроме Джима, здесь никого нет, и... и... ой, дышать нечем!

Сорвав с головы зюйдвестку, Миггс словно невзначай обдала нас брызгами, поправила волосы, уронила при этом две шпильки, рассмеялась и, сев рядом с Биллом, сложила руки на коленях.

Судья первый пришел в себя и отпустил ей высокопарный комплимент.

— Будьте так добры, поднимите мои шпильки, — степенно проговорила Миггс. Несколько пар рук с готовностью пришли в движение, и шпильки были возвращены их очаровательной владелице.

Миггс прошла в другой конец комнаты и пристально взгляделась в лицо больного. Его глаза ответили ей таким взглядом, какого мы у него еще не примечали. Казалось, жизнь и мысль затеплились в этом изможденном лице. Миггс опять рассмеялась — удивительно красноречив был ее смех — и снова блеснула в нашу сторону черными глазками и белоснежными зубами.

— Этот человек, пораженный тяжким недугом, это... перешел решительно начал судья.

— Это Джим, — сказала Миггс.

— Ваш отец?

— Нет.

— Брат?

— Нет.

— Муж?

Мигглс метнула быстрый вызывающий взгляд в сторону двух наших спутниц, которые, как видно, не разделяли восторга мужчин, и повторила серьезным тоном:

— Нет, это Джим.

Наступило неловкое молчание. Наши спутницы ближе придвинулись друг к дружке, супруг невадской дамы с отсутствующим видом уставился на огонь, рослый пассажир погрузился в самосозерцание, видимо надеясь обрести в эту трудную минуту моральную опору в глубинах собственной души. И вдруг тишину нарушил заразительный смех Мигглс.

— Слушайте! — живо сказала она. — Да вы, должно быть, проголодались! Кто мне поможет приготовить ужин?

В добровольцах недостатка не было. Не прошло и двух-трех минут, как Юба Билл, точно Калибан, уже таскал дрова для этой Миранды¹, курьер молот кофе на крыльце, на мою долю выпала ответственная задача нарезать копченую грудинку, а судья никого не оставлял без своих благодушных и пространных советов. И когда Мигглс с помощью того же судьи и нашего «палубного пассажира» — ирландца — накрыла на стол, пустив в дело всю посуду, какая была в доме, мы совсем развеселились наперекор дождю, стучавшему в окно, ветру, завывавшему в трубе, наперекор двум нашим дамам, которые перешептывались в углу, и сороке, скрипучим голосом передразнивавшей их беседу. При свете яркого огня мы разглядели, что стены комнаты оклеены страницами из иллюстрированных журналов, подобранными с чисто женским вкусом и пониманием дела. Под мебель были приспособлены свечные и упаковочные ящики, покрытые веселеньким ситцем или шкурами. В качестве кресла, в котором лежал беспомощный Джим, был остроумно использован бочонок из-под муки. В убранстве этой длинной низкой комнаты чувствовались хозяйские заботы и даже любовь к прекрасному.

¹ Персонажи пьесы В. Шекспира «Буря»: К а л и б а н — раб, уродливый полудикарь; М и р а н д а — дочь герцога, красавица. *Здесь*: Юба Билл уподобен Калибану, который прислуживает Миранде, плененный ее красотой.

Ужин оказался чудом кулинарного искусства. Больше того, за столом главным образом благодаря редкому такту Мигглс не умолкал приятный разговор; взяв на себя обязанность направлять и поддерживать беседу, она сама задавала все вопросы с такой непринужденностью, что это исключало всякую возможность заподозрить ее в желании что-нибудь скрыть от нас. И мы говорили о себе, о своих намерениях, о путешествии, о погоде, друг о друге — обо всем, кроме нашего хозяина и хозяйки. Надо признаться, что речь Мигглс не отличалась ни изысканностью, ни грамматической правильностью; по временам в ней проскальзывали словечки, употребление коих обычно считается привилегией нашего пола. Но когда Мигглс произносила их, ее глаза и зубы сверкали и комнату оглашал смех, ее смех — чистосердечный, простодушный, от которого словно все вокруг становилось лучше и чище.

Во время ужина за дверью вдруг послышался шорох, точно кто-то большой и неуклюжий терся о стену дома. Шорох сменили царапанье и сопение уже у самого порога.

— Это Хоакин, — сказала Мигглс в ответ на наши вопросительные взгляды. — Хотите взглянуть на него?

Не успели мы ответить, как она отворила дверь, и перед нами предстал медвежонок-гризли, который немедленно поднялся на задние лапы, протянул передние, как заправский попрошайка, и, нежно поглядев на Мигглс, стал сразу похож на Юбу Билла.

— Это мой верный сторож, — пояснила Мигглс. — Да нет, он не кусается! — добавила она, видя, как обе дамы вспорхнули со своих мест. — Ведь правда, косолапый? (Последнее относилось непосредственно к умному Хоакину.)

— Откровенно говоря, друзья, — продолжала Мигглс, накормив эту *Ursa Minor*¹ и закрыв за ней дверь, — вам здорово повезло, что Хоакина не было поблизости, когда вы подъезжали к дому.

— А где же он был? — спросил судья.

— При мне, — ответила Мигглс. — Он ходит за мной по пятам, все равно как человек.

Несколько минут мы молчали, прислушиваясь к завыванию ветра. Может быть, всем нам представилась одна и та же картина: Мигглс идет по лесу под дождем, а рядом с ней — ее свирепый страж. Судья, помнится, сказал

¹ Малая Медведица (лат.).

что-то насчет Уны и ее льва¹. Мигглс приняла этот комплимент, как и предыдущие, со спокойным достоинством. Не знаю, на самом ли деле она не замечала нашего восхищения, во всяком случае, обожающие взгляды Юбы Билла трудно было не заметить, но простота ее манер не допускала мысли о делении человечества на сильный и слабый пол, что чрезвычайно обижало более юных членов нашей компании.

Эпизод с медвежонком не поднял Мигглс в глазах наших дам. Больше того, лишь только ужин кончился, от них повеяло таким холодом, перед которым оказались бессильны даже сосновые ветви, возложенные Юбой Биллом на очаг, как на жертвенник. Мигглс почувствовала это и, объявив вдруг, что всем пора «на боковую», предложила проводить дам в соседнюю комнату, где для них были приготовлены постели.

— А уж вам, друзья, придется разбить лагерь здесь, у очага, — добавила она, — другой комнаты у меня нет.

Наш пол — разумеется, уважаемый сэр, я имею в виду более сильную половину рода человеческого — обычно застрахован от обвинений в любопытстве и любви к сплетням. Однако я вынужден сказать, что не успела Мигглс закрыть за собой дверь, как мы сбились в кучку и начали перешептываться, хихикать, ухмыляться, высказывать различные подозрения, предположения и тысячи всевозможных догадок насчет нашей очаровательной хозяйки и странного хозяина. Боюсь даже, что мы потревожили несчастного паралитика, который восседал среди нас в кресле эдаким безгласным Мемноном² и невозмутимо, точно дух прошлых времен, взирал своими безжизненными глазами на нашу мирскую суету. В самый разгар споров дверь открылась, и Мигглс снова вошла в комнату.

Но это была уже не та Мигглс, которая два-три часа

¹ У н а — персонаж поэмы «Королева фей» английского поэта XVI века Эдмунда Спенсера. Уну — Истину — сопровождает лев, символизирующий Рассудок.

² М е м н о н — в греческой мифологии — царь Эфиопии, союзник троянцев в Троянской войне. Воздвиг в Фивах храм, перед которым возвышались две огромные статуи. Одну из них считали изображением Мемнона. Поврежденная во время землетрясения, статуя — очевидно, от нагревания — стала издавать на рассвете звук, который воспринимался как приветствие. После реставрации звук прекратился, Мемнон как бы онемел. *Здесь*: Джим после болезни стал неподвижен и нем, т. е. уподобился безгласному Мемнону.

назад ослепила нас своим появлением. С одеялом в руках, она в перешительности остановилась на пороге, потупилась, и мы сразу почувствовали, что ее пленительная простота и смелость остались где-то там, позади. Войдя в комнату, она придвинула к креслу низкую скамейку, села, набросила одеяло на плечи и сказала:

— Если это вам не помешает, я останусь здесь, больше мне негде. — Потом взяла морщинистую руку паралитика и отвернулась к потухающему очагу. Мы почувствовали, что это — только начало откровенного разговора, и, удивившись своего недавнего любопытства, промолчали. Дождь все еще барабанил по крыше, порывы ветра долетали в очаг, сдувая пепел с углей. Но вот, лишь только стихии на минуту умолкли, Миггс подняла голову, откинула волосы со лба и, повернувшись к нам, спросила:

— Кто-нибудь из вас меня знает?

Ответа не последовало.

— Ну-ка, припомните! Я жила в Мэрисвилле в пятьдесят третьем году. Меня там все знали, да это и не удивительно. До того как поселиться с Джимом, я держала салун «Полька». С тех пор прошло шесть лет. Должно быть, я порядком изменилась.

Миггс, вероятно, смутило то, что никто ее не узнал. Она отвернулась к огню и, помолчав несколько секунд, снова заговорила, но уже гораздо торопливее:

— Я думала, кто-нибудь из вас меня вспомнит. Ну что ж, не беда! Я вот что хотела сказать: Джим, — она взяла его руку в свои, — уж он-то меня знал хорошо, он потратил на меня уйму денег. Наверно, все, какие у него только были. И вот как-то раз — этой зимой будет шесть лет с того дня — Джим пришел в мою комнату за стойкой, сел на диван, вот как он сейчас сидит в кресле, и больше без чужой помощи не шевельнулся. Расшибло его сразу, он так и не понял, какая с ним стряслась беда. Доктора говорили: это расплата за прошлое — ведь он жил весело, себя не берег... Говорили, ему уж не поправиться и долго не протянуть, советовали отправить его в больницу во Фриско, кому, мол, такой нужен? Ведь он как малый ребенок и таким останется навсегда. А я слушала их, слушала и сказала: «Нет!» Сама не знаю почему может, глаза Джима так на меня подействовали, а может, потому, что у меня никогда не было ребенка. В средствах я тогда не стеснялась, гостей было много — господа вроде вас ко мне заживали. Ну, продала я свой салун, купила вот

этот домишко, потому что он в стороне от дороги, и привезла своего ребенка сюда.

Рассказывая все это, Миггс с чисто женским чутьем и тактом постепенно меняла положение, чтобы безгласная фигура паралитика оказалась между ней и слушателями, и, прячась в тени, точно выставляла напоказ немое оправдание своего поступка. И неподвижный, бесчувственный человек встал на ее защиту; жалкий, раздавленный божьим гневом, он простирал над ней невидимую руку.

Скрываясь в темноте, но все еще держа его за руку, Миггс продолжала:

— Не сразу я здесь притерпелась, ведь раньше вокруг меня всегда было много народу, всегда было весело. Помощницу я найти не могла, а мужчинам не доверяла. Но все-таки мы с Джимом постепенно обжились на новом месте — что нужно, выписываем из Норт-Форка, а иногда здешние индейцы помогают. Изредка наезжает к нам доктор из Сакраменто. Приедет и спросит: «Ну, как наш ребенок, Миггс?» — это он Джима так зовет, — а на прощание всегда скажет: «Молодчина вы, Миггс, да хранит вас господь!» И после этого мне здесь не так одиноко. А последний раз он уже собрался уходить и вдруг говорит: «Знаете, Миггс, ваш ребенок скоро вырастет, станет взрослым мужчиной, гордостью своей матери, только не здесь, Миггс, только не здесь!» И ушел такой грустный... — Тут и голос и головка Миггс совсем скрылись в темноте.

— Здешний народ очень добрый, — продолжала она, помолчав, и снова пододвинулась к свету. — Мужчины из Норт-Форка первое время слонялись вокруг да около, но скоро поняли, что никому они тут не нужны, а женщины — чуткие: не показываются. Сначала мне было очень одиноко, но летом я набрела в лесу на Хоакина, еще совсем маленького, научила его служить, просить подачку. Потом у меня есть Полли — это сорока, — она знает столько всяких штучек, с ней не соскучишься по вечерам. И теперь мне не кажется, что я здесь единственное живое существо. А Джим... — Миггс рассмеялась своим прежним смехом и еще ближе подседа к очагу. — Джим... да вы даже представить себе не можете, сколько он всего понимает, — а ведь так болен! Иной раз принесешь домой цветы, и он смотрит на них, будто и вправду знает, что это такое. А когда мы сидим одни, я читаю ему вслух вот то, что у нас на стенах. Господи боже! — Миггс весело

рассмеялась. — За эту зиму я прочитала ему целую стену сверху донизу. Такого охотника послушать чтение и не найдешь больше!

— А почему, — спросил судья, — почему бы вам не выйти замуж за этого человека, которому вы посвятили свою молодость?

— Да видите ли... — ответила Миггс, — пожалуй, неплохо это будет — воспользоваться его беспомощным состоянием. А потом, если мы станем мужем и женой, тогда то, что я сейчас делаю добровольно, я должна буду делать по обязанности.

— Но вы еще молоды и хороши собой...

— Время позднее, — сдержанно сказала Миггс, — укладывайтесь лучше спать. Спокойной ночи, друзья! — И, закутавшись в одеяло, она легла рядом с креслом Джима, положила голову на скамеечку, подставленную ему под ноги, и затихла.

Огонь в очаге медленно угасал. Не говоря ни слова, мы разобрали свои одеяла, и скоро в длинной низкой комнате ничего не стало слышно, кроме стука дождя по крыше и тяжелого дыхания спящих.

Начинало светать, когда я проснулся от беспокойного сна. Буря стихла, звезды светили ярко, и в незакрытое ставнями окно, поднимаясь из-за величавых сосен, смотрела полная луна. С бесконечным состраданием коснулась она лучом жалкой фигуры в кресле и залила мерцающим потоком голову женщины, чьи волосы, словно в трогательной старой легенде, окутывали ноги того, кто был дорог ей. Луна наделила поэтичностью даже неуклюжего Юбу Билла, который, опираясь на локоть и тараща по сторонам глаза, лежал, исполненный терпения, между больным и своими пассажирами. Потом я опять задремал и проснулся, когда уже было утро и Юба Билл, стоя надо мной, кричал так, что в ушах звенело:

— Отчаливаем!

На столе нас ждал кофе, но Миггс нигде не было видно. Мы бродили около дома и долго еще мешкали с отъездом, хотя лошади уже были запряжены. Миггс не появлялась. Она, видимо, хотела избежать прощания и предоставила нам удалиться тем же порядком, каким мы появились. Мы помогли нашим спутницам залезть в дилижанс, вернулись в дом и торжественно попрощались с Джимом, усаживая его в прежней позе после каждого рукопожатия. Потом оглядели в последний раз длинную

низкую комнату, скамеечку, на которой вчера сидела Миггс, и не спеша заняли места в дилижансе. Бич щелкнул, и мы тронулись в путь!

Но как только перед нами показался широкий тракт, Билл ловкой рукой на всем ходу осадил шестерку лошадей, и дилижанс круто остановился. На пригорке у самой дороги стояла Миггс, волосы ее развевались по ветру, глаза сверкали, в руке белел носовой платок, ослепительная улыбка слала нам последнее прости. Мы замахали шляпами ей в ответ. А потом Юба Билл, словно испугавшись этого обольстительного видения, яростно взмахнул кнутом, и мы дружно откинулись на сиденья.

До самого Норт-Форка никто из нас не проронил ни слова. Дилижанс остановился у «Индепенденс-Хауза». Во главе с судьей мы вошли в бар и в строгом молчании расположились у стойки.

— Полны ли ваши стаканы, джентльмены? — спросил судья, торжественно снимая свой белый цилиндр.

Стаканы были полны.

— Итак, за здоровье Миггс, да благословит ее бог! Быть может, бог и благословил ее. Кто знает?

ДЖЕНТЛЬМЕН ИЗ ЛАПОРТА



Он был первый поселенец. Партия старателей, которая проложила себе дорогу через снеговые заносы зимой 1851 года и нашла треугольную маленькую долину, названную впоследствии Лапортом, встретила там одного-единственного жителя. В течение трех месяцев он поддерживал свои силы, съедая в день по два сухаря и по кусочку бекона пальца в три шириной, а жил в шалаше из коры и прутьев. Тем не менее старатели нашли его бодрым, жизнерадостным и изысканно вежливым. Но тут я с удовольствием уступаю место капитану Генри Саймсу, начальнику партии старателей, и его более красочному повествованию:

«Мы на него набрали невзначай, джентльмены, смотрим, сидит себе под скалой (он отмерил расстояние), примерно вот так, как вы стоите. Только он нас завидел, сейчас ныряет к себе в шалаш, вылезает оттуда в цилиндре — суцая печная труба, джентльмены, и в перчатках, убей меня бог! Длинный, худой, щеки втянуты дальше некуда; рожа постная, да оно и понятно, если принять во внимание голодный паек. Однако приподнимает вот этак цилиндр и говорит:

— Счастлив с вами познакомиться, джентльмены, боюсь, дорога сюда показалась вам довольно неудобной. Не угодно ли сигару? — И вытаскивает щегольской портсигар с двумя настоящими гаванами. — Жаль, что так мало осталось.

— А сами вы не курите? — говорю.

— Редко, — говорит.

И ведь все врал: в этот же день я видел, как он дымил коротенькой трубочкой, изо рта ее не выпускал, как младенец соску. — Сигары я держу для гостей.

— У вас тут, надо полагать, частенько собирается высшее общество? — говорит Билл Паркер, разглядывая в упор цилиндр и перчатки, а сам подмигивает ребятам.

— Заходят кое-когда индейцы, — говорит он.

— Индейцы! — говорим мы.

— Да. Народ по-своему очень хороший. Раза два приносили мне дичь, да я отказался, не взял, беднягам и самим туго приходится.

Ну, джентльмены, всем известно, что мы люди мирные, тихие, можно сказать, люди, но эти самые «хорошие» индейцы в нас стреляли раза три, а у Билла сняли вершка три кожи с черепа, вместе с волосами, оттого он и ходит в венке, вроде римского сенатора, — так вот всем показалось, что этот чужак бессовестно над нами издевается. Билл Паркер встал, смерил его взглядом и говорит спокойным голосом:

— Так вы говорите, эти самые индейцы, *хорошие* индейцы, приносили вам дичь?

— Приносили, — говорит.

— А вы отказались?

— Отказался.

— Вот, должно быть расстроились! Каково это им при их чувствительной натуре? — говорит Билл.

— Да, кажется, были очень огорчены.

— Ну еще бы, — говорит Билл. — А позвольте спросить: кто вы такой будете?

— Извините, пожалуйста, — говорит незнакомец и — провалиться мне на этом месте — вытаскивает бумажник и протягивает Биллу: — Вот моя карточка.

Билл берет и читает вслух:

— Дж. Тротт, из Кентукки.

— Ничего себе карточка, — говорит Билл.

— Очень рад, что она вам понравилась, — говорит незнакомец.

— Думаю, и остальные пятьдесят одна карта в колоде не хуже — одни картинки да козыри.

Незнакомец молчит и пятится от Билла, а тот на него наседает.

— Ну, так какая же ваша игра, мистер Дж. Тротт из Кентукки?

— Я вас не совсем понимаю, — говорит незнакомец и весь вспыхивает, словно табак в трубке.

— Куда это вы так нарядились? Цилиндр, перчатки?

Что за цирк? К чему вы это затеяли? Кто вы такой, собственно говоря?

Незнакомец поднимается с места и говорит:

— Я не ссорюсь с гостями у себя дома, и из этого вы можете заключить, что я джентльмен.

Тут он снимает свой цилиндр, низко кланяется — вот так — и поворачивает к нам спину — таким вот манером, — а Билли вдруг задрал правую ногу да как саданет сапогом по этому самому цилиндру — продавил начисто, как обруч в цирке.

Больше я ничего не могу припомнить, джентльмены. Да и никто из нас даже под присягой не мог бы показать, что после этого случилось, а незнакомец держал язык за зубами. Что-то вроде урагана пронеслось по долине. Ничего не помню, кроме пыли и суматохи. Криков не было, не было и стрельбы. Бывают такие неожиданности, что и выстрелить не успеешь. Очнулся я в зарослях чапаралья, на мне осталась только половина рубашки, в карманах я нашел фунта¹ с три песку и камней, да и в волосы всего этого порядком набилось. Гляжу вверх и вижу, что Билл застрял в развилине орешника футах в двадцати надо мной.

— Капитан, — говорит он, будто не в себе, — кончился торнадо?

— Чего? — говорю я.

— Вот это самое стихийное бедствие, кончилось оно?

— Как будто, — говорю я.

— Дело в том, — говорит он, — что перед началом этого явления природы у меня вышло маленькое недоразумение с незнакомцем, и я хотел бы извиниться.

С этими словами он спокойно слезает с дерева, идет в шалаш и выходит под руку с незнакомцем, улыбаясь, как младенец. Вот тогда-то мы и узнали как следует «Джентльмена из Лапорта».

Вполне возможно, что изложенные в этом рассказе события слегка преувеличены, и осторожный читатель хорошо сделает, если отнесется без особенного доверия к явлению природы, на которое ссылается капитан. Достоверно то, что Джентльмену из Лапорта простила некоторая эксцентричность², а личная доблесть оберегала его от критики. Так это и было объявлено во всеуслышание.

¹ Фунт (торговый) — единица массы, равная 450 г.

² Эксцентричность — склонность к поступкам странным, из ряда вон выходящим.

— Сдается мне, — заметил один кроткий новичок, который, получив из Штатов известие о кончине дальнего родственника, украсил свою белую войлочную шляпу полосой траурного крепа необычайной ширины, в силу чего должен был «угостить» публику в гостинице Паркера, — сдается мне, джентльмены, что этот налог на естественное проявление горя плохо вяжется с таким праздничным нарядом, как желтые лайковые перчатки на джентльмене справа от меня. Я не прочь угостить публику, только, по-моему, резолюция у нас не вполне соответствует программе. — Такое воззвание к демократии заставило промолчать Джентльмена из Лапорта; ответить должен был, очевидно, владелец бара, мистер Уильям Паркер, так сказать, председатель собрания.

— Молодой человек, — возразил он сурово, — когда вы наденете такие перчатки, как на нем, и они у вас будут мелькать в воздухе, как молния, ударяя в четыре места разом, вот тогда и разговаривайте. Тогда можете надевать все, что вам угодно, хоть наизнанку!

Публика была того же мнения, и покладистый новичок, заплатив за вышивку, готов был даже снять траурную полосу крепа, если бы его не остановил весьма учтиво Джентльмен из Лапорта.

И все же, смею вас уверить, по внешности его грозная доблесть была малозаметна. Фигура у него была нескладная, длинноногая, связанная в движениях и совершенно лишенная живости и ловкости. Необыкновенно длинные руки висели вдоль тела, вывернутые ладонями наружу. При ходьбе он загребал носками, и это наводило на мысль, что среди его предков были индейцы. Лицо, насколько помню, тоже было нескладное. Худое и унылое, оно редко освещалось улыбкой, которая только из учтивости отдавала должное комическим дарованиям собеседника, сам же он был не в состоянии их оценить. Прямые черные волосы и широкие скулы должны были бы подчеркивать близость к индейскому типу, но странные глаза, не подходившие ни к одной из черт лица, ослабляли это впечатление. Они были изжелта-голубые, навывкате, с неподвижным взглядом. По ним нельзя было угадать ни одной мысли Джентльмена из Лапорта, нельзя было предвидеть ни одного его поступка. Они не вязались ни с его речью, ни с его манерой держаться, ни даже с его поразительным костюмом. Некоторые непочтительные критики высказывали мнение, что он потерял глаза в ка-

кой-нибудь пограничной стычке и наспех заменил их глазами своего противника.

Если бы эта остроумная догадка дошла до ушей Дженльмена, он, верно, ограничился бы простым отрицанием и не заметил бы ничего нелепого в этом юмористическом утверждении. Ибо, как уже сообщалось раньше, одной из его особенностей была полная невосприимчивость к комической стороне вещей. Отсутствие чувства юмора и невозмутимая серьезность, редкие в такой среде, где самые драматические эпизоды не лишены юмористических черточек и где обычным развлечением служит «разыгрывание», сочетались в нем с прямоотой, приводившей в отчаяние.

— Мне кажется,— заметил он одному уважаемому гражданину Лапорта,— что, намекая на пристрастие мистера Уильяма Пегхеммера к спорам, вы сказали, будто бы слышали однажды ночью, как он не спал и пререкался с кузничиками. Он же сам уверял меня, что это выдумка, и я могу прибавить, что провел с ним эту ночь в лесу и ничего подобного не заметил. По-видимому, вы сказали неправду.

Суровость этой отповеди отбила у всех охоту шутить в его присутствии. Не могу сказать наверное, но, кажется, именно после этого вокруг него создалась атмосфера известной аристократической отчужденности.

Неразрывно связанный с поселком со времени его основания, мистер Тротт разделял его судьбу и содействовал его процветанию. Как один из открывших «Орлиный прииск», он пользовался некоторым доходом, позволявшим ему жить не работая и на свободе следовать своим немногочисленным и недорого стоящим причудам. Он заботился о собственной внешности, что сводилось, в общем, к чистой рубашке, а кроме того, любил делать подарки. Они были ценны не столько сами по себе, сколько по связанным с ними воспоминаниям. Одному из близких друзей он подарил тросточку, вырезанную из дикой лозы, которая росла над тем местом, где была открыта знаменитая «Орлиная жила»; набалдашник украшал прежде палку, которую когда-то подарили отцу мистера Тротта, а наконечник был сделан из последнего серебряного полудоллара, привезенного им в Калифорнию.

— Можете себе представить,— говорил возмущенный обладатель этого трогательного дара,— я хотел бы поставить ее на кон у Робинсона вместо пяти долларов, так ребята и смотреть не захотели, сказали, чтоб я вышел из игры. Не умеют ценить ничего святого в нашем поселке.

Как раз в это время буйного роста и процветания поселка граждане Лапорта единогласно избрали Джен-тльмена в мировые судьи. Что он выполнял свои функции с достоинством, было вполне естественно; но то, что он проявил странную снисходительность при взыскании штрафов и наложении наказаний, было неожиданным и довольно неприятным открытием для поселка.

— Закон требует, сэр,— говаривал он какому-нибудь явному преступнику,— чтобы я предложил вам выбрать между заключением под стражу на десять дней и штрафом в десять долларов. Если у вас нет при себе денег, мой секретарь, без сомнения, ссудит их вам.

Нечего и говорить, что секретарь неизменно одалживал преступнику эти деньги и что в перерыве заседания судья немедленно возвращал их секретарю. И только в одном случае упрямый преступник из чистого злопыхательства, а может быть, не желая, чтобы судья платил за него, отказался взять у секретаря деньги на уплату штрафа. Его тут же отправили в окружную тюрьму. Из довольно достоверных источников стало известно, что после заседания судью видели в ослепительном белье и желтых перчатках направляющимся к окружной тюрьме — маленькому глинобитному строению, которое служило также архивом; что судья, просмотрев для вида несколько дел, вошел в тюрьму, будто бы для официальной ревизии, что позже вечером шериф, стороживший заключенного, был послан за бутылкой виски и колодой карт. Утверждают, будто бы в этот вечер во время дружеской партии в юкр, составленной для развлечения заключенного, страж проиграл ему все свое месячное жалованье, а судья — свое жалованье за целый год. Вся эта история была встречена недоверчиво, как несовместимая с достоинством судьи Тротта, хотя она вполне отвечала добродушию его характера. Достоверно, однако, что этой снисходительностью он чуть не погубил свою репутацию как судья, но тут же спас ее, проявив силу характера как частное лицо. Талантливый молодой адвокат из Сакраменто выступал в качестве защитника перед судьей Троттом, но, будучи уверен в успехе своего выступления перед простаком-судьей, в своем заключительном слове он не счел нужным скрывать презрения к нему. Когда он кончил, судья Тротт не двинулся с места, только его широкие скулы слегка покраснели. Но здесь мне снова придется воспользоваться выразительным языком очевидца.

«Тут судья вывесил красный флаг в знак опасности и говорит вполне хладнокровно этому шаркуну из Сакраменто.

— Молодой человек, — говорит, — знаете ли вы, что я могу вас оштрафовать на пятьдесят долларов за неуважение к суду?

— Ну так что же? — говорит шаркун, дерзкий и нахальный, как слепень. — Штрафуйте, я заплачу.

— Должен, однако, предупредить вас, — говорит Джентльмен мрачным голосом, — что я этого делать не намерен, я признаю свободу слова и действия! — Тут он поднимается, расправляет, так сказать, плечи, протягивает руку Правосудия, хватает этого шаркуна и вышвыривает его за окно в канаву, футов примерно за двадцать.

— Вызовите истца и ответчика по следующему делу, — говорит он, усаживаясь на место, и преспокойно смотрит на всех своими белыми глазами, как будто ничего особенного не случилось».

Для Джентльмена было бы удачей, если б такие чудачества всегда сходили ему с рук столь же благополучно. Но роковая и до сих пор никому не известная слабость была проявлена Троттом в том самом суде, где он одержал столько побед, и временно поколебала его репутацию. Одна особа с сомнительным прошлым и весьма свободными манерами, богиня, правившая «Колесом Фортуны» в первом из игорных домов Лапорта, подала в суд на некоторых граждан за то, что они «силой» вломились в ее салун и разнесли вдребезги рулетку. Ей помогал ловкий адвокат и горячо сочувствовал один джентльмен, который не был ее мужем. Однако, несмотря на такую влиятельную поддержку со стороны, ей не повезло. Преступление было доказано, но присяжные, даже не удаляясь на совещание, вынесли вердикт в пользу ответчиков. Судья Тротт обратил к ним свой кроткий взгляд.

— Так ли я вас понял? Это ваш окончательный вердикт?

— Можете прозакладывать последние сапоги, ваша честь, что дело обстоит именно так, — ответил старшина присяжных с веселой, но безобидной непочтительностью.

— Господин секретарь, — сказал судья Тротт, — составьте приговор и занесите в протокол, что я слагаю с себя звание судьи.

Он встал и вышел из зала суда. Напрасно влиятельные

граждане Лапорта бежали за ним вдогонку, намереваясь объясниться, напрасно докладывали ему, что истица не заслуживает внимания, да и дело ее тоже — дело, ради которого он пожертвовал собой. Напрасно присяжные давали ему понять, что его отставка явится для них оскорблением. Судья Тротт повернулся к старшине присяжных, и его широкие скулы злоеще вспыхнули.

— Что вы сказали? Я вас не понял,— переспросил он.

— Я говорил, что бесполезно будет спорить на этот счет,— поспешно ответил старшина и отступил, несколько опередив остальных присяжных, как того требовало его официальное положение. Судья Тротт так и не вернулся на свое место.

Прошел добрый месяц после его отставки, и Джендльмен сидел в сумерках «под сенью своей лозы и смоковницы»¹ — выражение фигуральное, в данном случае обозначавшее секвойю и плющ,— перед дверью той самой хижины, где он имел честь познакомиться с читателем, как вдруг перед ним возникли неясные очертания женской фигуры и послышался женский голос.

Джендльмен растерялся и вставил в правый глаз большой монокль в золотой оправе, который считался в поселке последней из его модных причуд. Фигура была незнакомая, но голос Джендльмен узнал сразу: он принадлежал истице, памятной ему по последнему судебному заседанию, столь чреватому последствиями. Следует тут же сказать, что это был голос мадемуазель Клотильды Монморанси: справедливо будет прибавить, что, поскольку она не говорила по-французски и бесспорно принадлежала к англосаксонской расе, этим именем она назвалась, по-видимому, в связи с игрой, которой заправляла и которая, по мнению жителей поселка, была иностранного происхождения.

— Мне хотелось бы знать,— сказала мисс Клотильда, садясь на скамью рядом с Джендльменом,— то есть нам с Джейком Вудсом хотелось бы знать, сколько, вы думаете, вылетело у вас из кармана из-за этой вашей отставки?

Почти не слушая ее слов и больше занятый самым ее появлением, судья Тротт пробормотал невнятно:

— Кажется, я имею удовольствие видеть мисс...

— Если вы хотите этим сказать, что вы меня не

¹ Цитата из Библии.

знаете, никогда в жизни не видели и больше видеть не желаете, то, на мой взгляд, это довольно вежливо сказано,— заметила мисс Монморанси неестественно спокойно, сгребая сухие листья кончиком зонта, чтобы скрыть свое волнение.— Я мисс Монморанси. Я говорю: мы с Джейком подумали — раз вы стояли за нас, когда эти собаки-присяжные наврали с три короба в своем решении,— мы с Джейком подумали, что несправедливо будет, если вы потеряете место из-за меня. «Узнай у судьи,— говорит Джейк,— сколько он потерял из-за этой самой отставки, пускай сам подсчитает». Вот что сказал Джейк. Он честный малый, это уж во всяком случае.

— Мне кажется, я вас не совсем понимаю,— правдиво ответил судья Тротт.

— Ну вот, так я и знала! — продолжала мисс Клотильда, едва скрывая огорчение.— Так я и говорила Джейку. «Судья нас с тобой не поймет,— вот что я говорила.— Он такой гордый, что и смотреть на нас не захочет. Во вторник я встретила с ним на улице нос к носу, и он сделал вид, будто меня не замечает — даже на поклон не ответил».

— Сударыня, уверяю вас, вы ошиблись,— поторопился сказать судья Тротт.— Я вас не видел, поверьте мне. Дело в том — я и себе боюсь в этом сознаться,— что мое зрение с каждым днем слабеет.

Он замолчал и вздохнул. Мисс Монморанси, глядя снизу вверх на его лицо, заметила, что он бледен и взволнован. Со свойственной женщинам быстротой соображения она сразу поверила, что этой физической слабостью объясняется непонятное иначе, дерзкое выражение его странных глаз, и это было для нее достаточным извинением. Женщина не прощает мужчине безобразия только в том случае, когда оно необъяснимо.

— Так, значит, вы меня в самом деле не узнали? — сказала мисс Клотильда, слегка смягчившись, но все же чувствуя себя неловко.

— Боюсь... что нет,— сказал Тротт с извиняющейся улыбкой.

Мисс Клотильда помолчала.

— Вы хотите сказать, что не могли разглядеть меня, когда я была в суде?

Судья Тротт покраснел.

— Боюсь, я видел только смутные очертания...

— На мне была,— подхватила мисс Клотильда,— со-

ломенная шляпка, подбитая красным шелком, с загнутым вот так полем и с красными лентами, завязанными бантом вот здесь (указывая на полную шею), настоящая шляпка из Фриско — разве вы не помните?

— Я... то есть... боюсь, что...

— И еще пестрая шелковая мапилька, — тревожно продолжала мисс Клотильда.

Судья Тротт улыбнулся вежливо, но неопределенно.

Мисс Клотильда поняла, что он совсем не заметил ее изысканного и со вкусом сшитого наряда. Раскидав листья, она воткнула зонтик в землю.

— Так, значит, вы меня совсем не видели?

— Очень смутно.

— Так отчего же, если можно вас спросить, отчего же вы подали в отставку? — сказала она вдруг.

— Я не мог оставаться судьей после того, как суд утвердил такой несправедливый вердикт присяжных, как в вашем деле, — горячо возразил судья Тротт.

— А ну-ка, повтори, старина, — сказала мисс Клотильда с восторгом, который наполовину оправдывал фамильярность обращения.

Судья Тротт учтиво изложил свою мысль в иной форме.

Мисс Монморанси молчала с минуту.

— Так это не из-за меня? — сказала она наконец.

— Мне кажется, я вас не совсем понимаю, — с некоторой заминкой ответил судья.

— Ну вот! Вы это сделали не из-за меня?

— Нет, — мягко сказал судья.

Опять наступило молчание. Мисс Монморанси раскидывала зонтик на носке туфли.

— Ну, не много же я смогу рассказать Джейку, — заметила она.

— Кому?

— Джейку.

— Ах да, вашему супругу?

Мисс Монморанси щелкнула застежкой браслета и резко спросила:

— А кто говорит, что он мой супруг?

— Ах, простите, пожалуйста.

— Я сказала: «Джейку Вудсу». Он честный малый, это уж во всяком случае. Он велел вам передать: «Скажи судье, что, если он от нас что-нибудь возьмет, это будет не взятка и не подкуп, — совсем напротив. Тут дело чи-

стое. Приговор вынесен, он больше не судья, для нас он ничего не может сделать, да мы ничего и не ждем, разве только одного. И это вот чего: нам будет приятно знать, что он ничего из-за нас не потерял, ничего не потерял из-за того, что он честный человек и поступил честно». Вот это самое он и сказал. Поняли? Конечно, я знаю, что вы ответите. Знаю, что вы рассердитесь. Из себя выйдете. Я знаю, вы человек гордый и от таких, как мы, не возьмете и доллара, даже если будете умирать с голоду. Я знаю, что вы пошлете Джейка ко всем чертям, да и меня заодно с ним! Ну и наплевать!

Она вышла из себя так неожиданно, так непоследовательно и так бурно, что не было ничего странного, когда все это кончилось столь же неожиданно истерикой и слезами. Она снова опустилась на скамью, с которой только что встала, и вытерла глаза руками в желтых перчатках, не выпуская из них зонтика. К ее бесконечному удивлению, судья Тротт тихо положил одну руку ей на плечо, а другою отнял мешавший ей зонтик и деликатно положил его на скамью рядом с ней.

— Вы ошибаетесь, дорогая леди, — сказал он почти-точно и серьезно, — глубоко ошибаетесь, если думаете, что я чувствую к вам что-нибудь, кроме благодарности, за ваше предложение, настолько необычайное, что, вы и сами понимаете, я не могу его принять. Нет! Позвольте мне верить, что, выполняя свой долг судьи, как я его понимаю, я заслужил ваше расположение и что теперь, выполняя свой долг человека, я сохранию это расположение за собой.

Мисс Клотильда подняла к нему лицо, словно вслушиваясь в его серьезную речь вдумчиво и с удивлением. Но она сказала только:

— Можете вы меня разглядеть в этом освещении? На этом расстоянии? Наденьте ваше стеклышко и попробуйте.

Ее лицо приблизилось к лицу судьи. Не помню, говорил ли я, что она была красивая женщина. Прежде она была еще красивей. От ее былых прелестей осталось еще довольно, чтобы придать «Колесу Фортуны», которым она правила, известную притягательность, благодаря чему игроки шли на риск с большей охотой. Именно это нечестивое соединение Красоты и Риска вызвало ярость жителей Лапорта, которые сочли его неделовым и даже «жюльническим».

Глаза у нее были красивые. Возможно, судье Тротту никогда не приходилось видеть близко таких красивых и таких выразительных глаз.

Смутившись, он поднял голову, и его широкие скулы покраснели. Потом отчасти из свойственной ему вежливости, отчасти желая ввести в разговор третье лицо, чтоб оправиться от смущения, он сказал:

— Надеюсь, вы передадите вашему другу... мистеру... что я ценю его любезность, хоть и не могу воспользоваться ею.

— Ах, это вы про Джейка! — сказала дама. — Он уехал на родину, в Штаты. О нем беспокоиться нечего!

Опять наступило неловкое молчание, быть может вызванное этим сообщением. Наконец его нарушила мисс Монморанси:

— Вам следует позаботиться о ваших глазах, я хочу, чтоб в следующий раз вы меня узнали.

И они расстались. Судья узнавал ее при следующих встречах. А затем странные слухи взволновали Лапорт до основания, в рудниках и на горных склонах.

Судья Тротт женился в Сан-Франциско на мисс Джен Томпсон, *alias*¹ мисс Клотильде Монморанси. В течение нескольких часов буря негодования и возмущения бушевала над городом; все считали установленным существование преднамеренного тайного заговора. Всем стало ясно как нельзя более, что судья Тротт подал в отставку ради того, чтобы получить ее руку и небольшое состояние, которым она обладала. Повредить его репутации было уже невозможно. Зато был проявлен нездоровый интерес к судьбе и репутации ее бывшего любовника Джейка Вудса, жертвы двойного предательства — со стороны судьи Тротта и мисс Клотильды. Составили комиссию, чтобы написать сочувственное послание этому человеку, которого не так давно собирались линчевать. Бурные дебаты были прерваны голосом первого рассказчика, выступавшего в нашем правдивом повествовании, капитана Генри Саймса:

«В этом деле есть одна подробность, которой вы, кажется, не знаете, а следовало бы знать. В тот самый день, когда она вышла за Тротта в Сан-Франциско, она побывала у доктора, и он ей сказал, что Тротт безнадежно слеп! Джентльмены, когда такая девушка губит всю свою жизнь и бросает свою профессию и порядочного малого вроде

¹Иначе (лат.).

Джейка Вудса, чтобы выйти замуж за слепого без гроша в кармане, выйти из принципа, только потому, что он за нее вступился, — убей меня бог на этом самом месте, если найдется человек, который ее осудит! Когда сам Тротт согласен забыть кое-что неладное в ее прошлом ради того, что она будет его любить и заботиться о нем, то это уж его дело! Прошу меня извинить, а только я по опыту знаю, как опасно вмешиваться в личные дела Джентльмена из Лапорта».

КАК САНТА КЛАУС ПРИШЕЛ В СИМПСОН-БАР



В долине реки Сакраменто шли дожди. Северный рукав выступил из берегов, а через Змеинный ручей нельзя было перебраться. Валуны, отмечавшие летом брод, скрылись под широкой пеленой воды, простиравшейся до самых предгорий. Дилижанс застрял у Грэнджера, последняя почта увязла в камышах, и верховой едва спасся вплавь. «Под водой,— с патриотической гордостью сообщал еженедельник «Лавина Сьерры»,— находится площадь, равная штату Массачусетс».

И в предгорьях стояла погода не лучше. Горная тропа была покрыта густым слоем грязи; путь загромождали фургоны, которые нельзя было сдвинуть с места ни физической силой, ни моральным воздействием; дорогу на Симпсон-Бар указывали загнанные упряжки и немилосердная брань. А дальше, отрезанный от мира и недоступный человеку, Симпсон-Бар ласточкиным гнездом лепился к каменистому фризу и острым капителям¹ Столовой горы, содрогаясь под ураганным ветром. Был канун рождества 1862 года.

Над поселком спустилась ночь, и огоньки замерцали сквозь туман в окнах лачуг по сторонам дороги, вдоль которой теперь с шумом неслись беззаконные ручьи и гулял мародер-ветер. Большинство жителей, как всегда, собралось в лавке Томсона. Они теснились возле раскаленной докрасна печки и в молчании поплевывали на нее, что являлось принятой среди них формой общения, до известной степени заменявшей беседу. В самом деле, по-

¹ Фриз и капитель — архитектурные детали. Фриз — изображение или орнамент в виде горизонтальной полосы наверху стены здания. Капитель — венчающая часть колонны или столба.

что все способы увеселения в Симпсон-Баре давно уже были исчерпаны; наводнение приостановило работы в ущельях и на реке; денег на виски не было, что лишало привлекательности самые запретные удовольствия. Даже мистеру Гемлину пришлось покинуть Симпсон-Бар с пятьюдесятью долларами в кармане — это было все, что он смог реализовать из тех крупных сумм, которые выиграл, успешно практикуясь в своей многотрудной профессии. «Если бы меня попросили,— говаривал он впоследствии,— если бы меня попросили указать хорошенькую деревушку, где отставному игроку, который не гонится за деньгами, можно без скуки поупражняться в своем ремесле, я назвал бы Симпсон-Бар; но для молодого человека, обремененного семейством, это занятие невыгодное». Так как семейство мистера Гемлина состояло преимущественно из совершеннолетних особ женского пола, это замечание приводится больше для того, чтобы продемонстрировать сатирическое направление его ума, нежели точный объем его семейных обязанностей.

Как бы то ни было, жертвы его насмешек проводили этот вечер в лавке, погружившись в полную апатию, порожденную праздностью и скукой. Их несколько не оживило даже неожиданное чмоканье копыт перед крыльцом. Один только Дик Буллен перестал прочищать свою трубку и поднял голову; никто другой не проявил интереса к вошедшему и ничем не показал, что узнает его.

Это была фигура, достаточно знакомая всему обществу и известная в Симпсон-Баре под именем Старика,— человек лет пятидесяти, с проседью и почти лысый, но со свежим, румяным лицом, которое выражало готовность сочувствовать чему угодно, впрочем, не слишком сильную, и могло, подобно хамелеону, принимать любой цвет или оттенок чужих настроений и чувств. Он, по-видимому, только что покинул какую-то веселую компанию и, не заметив сначала унылого настроения общества, шутливо хлопнул по плечу первого, кто подвернулся под руку, и развалился на свободном стуле.

— Ну и слышал я историю, ребята! Знаете Смайли, нашего Джима Смайли? Самый занятный парень во всем Симпсон-Баре! Ну так вот, Джим рассказал мне потешную историю насчет...

— Болван твой Смайли,— прервал его мрачный голос.

— Хорек вонючий,— прибавил другой похоронным тоном.

После таких решительных высказываний наступило молчание. Старик обвел всех быстрым взглядом. Выражение его лица сразу изменилось.

— Это-то верно, — помолчав, сказал он в раздумье, — верно, что вроде как болван, да, пожалуй, и на хорька смахивает. Это конечно. — Он помолчал с минуту, видимо с грустью размышляя о непривлекательности и глухости всем опротивевшего Смайли.

— Скверная погода, а, ребята? — прибавил он, входя в русло общего настроения. — Все мы по уши в долгах, а денег в этом сезоне, должно быть, не увидим. А завтра рождество.

При этих словах среди присутствующих можно было заметить движение, но трудно было сказать, что оно выражало: одобрение или недовольство.

— Да, — продолжал Старик унылым тоном, который он бессознательно усвоил за последние минуты, — да, завтра рождество, а нынче сочельник. Вот, ребята, я и подумал, то есть мне мысль такая пришла, так, ни с того ни с сего, знаете ли, чтобы вы собрались сегодня у меня, повеселились бы, что ли, вместе. А теперь, я думаю, может, вы и не захотите? Не в настроении, может? — прибавил он, заискивающе и тревожно глядя в лица товарищей.

— Не знаю, право, — ответил Том Флинн, несколько оживляясь. — Может, и придем. А как твоя жена, Старик? Что-то она скажет?

Старик замялся. Его супружеская жизнь была не из удачных, о чем знал весь Симпсон-Бар. Его первая жена, нежная, милая женщина, долго страдала втайне от ревнивых подозрений мужа, пока в один прекрасный день он не пригласил к себе весь Симпсон-Бар, чтобы уличить ее в неверности. Нагрянув всей компанией к Старика, они застали робкую малютку одну — она мирно занималась домашним хозяйством — и ретировались, пристыженные и сбитые с толку. Но чувствительной женщине нелегко было оправиться от потрясения, вызванного этой неслыханной обидой. С трудом восстановив душевное равновесие, она выпустила любовника из чулана, куда он был спрятан, и бежала с ним. В утешение покинутому супругу она оставила трехлетнего мальчика. Теперешняя жена Старика прежде служила у него кухаркой. Это была крупная женщина, преданная и весьма воинственная.

Старик еще не успел ответить, как Джо Диммик на-

прямик высказал мнение, что дом не чей-нибудь, а Старика и что на его месте (он поклялся всевышним) он приглашал бы кого вздумается, даже если бы это угрожало его вечному блаженству; никакие силы ада, заметил он далее, не могли бы воспрепятствовать его намерению.

Все это было изложено в сильных и энергичных выражениях и много теряет в неизбежном пересказе.

— Само собой, оно конечно. Это-то верно,— сказал Старик, сочувственно хмурясь.— Насчет этого беспокоиться нечего. Дом мой собственный, каждый гвоздик моими руками вколочен. Вы ее не бойтесь, ребята. Она, может, малость поругается сначала, по бабьему обычаю, а там, глядишь, и обойдется.

Втайне Старик надеялся, что в трудную минуту его поддержат виски и пример более храбрых приятелей.

Дик Буллен, оракул и вожак Симпсон-Бара, до сих пор молчал. Теперь он вынул трубку изо рта.

— А как поживает твой Джонни, Старик? По-моему, он что-то заскучал: я его видел на берегу, он швырял камнями в китайцев. И, сдается мне, без всякого удовольствия. Вчера их целая партия утонула — выше по реке,— я и вспомнил про Джонни, каково-то ему без них будет! Так если он захворал, может, мы помешаем?

Отец, явно растроганный не только чувствительной картиной предстоящих Джонни лишений, но и видимым вниманием оратора, поспешил его уверить, что Джонни лучше и что «ему полезно будет немножко развлечься». Дик встал, встряхнулся и со словами: «Я готов. Ступай вперед, Старик, мы за тобой», — оказался впереди всех, с диким воплем бросился к двери и выскочил в темноту. Пробегая через переднюю комнату, он выхватил из огня пылающую головню. Это движение повторили все остальные. Толкая друг друга, они кинулись вслед за ним, и не успел удивленный хозяин понять, что задумали гости, как лавка опустела.

Ночь была темная, хоть глаз выколи. Первый же порыв ветра задул самодельные факелы, и только по красным головням, которые плясали и кружились во мраке, словно пьяные болотные огоньки, можно было догадаться, где находятся люди. Дорога шла вверх по Сосновому ущелью, в конце которого широкий и низкий дом, крытый корой, притулился к горному склону. Это был дом Старика и вход в шахту, где он работал, когда приходила такая

охота. Здесь компания задержалась на минуту из уважения к хозяину, который, пыхтя, догонял их.

— Может, вы здесь минуточку обождете, а я пойду взгляну, все ли в порядке, — сказал Старик спокойным тоном, который нисколько не выражал его чувств.

Это предложение было принято благосклонно, дверь отворилась и снова закрылась за хозяином, а компания, прячась под выступом кровли, ждала и слушала, прижавшись к стене.

Несколько минут ничего не было слышно, кроме звонкой капли, падавшей с крыши, да шороха и шума качающихся ветвей. Они забеспокоились и начали перешептываться, делаясь друг с другом своими подозрениями:

— Должно быть, старуха проломила ему голову с первого удара!

— Заманила в шахту да и заперла там, пожалуй!

— Сбила с ног и сидит на нем верхом!

— А может, кипятит что-нибудь, обварить нас хочет; ребята, станьте-ка подальше от дверей!

Как раз в это время звякнула щеколда, дверь медленно отворилась, и чей-то голос сказал:

— Ну входите, чего мокнуть на дожде!

Голос не принадлежал ни Старику, ни его жене. Это был голос мальчика, слабый дискант, разбитый, с той неестественной хрипотцой, которую порождают только бродяжничество и умение с малых лет постоять за себя. Снизу вверх на них смотрело мальчишеское лицо — лицо, которое могло бы быть миловидным и даже тонким, если бы изнутри его не омрачало познание зла, а снаружи — грязь и жизненные лишения. Мальчик кутался в одеяло и, как видно, только что встал с постели.

— Входите, — повторил он, — и не шумите. Старик там, разговаривает с матерью, — продолжал он, указывая на комнату рядом, по-видимому кухню, откуда слышался заискивающий голос Старика. — Пусти меня, — буркнул он недовольно Дику Буллену, который подхватил его вместе с одеялом, делая вид, будто хочет бросить его в огонь, — пусти, старый черт, слышишь?

Дик, сдерживая улыбку, опустил Джонни на пол, а все остальные, стараясь не шуметь, вошли и расселись вокруг длинного некрашеного стола в середине комнаты. Джонни важно подошел к шкафу, достал оттуда кое-какую провизию и выложил ее на стол.

— Вот виски. И сухари. И копченая селедка. И сыр. —

По дороге к столу он откусил кусок сыру.— И сахар.— Он запихнул горсть сахара в рот маленькой, очень грязной рукой.— И табак. Есть еще сушеные яблоки, только я до них не охотник. От яблок живот пучит. Вот,— заключил он,— теперь валяйте ешьте и не бойтесь ничего. Я-то старухи не боюсь. Она мне неродная. Ну, всего.

Он шагнул на порог маленькой комнатки, чуть побольше чулана, где в темном углу стояла детская кровать. С минуту он стоял и глядел на гостей, закутавшись в одеяло, из-под которого виднелись босые ноги, потом кивнул им.

— Эй, Джонни! Ты не собираешься ли опять ложиться? — спросил Дик.

— Да, собираюсь,— решительно ответил Джонни.

— Что с тобой, старик?

— Болен.

— Чем же ты болен?

— У меня лихорадка. И цыпки на руках. И ревматизм,— ответил Джонни, скрываясь в чулане. После минутного молчания голос его послышался из темноты, должно быть из-под одеяла: — И чирьи.

Наступило неловкое молчание. Гости поглядывали то друг на друга, то на огонь. Не помогло и соблазнительное угощение на столе; казалось, вот-вот ими овладеет то же уныние, что и в лавке Томсона, но вдруг из кухни донесся заискивающий голос Старика; он неосторожно заговорил громче:

— Конечно, это-то верно. Само собой, все они лентяи, пьяницы и бездельники, а этот Дик Буллен почище всех остальных. Хватило же смысла тащиться в гости, когда в доме больной и есть нечего. Я им так и сказал. «Буллен,— говорю,— ты либо пьян вдребезги, либо совсем дурак,— говорю,— что это тебе в голову взбрело? Стэйплс,— говорю,— будь же человеком, и не стыдно тебе поднимать дым коромыслом у меня в доме, когда все лежат больные?» Так вот нет же, взяли и пришли. Чего и ждать от этого сброда, который шляется тут по Симпсон-Бару!

Компания разразилась хохотом. Был ли этот хохот слышен на кухне, или взбешенная супруга Старика истощила все другие способы выразить свое презрение и негодование, сказать трудно, но кухонная дверь вдруг сильно хлопнула. Через минуту вошел Старик в полном неведении причины общего веселья и кротко улыбнулся.

— Старухе вздумалось сбежать тут неподалеку, наве-

стить миссис Мак-Фадден,— развязно объяснил он, садясь к столу.

Как ни странно, этот досадный случай пришелся кстати и разогнал неловкость, которую начинали чувствовать все гости, и вместе с хозяином вернулась свойственная им непосредственность. Я не собираюсь описывать застольное веселье этого вечера. Любопытный читатель должен удовлетвориться указанием, что разговоры отличались той же возвышенной содержательностью, той же осторожностью в выражениях, тем же тактом, тем же изысканным красноречием и той же логикой и связностью речи, какими отличаются подобные мужские сборища к концу вечера в более цивилизованных местностях и при более счастливых обстоятельствах. Рюмок не били, оттого что их вовсе не было; виски не лили без толку на пол и на стол, оттого что его и так не хватало.

Около полуночи веселье было прервано.

— Тсс,— сказал Дик Буллен, поднимая руку. Из чулана послышался ворчливый голос Джонни: «Ох, па!»

Старик поспешно встал и скрылся в чулане. Вскоре он появился снова.

— Опять у него ревматизм разыгрался,— объяснил он.— Надо бы растереть мальчишку.

Он взял со стола оплетенную бутылку и встряхнул ее. Она была пуста. Дик Буллен, сконфуженно улыбаясь, поставил на стол свою жестяную кружку, другие тоже. Старик обследовал содержимое кружек и сказал с надеждой в голосе:

— Пожалуй, хватит: ему ведь немного нужно. А вы все подождите минуту, я скоро вернусь.— И скрылся в чулане, захватив с собой виски и старую фланелевую рубашку. Дверь закрылась неплотно, и последовавший диалог был отчетливо слышен.

— Ну, сынок, где у тебя больше всего болит?

— Иногда повыше, вот здесь, иногда пониже, вот тут, а всего хуже вот где, отсюда и досюда. Потри здесь, па.

Молчание как будто указывало на то, что растирание идет вовсю. Потом Джонни сказал:

— Веселитесь там, па?

— Да, сынок.

— Ведь завтра, рождество?

— Да, сынок. Ну, а теперь как тебе?

— Лучше. Потри немножко пониже. А что это за рождество все-таки? Зачем оно?

— Это уж такой день.

Такого исчерпывающего объяснения было, по-видимому, достаточно, потому что растирание продолжалось молча.

Скоро Джонни заговорил снова:

— Мать говорила, будто везде, кроме Симпсон-Бара, все дарят друг другу на рождество подарки, а потом как начала тебя ругать! Она говорит, есть такой человек, зовут его Санди Клас, понимаешь, не белый, а вроде китайца, он спускается по трубе в ночь под рождество и приносит подарки детям, мальчикам вроде меня. Кладет будто бы в башмаки! Вот ведь как она очки втирает! Полегче теперь, па, где же ты трешь, совсем не там болит. Врет небось лишь бы позлить нас с тобой? Не три здесь... Да что с тобой, па?

В торжественной тишине, окутавшей дом, ясно слышались вздохи ближних сосен и капель, падавших с листьев. Голос Джонни тоже стал тише, когда он опять заговорил:

— Нечего тебе расстраиваться, ведь я теперь скоро поправлюсь. А что там гости делают?

Старик приоткрыл дверь и выглянул. Гости сидели довольно мирно, а на столе валялось несколько серебряных монет и тощий кошелек из оленьей кожи.

— Бьются об заклад, а может, хотят сыграть партию-другую. Все в порядке, — ответил он Джонни и снова принялся за растирание.

— Мне бы тоже хотелось перекинуться в картишки, выиграть хоть что-нибудь, — задумчиво сказал Джонни, помолчав немного.

Старик бегло повторил привычную, как видно, формулу, что пусть только Джонни подождет, вот попадетсЯ отцу богатая жила, тогда у них будет уйма денег и т. д. и т. д.

— Да, — сказал Джонни, — только ничего тебе не попадетсЯ. И не все ли равно — тебе попадетсЯ или я выиграю? Лишь бы повезло. А вот насчет рождества — занятная штука, верно? Почему она называется «рождество»?

Может быть, из опасения, как бы не подслушали гости, а может быть, из смутного чувства неловкости Старик отвечал так тихо, что его не было слышно в соседней комнате.

— Да, — сказал Джонни, проявляя теперь меньше ин-

тереса к разговору,— я уж о нем слышал. Ну ладно, хватит, па. Как будто полегче стало. А теперь закутай меня получше одеялом. Вот так. Ну, а теперь,— прибавил он приглушенным шепотом,— посиди тут со мной, пока я не усну.— Он высвободил руку из-под одеяла и, уцепившись за отцовский рукав, улегся снова.

Несколько минут Старик терпеливо ждал. Потом его любопытство возбудила странная тишина; не отходя от постели, он осторожно приоткрыл дверь свободной рукой и заглянул в большую комнату. К его беспредельному удивлению, там было темно и пусто. Но как раз в это время головня, дотлевавшая на очаге, подломилась, и при свете взметнувшегося пламени он увидел у гаснущего очага фигуру Дика Буллена.

— Эй!

Дик вздрогнул, поднялся в места и нетвердыми шагами подошел к нему.

— Где ребята? — спросил Старик.

— Пошли немножко пройтись вверх по каньону. Скоро зайдут за мной. Я жду их с минуты на минуту. Ты что так уставился, Старик? — прибавил он с принужденным смехом.— Думаешь, я пьян?

Старику была бы простительна такая мысль, потому что глаза у Дика были влажные и лицо покраснелось. Он сделал несколько шагов по комнате, подошел к очагу, зевнул, встряхнулся, застегнул куртку и засмеялся.

— Маловато было виски, Старик. А ты не вставай,— продолжал он, когда Старик сделал попытку высвободить рукав из пальцев Джонни.— Что за церемония! Сиди где сидишь, я сию минуту ухожу. Да вот и они.

В дверь негромко постучали. Дик Буллен быстро отпер, кивком простился с хозяином и скрылся.

Старик пошел бы за ним, если бы не ребенок, который и во сне бессознательно цеплялся за его рукав. Он легко мог бы высвободиться: рука была маленькая, слабая, худая. Но может быть, именно потому, что рука была маленькая, слабая и худая, он раздумал и, подтащив стул поближе к постели ребенка, опустил на нее голову. Как только он принял эту беззащитную позу, на нем сказались недавние возлияния. Комната светлела и темнела, появлялась и пропадала, наконец совсем исчезла из глаз — и он уснул.

Тем временем Дик Буллен, закрыв дверь, очутился лицом к лицу со своими товарищами.

— Ты готов? — спросил Стэйплс.

— Готов, — сказал Дик. — Который час?

— За полночь, — ответил тот. — Смотри, справишься ли? Ведь это чуть ли не пятьдесят миль туда и обратно.

— Знаю, — коротко ответил Дик. — А где кобыла?

— Билл и Джек ждут с ней на перекрестке.

— Пусть подождут еще минутку, — сказал Дик.

Он повернулся и тихо вошел в дом. В свете оплывающей свечи и гаснущего очага он увидел, что дверь в чулан открыта. Подойдя на цыпочках, он заглянул туда. Старик храпя на стуле, его плечи сползли вниз, длинные ноги беспомощно вытянулись, шляпа съехала на глаза. Рядом с ним, на узкой деревянной кровати, спал Джонни, укутанный в одеяло так плотно, что виднелась только светлая полоска лба да влажные от пота вихры. Дик Буллен сделал шаг вперед, остановился в нерешимости и оглянулся через плечо на пустую комнату. Все было тихо. Вдруг, набравшись смелости, он расправил обеими руками свои огромные усы и наклонился над спящим мальчиком. Но как раз в это время коварный ветер, притаившийся в засаде, метнулся по трубе, раздул уголья и осветил комнату наглым блеском — и Дик бежал в смущении и страхе.

Товарищи уже дожидались его на перекрестке. Двое из них боролись в темноте с какой-то неясной, бесформенной массой, которая, когда Дик подошел ближе, приняла образ крупной чалой лошади.

Это была та самая кобыла. Ее нельзя было назвать красавицей. Римский профиль, выпирающий круп, горбатая спина, крытая жесткой лукой мексиканского седла, и прямые, как палки, костлявые ноги с широкими бабками — и во всем этом ни тени грации. Полуслепые, но полные коварства белесые глаза, отвислая нижняя губа, нелепая масть — все в ней было сплошное безобразие и норовистость.

— Ну, ребята, — сказал Стэйплс, — станьте-ка подальше от копыт и не зевайте! Хватайся сразу за гриву да смотри не упусти правое стремя. Пошел!

Прыжок в седло, недолгая борьба, скачок коня, и люди шарахаются в стороны, копыта описывают в воздухе круг, еще два скачка на месте — земля дрожит, быстро звякают шпоры, и голос Дика доносится откуда-то из темноты:

— Все в порядке!

— Не возвращайся по нижней дороге, разве только если времени будет в обрез! Не натягивай поводья, когда будешь спускаться с горы. Мы будем у брода ровно в пять. Пошел, ого-го! Вперед!

Короткий плеск, искра, выбитая из камня на дороге, стук копыт по каменистой тропе за поселком — и Дик скрылся из виду.

Воспой же, о муза, поездку Ричарда Буллена! Воспой рыцарскую доблесть, благородную цель, смелый подвиг и схватку с бродягами, трудный путь и все опасности, каким подвергался цвет и гордость Симпсон-Бара! Увы, какая привередница, эта муза! Она не хочет и слышать о поровистом коне и дерзком всаднике в лохмотьях, мне приходится следовать за ними пешком, в прозе!

Был час ночи, и Дик только что доехал до Змеиной горы. За это время Ховита проявила все свои недостатки и выкинула все свои фокусы. Трижды она споткнулась. Дважды задирала она свой римский нос, натягивая поводья, и, не обращая внимания на удила и шпоры, с бешеной быстротой неслась напрямик. Дважды становилась она на дыбы и, встав, падала на спину, и проворный Дик дважды садился в седло невредимый, прежде чем она снова начинала брыкаться. А милей дальше, у подножия Змеиной горы, был Змеиный ручей. Дик знал, что именно там решится, может ли он выполнить то, что задумал, и, свирепо стиснув зубы, дал шенкеля и перешел от обороны к энергичному наступлению. Разъяренная Ховита начала спускаться с горы. Тут хитроумный Ричард сделал вид, будто хочет сдержать ее, притворно бранясь и тревожно вскрикивая. Нечего и говорить, что Ховита немедленно понесла. Не стоит говорить и о скорости спуска — она занесена в анналы Симпсон-Бара. Достаточно сказать, что всего мгновение спустя, как показалось Дик, Ховита уже разбрызгивала грязь на топких берегах Змеиного ручья. Как и ожидал Дик, с разбегу она пронеслась далеко вперед и не смогла сразу остановиться, и Дик, натягивая поводья, очутился на середине быстро несущегося потока. Еще несколько минут вплавь и вброд, и Дик перевел дыхание на другом берегу.

Дорога от Змеиного ручья до Красной горы была довольно ровная. То ли Змеиный ручей охладил пыл Ховиты, то ли искусство наездника показало ей, что он

хитрее, по Ховита больше не тратила энергии на пустые капризы. Один раз она брыкнулась, но только по привычке; один раз шарахнулась в сторону, но только потому, что завидела на перекрестке свежевыкрашенную часовню. Под ее звонкими копытами мелькали овраги, капавы, песчаные бугры, зеленеющие луговины. Она сильно вспотела, раза два кашлянула, но не ослабела и не сдала. К двум часам всадник миновал Красную гору и стал спускаться на равнину, десятью минутами позже возницу курьерского дилижанса настиг и обогнал «человек верхом на кляче», — событие, вполне достойное упоминания. В половине третьего Дик привстал на стременах и громко закричал.

Сквозь разорванные облака блестели звезды, и среди равнины перед Диком встали две колокольни, флаг на шесте и неровный ряд черных строений. Дик звякнул шпорами, взмахнул риагой, и Ховита рванулась вперед. Минутой позже она проскакала по улице Татлевилла и остановилась перед деревянной верандой гостиницы «Всех Народов».

То, что произошло в ту ночь в Татлевилле, собственно говоря, не относится к нашему повествованию. Однако я могу кратко сообщить, что, сдав Ховиту сонному конюху, которого она сразу привела в чувство, лягнув хорошенько, Дик вместе с барменом отправились в обход спящего города. В салунах и игорных домах еще кое-где мерцали огни, но, минуя эти дома, они останавливались перед запертыми лавками и настойчивым стуком и громкими криками поднимали хозяев с постели, заставляли отпирать лавки и показывать товар. Иногда их встречали бранью, но чаще внимательно и с интересом, и переговоры неизменно заканчивались выпивкой. Было уже три часа, когда эта увеселительная прогулка кончилась и Дик с небольшим прорезиненным мешком за плечами вернулся в гостиницу. Но здесь его подстерегала Красота — Красота, полная очарований, в пышной одежде, с обольстительными речами и с испанским акцентом. Напрасно повторяла она приглашение в «Эксцельсиор». Это приглашение было решительно отвергнуто сыном Сьерры; отказ смягчила улыбка и последняя золотая монета. Потом Дик вскочил в седло и помчался по пустынной улице и дальше — по еще более пустынной равнине, и скоро огни, черная линия домов, колокольни и флаг затерялись за его спиной и ушли в землю.

Буря рассеялась, воздух был живительный и холодный, стали видны очертания придорожных вех. В половине пятого Дик добрался только до часовни на перекрестке. Чтобы не подниматься в гору, он поехал окольной дорогой; в густой грязи этой дороги Ховита на каждом шагу увязала по самые щетки. Это была плохая подготовка к непрерывному подъему следующих пяти миль, но Ховита, подбирая под себя ноги, взяла этот подъем, как всегда, со слепой, безрассудной яростью, и через полчаса добралась до ровной дороги, которая вела к Змеиному ручью. Еще полчаса — и Дик будет у ручья. Он бросил поводья на шею лошади, свистнул ей и запел песню.

Вдруг Ховита шарахнулась в сторону с такой силой, что менее опытный наездник не усидел бы в седле. С насыпи спрыгнула какая-то фигура и повисла на поводу, а в то же время впереди на дороге выросли темные очертания копы и всадника.

— Руки вверх! — с бранью скомандовало это второе видение.

Дик почувствовал, что лошадь пошатнулась, задрожала и словно подалась под ним. Он понял, что это означает, и приготовился к самому худшему.

— Прочь с дороги, Джек Симпсон, я тебя узнал, окаянный грабитель. Прочь, не то...

Он не кончил фразы. Ховита могучим прыжком взвилась на дыбы, одним движением упрямой головы отбросила повисшую на поводьях фигуру и бешено ринулась вперед, на преграду. Проклятие, выстрел — и лошадь вместе с грабителем покатила на дорогу, а через секунду Ховита была уже далеко от места встречи. Но правая рука наездника, пробитая пулей, беспомощно повисла вдоль тела.

Не замедляя бега Ховиты, он переложил поводья в левую руку, но через несколько минут ему пришлось остановиться и подтянуть подпругу, ослабевшую при падении. С больной рукой на это ушло немало времени. Погони он не боялся, но, взглянув на небо, заметил, что звезды на востоке уже гаснут, а отдаленные вершины утратили свою призрачную белизну и чернеют на более светлом фоне неба. Близился день. Весь поглощенный одной мыслью, он забыл о ноющей ране и снова, вскочив в седло, поскакал к Змеиному ручью. Но теперь дыхание Ховиты стало прерывистым. Дик шатался в седле, а небо все светлело и светлело.

Погоняй, Ричард, скачи, Ховита! Помедли, рассвет!

Когда он подъезжал к ручью, в ушах у него шумело. Была ли это слабость от потери крови или что-нибудь другое? Когда он съехал с холма, голова у него кружилась, в глазах темнело, и он не узнавал местности. Неужели он поехал не по той дороге, или это в самом деле Змеиный ручей?

Да, это был он. Но шумливый ручей, который он переплыл несколько часов назад, вздулся больше чем вдвое и теперь катился быстрой и неодолимой рекой, отделяя от него Змеиную гору. В первый раз за эту ночь сердце у него дрогнуло. Река, гора, светлеющая полоса на востоке поплыли перед его глазами. Он закрыл глаза, чтобы прийти в себя. В этот краткий миг по какой-то причуде воображения перед ним возник чуланчик в Симпсон-Баре и фигуры спящих отца и ребенка. Широко раскрыв глаза, он сбросил куртку, пистолет, сапоги и седло, привязал свою драгоценную ношу крепче к плечам, стиснул голыми коленями бока Ховиты и с криком бросился в мутную, желтую воду. С противоположного берега тоже послышался крик, когда человека и лошадь, несколько минут борющихся с сильным течением, подхватило и понесло вниз среди крутящихся бревен и вырванных с корнем деревьев.

Старик вздрогнул и проснулся. Огонь в очаге погас, свеча в большой комнате догорала, вспыхивая, и в дверь кто-то стучался. Он отпер дверь, но с испугом отступил перед насквозь промокшим полуголым человеком, который, пошатнувшись, ухватился за косяк.

— Дик?

— Тише! Он еще не проснулся?

— Нет. Но послушай, Дик...

— Молчи, старый дурень, дай мне виски, живей!

Старик побежал и вернулся с пустой бутылкой. Дик хотел было выругаться, но сил у него не хватило. Он зашатался, ухватился за ручку двери и сделал знак Старику.

— Там в мешке у меня есть кое-что для Джонни. Сними его. Я не могу.

Старик отвязал мешок и положил его перед измученным Диком.

— Развяжи, да поживее!

Старик дрожащими руками развязал веревку. В мешке

были плохонькие игрушки, дешевые и довольно грубые, — разумеется, откуда было взяться изяществу! — но ярко раскрашенные и блестящие фольгой. Одна из них была сломана, другая безнадежно попорчена водой, а на третьей — такая беда! — виднелось зловещее красное пятно.

— Не бог знает что, это верно, — сказал мрачно Дик, — но лучше этих мы не достали... Возьми их, Старик, и положи ему в чулок, да скажи... скажи, знаешь ли... Поддержи меня, Старик... — Старик успел подхватить его. — Скажи ему, — говорил Дик, слабо улыбаясь, — что приходил Санта Клаус.

Вот так, весь в грязи, оборванный, взлохмаченный и небритый, с повисшей беспомощно рукой, Санта Клаус пришел в Симпсон-Бар и свалился без чувств на первом пороге. А следом за ним явилась рождественская заря и тронула дальние вершины теплым светом неизреченной любви. Она так ласково смотрела на Симпсон-Бар, что вся гора, словно застигнутая врасплох за добрым делом, покраснела до небес.

Когда я распечатал письмо

Хоп Сина, оттуда выпал исписанный иероглифами листок желтой бумаги, который мне, простаку, показался сначала ярлычком с пачки китайских хлопущек. Но в том же конверте лежала полоска рисовой бумаги чуть поменьше с выведенными тушью двумя иероглифами, и в этой полоске я тотчас же признал визитную карточку Хоп Сина. Его послание, переведенное потом слово в слово, гласило следующее:

«Двери моего дома всегда открыты для гостя. Налево, как войдешь, стоит чаша с рисом, направо — сладости.

Два изречения учителя:

• Гостеприимство есть добродетель сына и мудрость предка.

Хозяин веселится в сердце своем после жатвы. Он устраивает пир.

Когда гость ходит по полю, где у тебя растут дыни, не следи за ним слишком пристально; невнимание часто бывает высшей формой вежливости.

Счастье, мир и благоденствие.

Хоп Син».

Должен признаться, что, несмотря на всю прелесть этих сентенций и этой вековой мудрости, несмотря на то, что последний афоризм был вполне в духе моего друга Хоп Сина, принадлежащего к числу самых мрачных юмористов, именуемых китайскими философами, должен признаться, что по самому вольному переводу я совершенно не мог понять, каков прямой смысл этого письма. К сча-

стью, в конверте оказалось третье вложение, написанное по-английски рукой самого Хоп Сина. Вот что я прочел:

«Не удостоите ли вы своим присутствием дом №... по Сакраменто-стрит в пятницу, в восемь часов вечера. Чай будет подан ровно в девять.

Хоп Син».

Записка разъяснила все. Мне предстояло посещение лавки Хоп Сина, где будет осмотр каких-нибудь китайских редкостей и уникамов, беседа в конторе, чашка чаю такого совершенства, какого не встретишь за пределами этой священной обители, сигары, а потом поездка в китайский театр или храм. Такова была излюбленная программа Хоп Сина, когда он принимал гостей в качестве доверенного лица или управляющего компании Нин Фу.

В пятницу, около восьми часов вечера, я вошел в лавку Хоп Сина. Там, как всегда, посетителя встречал восхитительный букет таинственных, чужеземных ароматов; там по-прежнему длинными рядами стояли причудливые чаши, вазы и кувшины — вещи, сочетающие гротескность и математическую точность пропорций, легкомыслие рисунков и тонкость линий и дисгармоническую пестроту красок, из которых каждая сама по себе была прекрасна и чиста. Бумажные змеи в виде громадных драконов и гигантских бабочек; бумажные змеи, так хитро устроенные, что, когда пускаешь их против ветра, они издают звук, похожий на ястребиный клекот; бумажные змеи таких размеров, что мальчику их не удержать, таких размеров, что становится понятно, почему этой игрушкой забавляются в Китае взрослые. Фарфоровые и бронзовые божки, настолько уродливые, что человек не чувствует к ним ни интереса, ни симпатии. Вазы со сладостями в обертках, исписанных нравоучениями из Конфуция¹. Шляпы, похожие на корзинки, и корзинки, похожие на шляпы. Шелка столь тонкие, что я даже не решаюсь назвать то невообразимое количество квадратных ярдов такого шелка, которое можно пропустить сквозь кольцо с мизинца. Все эти и многие другие непостижимые уму вещи были мне хорошо знакомы. Я пробрался через слабо

¹ К о п ф у ц и й — древнекитайский мыслитель.

освещенную лавку и вошел в контору, или приемную, где меня поджидал Хоп Син.

Прежде чем приступить к описанию Хоп Сина, я прошу читателей выбросить из головы представление о китайце, которое могло создаться у них по пантомимам. Хоп Син не носил изящных фестончатых панталон с колокольчиками — мне не приходилось встречать китайцев в таких панталонах; он не имел привычки ходить, держа указательные пальцы под прямым углом к телу; я никогда не слышал от него загадочных слов «чинг-а-ринг-аринг-чо», ни разу, ни при каких обстоятельствах не видел его танцующим. Нет! Это был весьма солидный, учтивый и благообразный джентльмен. Лицо и голова Хоп Сина, за исключением того места на затылке, где у него росла длинная коса, отливали желтизной, точно глянце-витый атлас. Глаза были черные, блестящие, веки расходились под углом в пятнадцать градусов, нос прямой, изящной формы, рот маленький, зубы ровные и белые. Он носил темно-синюю шелковую блузу, а в холодные дни появлялся на улицах в короткой мерлушковой кофте. Штаны у Хоп Сина были из синей парчи, плотно облегавшей икры и щиколотки, и, глядя на них, невольно думалось, уж не забыл ли он утром надеть брюки. Но во всем его облике чувствовалось такое благородство, что друзья воздерживались от таких вопросов. Изысканная учтивость сочеталась в нем с врожденным чувством собственного достоинства. Он свободно объяснялся по-французски и по-английски. Короче говоря, среди торговцев христианской веры в Сан-Франциско вряд ли можно было найти равного этому купцу-язычнику.

В конторе сидели еще несколько человек: федеральный судья, редактор газеты, важный чиновник и крупный торговец. Когда мы напились чаю и отведали сладостей из горшочка, в котором, судя по его таинственному виду, среди других не поддающихся описанию деликатесов могла находиться и засахаренная мышь, Хоп Син поднялся и, с важностью поманив нас за собой, стал спускаться по лестнице в подвал. Войдя туда, мы с удивлением увидели, что там горит яркий свет, а на цементном полу полукругом расставлены стулья. Хоп Син учтиво предложил нам сесть, после чего начал так:

— Я пригласил вас, чтобы показать вам представление, которого не случалось видеть ни одному иностранцу,— это самое меньшее, что о нем можно сказать. Вчера

утром в Сан-Франциско приехал придворный фокусник Ван. До сих пор он показывал свое искусство только во дворце. Я попросил его развлечь сегодня вечером моих друзей. Ему не нужно ни подмостков, ни бутафории, ни помощников — ничего, кроме того, что вы здесь видите. Попрошу вас, джептльмены, осмотреть помещение.

Мы, разумеется, согласились. Это был самый обыкновенный подвал, какие есть во всех торговых складах Сан-Франциско, цементированный для предохранения товаров от сырости. Мы постучали тростями по полу, проверили стены, лишь бы доставить удовольствие гостеприимному хозяину. Никто из нас ничего не имел против того, чтобы стать жертвой ловкой мистификации. А я и подавно был готов поддаться обману, и если бы мне предложили потом разгадку всех этих чудес, я наотрез отказался бы слушать ее.

Мне доподлинно известно, что тогда Ван впервые давал сеанс на американской земле, но с тех пор моим читателям, должно быть, часто приходилось видеть подобные сеансы, и я не стану докучать им подробными описаниями. Для начала Ван, взмахнув веером, пустил по комнате кусочки папиросной бумаги, которые на наших глазах превратились в бабочек, продолжавших порхать до конца сеанса. Я до сих пор помню, как судья хотел поймать одну, опустившуюся ему на колено, и как она ускользнула от него, точно живая. Ван все помахивал и помахивал веером, и из цилиндра, который стоял перед ним, появлялись цыплята, апельсины, из рукавов у него струились ярд¹ за ярдом шелка, и наконец весь подвал был завален предметами, возникавшими словно из-под земли, с потолка, прямо из воздуха! Он глотал ножи, рискуя на долгие годы расстроить себе пищеварение, вывертывал руки и ноги, свободно висел в воздухе без всякой видимой опоры. Но самой поразительной загадкой был коронный номер его программы, которого мне никогда больше не пришлось видеть. Он и служит оправданием такого длинного предисловия и всего рассказа и является зерном, из которого родилась эта правдивая история.

Убрав с пола груды вещей, Ван расчистил пространство около пятнадцати квадратных футов и предложил нам еще раз осмотреть это место. Мы с полной серьезностью выполнили его просьбу; и на взгляд и на ощупь

¹ Ярд — единица длины, равная 91 см.

на цементном полу ничего не было. После этого Ван попросил одолжить ему носовой платок, и я дал свой, так как стоял ближе всех. Он взял его и положил на пол. Поверх платка он расстелил квадратный кусок шелка, а на шелк бросил большую шаль, которая покрыла почти все расчищенное пространство. Потом сел в углу этого прямоугольника и, печально покачиваясь из стороны в сторону, затянул какой-то монотонный напев.

Мы сидели молча и ждали, что будет дальше. Сквозь заунывное пение в подвал доносился грохот экипажей, проезжавших где-то у нас над головой, потом стали бить городские часы. Глубочайшее внимание и настороженность, таинственные блики, зловеще мерцающие на уродливой фигуре какого-то китайского божества в глубине подвала, еле уловимый запах опиума и пряностей, тягостная неизвестность ожидания — от всего этого по спине у нас пробегал холодок, и мы поглядывали друг на друга, обмениваясь неестественными, напряженными улыбками. Неприятное ощущение достигло предела, когда Хоп Син медленно поднялся с места и молча указал пальцем на середину шали.

Под шалью что-то лежало. Да, да, лежало что-то такое, чего там раньше не было. Сначала мы увидели только намеки на какой-то контур, на какие-то смутные формы, но с каждой минутой они проступали все отчетливее и яснее. Ван продолжал петь, на лице у него выступил пот, а скрытый предмет все рос и рос, так что шаль приподнялась посредине на пять-шесть дюймов. Теперь под ней уже можно было угадать контуры крохотной, но пропорциональной человеческой фигурки с раскинутыми руками и ногами. Кое-кто из нас побледнел, всем стало не по себе, и когда редактор нарушил тишину шуткой, она была принята восторженно, несмотря на все ее убожество. Но вот пение оборвалось; стремительным и ловким движением рванув на себя шаль вместе с шелком, Ван открыл нашим глазам мирно спавшего на моем носовом платке крохотного китайчонка!

Аплодисменты и восторженные крики, раздавшиеся вслед за этим, должны были удовлетворить фокусника, хотя его аудитория не отличалась многочисленностью. Мы так шумели, что могли разбудить ребенка — хорошенького годовалого мальчика, похожего на купидона, вырезанного из сандалового дерева. Он исчез так же загадочно, как и появился. Когда Хоп Син с поклоном вернул мне

носовой платок, я спросил его, не приходится ли фокусник отцом ребенку.

— No sabe!¹ — сказал невозмутимый Хоп Син, ограничившись распространенной в Калифорнии испанской формулой уклончивого ответа.

— Неужели он для каждого представления достает нового ребенка? — не унимался я.

— Может быть. Кто знает?

— А что будет с этим?

— Все, что пожелаете, джентльмены, — с учтивым поклоном ответил Хоп Син. — Он родился при вас, вы его воспитатели.

В 1856 году сборища в калифорнийских домах отличались двумя характерными особенностями: гости сразу понимали намеки и на призыв к благотворительности отвечали щедростью, почти чрезмерной. Даже самые прижимистые и скупые заражались общим чувством. Я сложил свой носовой платок мешочком, бросил туда монету и молча протянул судье. Тот спокойно добавил золотой в двадцать долларов и передал соседу. Когда платок вернулся ко мне, там лежало больше ста долларов. Я завязал его и протянул Хоп Сину.

— Мальчику от его воспитателей.

— А как мы его назовем? — спросил судья.

Тут посыпались, как из мешка, всякие «Эребусы», «Ноксы», «Плутосы», «Терракоты», «Антеи» и тому подобное. В конце концов мы обратились с тем же вопросом к хозяину.

— Почему не оставить ему его собственное имя, — спокойно сказал он, — Вань Ли? — И оставил.

Итак, в пятницу 5 марта 1856 года Вань Ли родился и попал в этот правдивый рассказ.

19 июля 1865 года последние полосы «Северной звезды» — единственной ежедневной газеты в Кламатском округе — только что были сданы в печать. Собравшись идти домой в три часа утра, я отложил в сторону корректуры и рукописи и вдруг увидел под ними письмо, которого раньше не заметил. Оно было довольно грязное, без марки, но я сразу узнал почерк моего друга Хоп Сина, быстро распечатал конверт и прочел следующее:

¹ Не знаю! (исп.)

«Уважаемый сэръ! Не знаю, понравится ли Вам податель сего, но если должность ученика в Вашей редакции заключается в выполнении чисто технической работы, я думаю, что он будет отвечать всем Вашим требованиям. Он расторопен, не лишен способностей, хорошо понимает по-английски, говорит несколько хуже и искупает все свои недостатки наблюдательностью и даром подражания. Нужно только раз показать ему, и он сделает, как показано, будь то дурной или добродетельный поступок. Но Вам, конечно, ясно, о ком я говорю. Вы один из его восприимчивиков, ибо это не кто иной, как Вань Ли, считающийся сыном фокусника Вана, на представление которого я когда-то имел честь пригласить Вас. Впрочем, Вы, может быть, уже забыли об этом.

Я посылаю его с партией кули¹ в Стоктон, оттуда он доедет поездом до Вашего города. Пристроив мальчика, Вы окажете мне большую любезность и, может быть, спасете ему жизнь, так как на нее покушаются юные представители Вашей христианской и высокоцивилизованной расы, которые посещают лучшие школы Сан-Франциско.

У Вань Ли есть кое-какие не совсем обычные повадки и привычки; виной этому профессия Вана, с которой он был связан до тех пор, пока не подрос, и отцу уже нельзя было прятать его в цилиндр или вытаскивать из рукава. Деньги, пожертвованные Вами, пошли на его образование; он одолел Троскнижие, но, я думаю, это не принесло ему особой пользы. Конфуция он знает слабо, а о Мэн-Цзы² не имеет ни малейшего понятия. Отец уделял ему мало внимания, и поэтому мальчик, может быть, слишком тесно общался с американскими детьми.

Я мог бы значительно раньше ответить на Ваше письмо почтой, но решил, что лучше будет послать с ответом самого Вань Ли.

Уважающий Вас Хоп Син».

Таков был долгожданный ответ Хоп Сина на мое послание. Но где «податель сего»? Каким образом письмо было доставлено? Я сейчас же вызвал выпускающего, наборщиков и посыльного, но толку от них не добился:

¹ Кули — неквалифицированные, низкооплачиваемые рабочие в Китае (до 1949 г.).

² Мэн Цзы — китайский философ IV века до нашей эры.

они не видели, как письмо попало сюда, и не имели понятия, кто его принес. Через несколько дней ко мне зашел А Ри — китаец из прачечной.

— Твоя надо ученик? Есть ученик; моя нашел.

Он вернулся через несколько минут в сопровождении смышленного на вид китайчонка лет десяти, который мне так понравился, что я тут же его нанял. Договорившись об условиях, я спросил, как его зовут.

— Вань Ли, — ответил мальчик.

— Что? Так это тебя прислал Хоп Син? Что же ты раньше не пришел и как ты доставил письмо?

Вань Ли посмотрел на меня и рассмеялся:

— Моя кинул в окно.

Я ничего не понял. Он недоуменно посмотрел на меня, потом схватил письмо и сбежал вниз по лестнице. Через несколько секунд этот листок, к моему изумлению, влетел в окно, описав в воздухе два круга и, точно птица, тихо опустился на стол. Не успел я прийти в себя, как Вань Ли снова появился в комнате, с улыбкой посмотрел сначала на письмо, потом на меня, проговорил: «Вот так, Джон» — и погрузился в сосредоточенное молчание. Я ничего не сказал, но расценил этот фокус как его первый шаг на служебном поприще.

К сожалению, следующая выходка Вань Ли не имела такого успеха. Один из наших постоянных разносчиков газет заболел; на его место пришлось назначить Вань Ли. Во избежание ошибок накануне вечером ему показали маршрут, а на рассвете нагрузили пачкой газет для подписчиков. Вань Ли вернулся через час в прекрасном настроении и с пустой сумкой. Он сказал, что разнес газеты по адресам.

Но увы! К восьми часам утра в редакцию стали стекаться возмущенные подписчики. Газеты они получили, но как? В виде тугого шара величиной с пушечное ядро, брошенного с размаху в окно спальни. Тем, кто уже встал с постели и расхаживал по комнате, газета угодила прямо в лицо с силой бейсбольного мяча; кое-кто получил номера по четвертушкам, заткнутым за оконные рамы, или обнаружил их в каминной трубе, прищипленными к дверям, брошенными в окна чердака, пропущенными в виде длинных лент сквозь замочные скважины, в вентиляторах, в кружках, куда молочник наливал утром молоко.

Один подписчик, который некоторое время ждал у дверей редакции в расчете на личную беседу с Вань Ли

(тот в это время сидел под замком у меня в спальне), рассказал мне со слезами ярости на глазах, что в пять часов утра его разбудили ужасные вопли под окном; вскочив в испуге с кровати, он был поражен неожиданным появлением «Северной звезды», туго скатанной и скрученной в виде дубинки или бумеранга, который влетел в окно, описал по комнате несколько дьявольских кругов, сшиб лампу, ударил ребенка по лицу, «съездил его (подписчика) по скуле», потом вылетел во двор и в изнеможении опустился на траву.

До самого вечера негодующие подписчики приносили в редакцию комки и клочки грязной бумаги, которые были не чем иным, как сегодняшним номером «Северной звезды». Великолепная передовая «Неиспользованные богатства Гумбольдского округа», которую я состряпал накануне вечером, намереваясь перевернуть торговый баланс будущего года и разорить гавани Сан-Франциско, погибла для читателей.

В течение следующих трех недель мы сочли за благо держать Вань Ли в типографии и поручали ему только техническую работу. Проявив поразительные способности и сметку, он даже заслужил расположение наборщиков и выпускающего, которые сначала считали, что посвящение его в тайны их профессии чревато серьезными политическими последствиями. Вань Ли без всякого труда научился чисто набирать — тут ему помогла изумительная ловкость пальцев; по незнанию языка он работал механически, подтверждая типографскую аксиому, гласящую, что из наборщика, который следит за смыслом оригинала, не выйдет хорошего работника. Ничего не подозревая, он набирал длинные поношения против себя самого, которые наборщики вешали у его кассы на гвоздик в качестве оригинала, вместе с краткими изречениями, вроде: «Вань Ли — бесовское отродье», «Вань Ли — монгольский прохвост», — и приносил все это мне на корректуру, радостно сверкая зубами, с довольным блеском в темных, как смородина, глазах.

Вскоре, однако, Вань Ли научился мстить своим коварным гонителям. Помню один случай, когда его месть чуть было не причинила мне серьезных неприятностей. Фамилия одного из наших выпускающих была Уэбстер. Вань Ли вскоре запомнил ее и научился узнавать в тексте. Дело было во время одной политической кампании; красноречивый и темпераментный полковник Старботтл из

Сискью произнес блестящую речь, которую нам передал наш корреспондент. Заканчивая ее в весьма возвышенных тонах, полковник Старботтл сказал: «Я позволю себе повторить слова нашего божественного Уэбстера...»¹; дальше следовала цитата — какая я не помню. Случилось так, что Вань Ли попались на глаза уже просмотренные гранки, он увидел там фамилию своего главного недруга и, конечно, вообразил, что цитата принадлежит ему. Как только форма была готова, он воспользовался отсутствием Уэбстера и, выкинув цитату, вставил на ее место тонкую свинцовую пластинку того же размера, с вырезанными на ней иероглифами, из коих, как я имею основание думать, складывались фразы, содержавшие поношение всего рода Уэбстеров за тупость и наглость, и безудержные похвалы по адресу самого Вань Ли.

На следующий день в газете появилась полностью речь полковника Старботтла, из которой явствовало, что «наш божественный Уэбстер» раз в жизни выразил свои мысли на безукоризненном, но совершенно непонятном читателям китайском языке. Ярость полковника Старботтла не знала границ. Я до сих пор помню, как этот достойнейший человек вошел ко мне в кабинет и потребовал, чтобы мы поместили его опровержение.

— Но, дорогой сэр,— сказал я,— неужели вы решитесь дать свою подпись под заявлением, что мистер Уэбстер никогда ничего подобного не писал? Неужели вы возьмете на себя смелость отрицать, что всем известный эрудит мистер Уэбстер знал китайский язык? Может быть, вы хотите дать нашим читателям полный перевод этой фразы и поручиться честным словом джентльмена, что покойный мистер Уэбстер не выражал таких мыслей? Если вы настаиваете, сэр, я готов поместить ваше опровержение.

Полковник Старботтл не стал настаивать на своем требовании и вышел, преисполненный негодования.

Наш Уэбстер отнесся к этому происшествию гораздо хладнокровнее. К счастью, он не знал, что в течение двух следующих дней китайцы из прачечных, из ресторанов и с приисков, язвительно и не скрывая своего восторга, посматривали на двери редакции и что в заречную часть города потребовалось триста добавочных экземпляров

¹ Д. Уэбстер (1782—1852) — американский государственный деятель и оратор.

«Звезды». Он видел только, как Вань Ли по несколько раз в день вдруг начинал корчиться от смеха, и приводил его в чувство пинками. Через неделю после этого я вызвал Вань Ли к себе в кабинет.

— Вань, — сказал я серьезным тоном, — удовлетвори мою любознательность. Дай мне перевод тех китайских фраз, которые мой божественный, высокоодаренный соотечественник произнес в ходе одной политической кампании.

Вань Ли пристально посмотрел на меня, и вдруг в его черных глазах промелькнула еле уловимая усмешка. Потом он сказал не менее серьезным тоном:

— Мистер Уэбстел говорила: «Моя пузо болит от китайчонка. Моя тошнит от китайчонка», — что, как мне думается, вполне соответствовало действительности.

Боюсь, что я подчеркиваю только одну сторону характера Вань Ли, к тому же не лучшую. Жизнь у него, как он сам мне рассказывал, была нелегкая. Детства он почти не видел: не помнил ни отца, ни матери. Воспитывал его фокусник Ван. Первые семь лет своей жизни он только и делал, что выскакивал из корзин, появлялся из шляп, карабкался по лестницам, ломал тело акробатическими упражнениями. Его окружала атмосфера плутовства и обмана; он привык смотреть на человека как на кругом одураченного простофилю. Короче говоря, умей Вань Ли размышлять, из него вышел бы скептик, будь он постарше, из него вышел бы циник, будь взрослым — философ. Пока что это был маленький бесенок, но бесенок добродушный (его нравственная природа еще крепко спала), бесенок, вырвавшийся на волю, способный ради развлечения и на хороший поступок. Я не знаю, была ли у него какая-нибудь духовная жизнь, но что касается суеверия, то он всюду таскал с собой уродливого фарфорового божка, которого то всячески поносил, то старался задобрить. У него хватало ума, чтобы не воровать и не лгать. Каких бы правил поведения он ни придерживался, они были созданы его собственным умом.

По натуре своей Вань Ли был мальчик впечатлительный, хотя добиться от него выражения каких-нибудь чувств мне казалось почти невозможным; впрочем, я думаю, что он привязывался к людям, которые хорошо к нему относились. Каким бы Вань Ли стал при более благоприятных обстоятельствах, то есть не находясь он в полной зависимости от загруженного работой, живущего

на убогое жалованье журналиста, сказать трудно, я знаю только, что редкая, скупая ласка, которую я уделял ему под влиянием минуты, принималась с благодарностью. Он был очень верен и терпелив — качества редкие в рядовом американском слуге; при мне держался «печально и учтиво», как Мальволио¹. Я вспоминаю только один-единственный случай, когда он проявил нетерпение, и то при особых обстоятельствах. Обычно я брал Вань Ли после работы к себе домой, рассчитывая, что, может быть, придется послать его в редакцию, если мою редакторскую голову осенит какая-нибудь новая счастливая мысль. Однажды вечером я что-то строчил, задержавшись позднее того часа, когда обычно отпускал Вань Ли, и совершенно забыл, что он сидит на стуле у двери. И вдруг мне послышался голос, жалобно пробормотавший нечто вроде «чи-ли».

Я обернулся и сердито посмотрел на него.

— Что ты говоришь?

— Моя сказала: «Чи-ли».

— Что это значит? — нетерпеливо спросил я.

— Твоя понимает «здлаस्थ्य, Джон»?

— Да.

— Твоя понимает «площай, Джон»?

— Да.

— Ну вот, «чи-ли» — то же самый.

Я прекрасно понял его. «Чи-ли» значило примерно то же, что «спокойной ночи», а мальчику не терпелось уйти домой. Но склонность к озорству, которая, боюсь, была и во мне, подталкивала меня пропустить этот намек мимо ушей. Я сказал, что ничего не понимаю, и снова занялся своим делом. Через несколько минут я услышал, как деревянные башмаки Вань Ли жалобно застучали по полу. Я поднял глаза. Он стоял у двери.

— Твоя не понимает «чи-ли»?

— Нет, — строго ответил я.

— Твоя понимает «большой дулак»? «Чи-ли» — то же самый!

И, выпалив эту дерзость, он убежал. Однако на следующее утро он был по-прежнему кроток и терпелив, а я не напоминал ему про его вчерашнюю выходку. Решив, должно быть, пойти на мировую, он принялся чистить

¹ Мальволио — персонаж комедии В. Шекспира «Двенадцатая ночь, или Что угодно».

черной ваксой всю мою обувь — этого я никогда от него не требовал, — включая желтые домашние туфли из оленьей кожи и высоченные сапоги для верховой езды. Успокоение потревоженной совести заняло у него два часа.

Я уже говорил о честности Вань Ли, приписывая это качество скорее его природному уму, чем принципам, но теперь вспоминаю два исключения из этого правила. Мне захотелось достать свежих яиц, чтобы внести хоть какое-нибудь разнообразие в неудобоваримое меню приискового городка. Зная, что соотечественники Вань Ли большие любители разводить кур, я обратился к нему. Он стал приносить мне яйца каждый день, но получать плату отказывался, уверяя, что хозяин не хочет продавать их, — поразительный пример бескорыстия, ибо яйцо стоило тогда полдоллара! Но вот однажды утром, во время завтрака, ко мне явился мой сосед Форстер и стал жаловаться на свою горькую судьбу: его куры за последнее время или совсем перестали нестись, или ходят в курстарник и кладут яйца там. Вань Ли слышал этот разговор и продолжал хранить кроткое молчание. Но как только сосед ушел, он повернулся ко мне, давась от смеха:

— У Фолстела кулица — у Вань Ли кулица — то же самый.

Вторая его выходка была гораздо смелее и опаснее. В то время почту доставляли очень нерегулярно, и Вань Ли часто приходилось слышать мои жалобы на запоздалую доставку писем и газет. Придя однажды в редакцию, я с удивлением увидел, что мой стол завален письмами, очевидно, только что полученными, которые все были адресованы другим лицам. Я повернулся к Вань Ли, взиравшему на них со спокойным и удовлетворенным видом, и потребовал объяснения. К моему ужасу, он указал на пустую почтовую сумку, которая валялась в углу, и ответил:

— Постальона сказала: «Нет письма, Джон, нет письма, Джон!» Постальона обманывает. Постальона плохая. Моя вчела достала письма — то же самый!

К счастью, было еще рано, почту не успели разнести. Мне пришлось спешно переговорить с почтмейстером. Дерзкую попытку Вань Ли ограбить почту Соединенных Штатов Америки удалось в конце концов загладить покупкой новой почтовой сумки, и только таким образом этот случай не получил огласки.

Если бы даже я не любил моего маленького слуги-язычника, одного чувства долга по отношению к Хоп Сину было достаточно, чтобы заставить меня взять Вань Ли в Сан-Франциско, куда я возвращался после двухлетней работы в «Северной звезде». Не думаю, чтобы он испытывал удовольствие от такой перемены. Я объяснял это страхом перед людными улицами (когда ему приходилось идти по моему поручению куда-нибудь через весь город, он выбирал окольную дорогу и шел окраинами), нежеланием подчиняться дисциплине англо-китайской школы, куда я хотел его отдать, любовью к свободной, бродячей жизни на приисках, наконец просто упрямством! Но то, что здесь могли быть какие-то суеверные предчувствия, долгое время не приходило мне в голову.

И вот у меня появилась возможность, которой я давно ждал и на которую крепко надеялся, — возможность окружить Вань Ли мягким, смиряющим влиянием, создать ему жизнь, способную воспитать в нем добрые чувства, то, чего не могли насадить в его душе ни мои поверхностные заботы, ни моя редкая ласка. Вань Ли поступил в школу китайского миссионера, умного и доброго священника, который заинтересовался мальчиком и — больше того — поверил в него. Я поселил своего подопечного в семье одной вдовы — матери веселой, хорошенькой дочки, двумя годами младше его. И этот веселый, приветливый, жизнерадостный и невинный ребенок сумел затронуть в натуре мальчика такие глубины, о существовании которых никто и не подозревал. Этот ребенок пробудил в нем отзывчивость, которую до сих пор не могли пробудить ни поучения окружающих, ни богословские проповеди.

Эти несколько месяцев, обещавшие дать в будущем такие плоды и обманувшие наши ожидания, принесли, должно быть, много счастья Вань Ли. Он боготворил свою маленькую подружку почти суеверно, не меньше, чем фарфорового языческого божка, но относился к ней гораздо ровнее. Ему доставляло огромное удовольствие провожать ее в школу, нести ее книжки — услуга, всегда сопряженная с опасностью, которой были чреваты встречи с его маленькими арийскими¹ братьями.

Он мастерил для нее замечательные игрушки, вырезал из моркови и репы крохотные розы и тюльпаны, из дын-

¹ Арийцы (арии) — народы, принадлежащие к индоевропейской языковой группе. В расистской антинаучной литературе арийцы, преимущественно германцы, объявлялись «высшей» расой.

ных семечек — цыплят, делал веера и змеев и с особым искусством кроил из бумаги платья для кукол. А она, в свою очередь, играла ему на рояле и пела, обучала его всяким милым и тонким штучкам, известным только девочкам, подарила желтую ленточку в косу (считая, что желтое лучше всего идет к цвету его лица), читала вслух, показывала ему, чем он выгодно отличается от других мальчишек, наперекор всем обычаям повела его с собой в воскресную школу — и восторжествовала, как маленькая женщина. Мне хотелось бы добавить, что она обратила моего Вань Ли в христианскую веру и заставила отказаться от фарфоровых идолов, но я рассказываю правдивую историю, а девочке было довольно того, что она наделила его своей христианской добротой, не дав ему заметить, как он переменялся. И так они жили тихо и мирно — маленькая христианка, носившая на круглой белой шейке золотой крестик, и смуглолицый маленький язычник, прятанный на груди уродливого фарфорового божка.

Из этого года, богатого событиями, два дня в Сан-Франциско запомнят надолго — те два дня, когда толпа его граждан напала на чужестранцев и убила их, невооруженных, беззащитных, только за то, что они чужаки, что они другой расы, что вера у них другая, цвет кожи другой, и работают они за любую плату, какую удастся получить. Нашлись такие робкие общественные деятели, которые при виде всего этого решили, что настал конец света; нашлись и видные государственные мужи — я стыжусь назвать их здесь по именам, — которые начали подумывать, что раздел конституции, гарантирующий гражданские и религиозные свободы равно как гражданам страны, так и иностранцам, представляет собой ошибку. Но нашлись среди нас и смельчаки, которых нелегко было запугать, и в течение суток мы добились того, что робкие общественные деятели могли ломать руки в безопасности, а видные государственные мужи — высказывать свои сомнения, не причиняя другим вреда. И в разгар всех этих событий я получил от Хоп Сина записку с просьбой немедленно зайти к нему.

Его лавка была закрыта и охранялась от возможных нападений погромщиков сильным отрядом полиции. Хоп Син, невозмутимо спокойный, как всегда, отворил мне дверь, защищенную решеткой; но я заметил, что сегодня он еще серьезнее, чем обычно. Он молча взял меня за

руку и провел к лестнице, по которой мы спустились в слабо освещенный подвал. На полу там лежало что-то, покрытое шалью. Когда я подошел, Хоп Син быстро сдернул ее и открыл моим глазам мертвого язычника Вань Ли!

Мертвого, уважаемые друзья, мертвого! Убитого на улицах Сан-Франциско в год от рождества христово 1869-й толпой мальчишек и учеников христианской школы, закидавших его камнями!

Благоговейно положив руку ему на грудь, я почувствовал там под шелковой блузой какие-то осколки. Я вопросительно посмотрел на Хоп Сина. Он нагнулся, расправил складки шелка и вынул из-под них что-то, улыбнувшись горькой улыбкой, которую мне впервые пришлось увидеть на лице этого почтенного язычника.

Это был фарфоровый божок Вань Ли, разбитый камнем, брошенным рукой христианского изувера!

Смеркалось, и мне с каждым шагом было все трудней разглядеть тропу. Еще хуже стало на поросшем травой косогоре: выше протекала речушка; разливаясь по весне, она проложила здесь множество извилистых канавок, неотличимых от тропы. Не понимая, по которой же из них двинуться, я бросил поводья и предоставил ослице выбирать дорогу самостоятельно, ибо давно наслышан был о мудрости этого превосходного животного. Но я не принял в расчет некоторых особенностей характера, присущих (как это тоже вам известно) и полу моей Чу-Чу и ее племени, а между тем она уже успела недвусмысленно показать, что она тоже знает, чего хочет, и сумеет поставить на своем. Почувяв, что узда ослабла, она тотчас легла и принялась кататься по земле.

Оказавшись в таком затруднительном положении, я несколько смутился, но и обрадовался, когда за холмом в каменистом каньоне раздался гулкий топот подков. Скоро из-за поворота — очевидно, на той самой тропе, которую я потерял, — показался всадник; он подскакал ко мне и остановил коня как раз в ту минуту, когда мне удалось наконец заставить Чу-Чу подняться на ноги.

— Эта дорога ведет на Сонору? — спросил я.

— Да. — Всадник окинул Чу-Чу критическим взглядом. — Только нынче вам туда не добраться.

— Почему же?

— До Соноры восемнадцать миль, да, как въедете в долину, сплошь лесом, дороги почти что и не видать.

— Еще хуже, чем здесь?

— А чем она здесь плоха? Вы что ж, думали, в

предгорьях вам приготовлена мощеная улица, что ли? Или гладкая дорожка, вроде как на скачках?

— Нет, не думал. А гостиницы тут нет, чтоб заночевать?

— Нету.

— А жилья какого-нибудь?

— Тоже нет.

— Спасибо. Доброй ночи.

Он проехал дальше, но снова придержал коня и обернулся.

— Эй, послушайте! Там, сразу за каньоном, есть каштановая рощица; свернете вправо — увидите тропу. Доедете по ней до хибары. И спросите: тут, мол, живет Джонсон?

— А кто такой Джонсон?

— Это я. Вы что ж, думали тут повстречать Вандербилта¹ или самого господа бога, что ли? Ну, слушайте. Скажете там моей старухе, пускай накормит вас ужином да постелит вам где-нибудь. Скажете, это я вас послал. Счастливо!

И он исчез из виду прежде, чем я успел поблагодарить или отказаться. Чу-Чу издала какой-то странный звук, словно бы хихикнула, но тотчас вновь стала серьезной. Я внимательно посмотрел на нее; она притворно закашлялась и, старательно вытянув шею, залюбовалась точным копытцем своей правой передней ноги. Но едва я сел верхом, она сорвалась с места, в два счета пересекла каньон, сама высмотрела каштановую рощицу, без малейшего колебания свернула вправо и через полчаса остановилась перед «хибарой».

Это была бревенчатая хижина, крытая древесной корой; с одной стороны к ней примыкала такая же сараюшка, с другой — пристройка пофасонистей, из толстых неструганных и некрашенных досок, крытая дранкой. Судя по всему, сараюшка служила кухней, а в самой хижине жили хозяева. При моем приближении залаяла собака, и сразу в дверях появились четверо детишек мал мала меньше; пятый, весьма предприимчивый младенец, еще раньше барахтался у порога, пытаясь выползти на крыльцо, но поперек — явно затем, чтобы ему это не удалось, — положено было толстое полено.

— Джонсон здесь живет?

¹ В а н д е р б и л т ы — семья известных американских миллионеров.

Обращался я к старшему из детей — мальчику лет десяти, но взгляд мой, непонятно почему, прикован был к младенцу, который в эту минуту перевалился через полено и лежал вверх тормашками; вся его одежонка сбилась, и он молча, героически задышался в ней, преспокойно меня разглядывая. Мальчик, ни слова не ответив, скрылся в доме, но сейчас же вернулся с девочкой постарше, лет четырнадцать или пятнадцать. На удивление уверенными, легкими движениями она, едва став на пороге, провела рукой по головам остальных детишек, будто пересчитывая; подняла малыша, перевернула, отряхнула на нем платьишко и, даже не глядя, сунула его обратно за порог. Видно, все это давно вошло в привычку.

Я робко повторил свой вопрос.

Да, Джонсон живет здесь, но он только что уехал в Кингс Милс. Я поспешил ответить, что это мне известно, так как я повстречался с ним там, за каньоном. Узнав, что я сбился с дороги и мне не добраться нынче до Соноры, он был так добр, что позволил мне остановиться у него на ночлег. Я говорил все это, слегка возвысив голос, чтоб могла слышать и «старуха» Джонсона, которая, уж конечно, украдкой разглядывала меня в какую-нибудь щелку.

Девочка увела всех детей, кроме старшего мальчика.

— Дольф, покажи человеку, где привязать осла, — велела она ему и, не прибавив больше ни слова, скрылась в пристройке.

Я последовал за своим юным проводником, возможно более любопытным, чем эта девочка, но ничуть не более словоохотливым. На все вопросы он, к великой моей досаде, отвечал одной и той же, ничего не выражающей улыбкой. Однако смотрел он на меня во все глаза и наверняка разглядел все до мелочей. Он провел меня за дом, в лесок, где единственную прогалину то ли буря расчистила, то ли просто деревья сгнили и сами повалились. Пока я привязывал Чу-Чу, мальчик безмолвно стоял поодаль, не предлагал помочь, но и не мешал мне осмотреться. Ничто вокруг хижины и поблизости не говорило о том, что здесь поработали человеческие руки: первозданная глушь, казалось, обступала смелого пионера со всех сторон, шла за ним по пятам и кое-где даже стирала только что проложенный след. В нескольких ярдах от жилья проходила неприглядная граница цивилизации: валялись обрывки тряпья, какие-то выкинутые за ненадоб-

ностью бутылки и жестянки; ближние кусты бузины и акации, точно дрянными цветами, украсились клочками бумаги и вывешенными для просушки кухонными тряпками. Этот мерзкий круг явно не расширялся: казалось, Природа опять и опять отбрасывает хлам, навязанный ей непрошеными гостями; ни звери, ни птицы не льстились на этот мусор; ни один лесной обитатель не переступал нечистого рубежа; человек укрылся за барьером из отбросов, омертвевших, как сброшенная змеею кожа. Эта несуразная, сама собой возникшая ограда столь же надежно защищала жильё от любопытства ночных хищников, как грозный огненный пояс — стоянку первобытного охотника.

Когда я вернулся в хижину, она была пуста, и двери, ведущие в обе пристройки, закрыты, но на грубо сколоченном столе, к которому придвинут был табурет, меня ждал дымящийся кофе в жестяной кружке, в такой же миске — горячие лепешки на соде и еще тарелка жареной говядины. Было что-то странное и тягостное в том, как молчаливо, но недвусмысленно меня обрекали на одиночество. Быть может, я пришелся не по вкусу «старухе» Джонсона, когда она исподтишка разглядывала меня со своего наблюдательного поста? Или таковы уж в горах Сьерры понятия о гостеприимстве, что хозяева не желают с вами разговаривать? А может быть, миссис Джонсон молода и хороша собой и прячется по строгому приказу ревнивого супруга? Или она калека, а может быть, и впрямь старуха, прикованная болезнями к постели? Из пристройки порою доносились приглушенные голоса, но ни разу я не услышал, чтобы заговорила взрослая женщина. Совсем стемнело, тусклый отблеск тлеющих в глинобитном очаге поленьев почти не давал света, и от этого мне стало еще более одиноко. В подобных обстоятельствах полагалось бы забыть о трапезе и предаться самым мрачным философическим раздумьям; но природа часто бывает непоследовательна, и должен с прискорбием сознаться, что под влиянием свежего горного воздуха плоть моя, наперекор всем уверениям сочинителей, оказалась с духом не в ладу. Я порядком проголодался и с аппетитом принялся за еду, решив, что отдать дань философии и несварению желудка всегда успею. Я весело расправился с лепешками и задумчиво допивал кофе, как вдруг среди строил послышалось какое-то воркование. Я поднял голову: сверху на меня в упор глядели три пары совершенно

круглых глаз. Трое уже знакомых мне детишек расположились под крышей в позах Рафаэлевых херувимов и с величайшим интересом наблюдали за моей трапезой. Я встретился взглядом с самым младшим, и он сдавленно хихикнул.

Я никогда не понимал, почему взрослого человека, который довольно спокойно переносит насмешку равного, так уязвляет, если над ним беззлобно посмеется ребенок. Мы искренне убеждены, что Джонс или Браун смеются над нами только по злонравию, невежеству или высокомерию, но в глубине души опасаемся, что юные критические умы и в самом деле находят в нас нечто достойное осмеяния. Однако я лишь приветливо улыбнулся, не допуская и мысли, будто в моих манерах, когда я один за столом, что-то может быть смешное.

— Поди сюда, Джонни, — ласково сказал я.

Двое старших, девочка и мальчик, мгновенно исчезли, словно я уж так забавно сострил, что они больше не ручались за себя. Я слышал, как они торопливо карабкались вниз по ту сторону бревенчатой стены и наконец спрыгнули наземь. Меньшой, тот, что хихикал, остался на месте и завороченно глядел на меня, но явно готов был удрать при малейшем признаке опасности.

— Поди сюда, Джонни, малыш, — мягко повторил я. — У меня к тебе просьба: сходи к своей маме и скажи ей...

Но тут лицо малыша искривила отчаянная гримаса, он вдруг издал горестный вопль и тоже скрылся. Я подбежал к наружной двери, выглянул и увидел старшую девочку, которая впустила меня в дом: она шла прочь, унося под мышкой малыша, а другой рукой подталкивая в спину мальчика побольше, и оглядывалась на меня через плечо; всем своим видом она напоминала молодую медведицу, уводящую своих детенышей от опасности. Она скрылась за углом пристройки, где, очевидно, была еще одна дверь.

Все это выглядело престранно. И не удивительно, что я возвратился в хижину огорченный и уязвленный, у меня даже мелькнула сумасбродная мысль оседлать Чу-Чу и отряхнуть прах этого молчаливого дома с ног своих. Однако я тотчас понял, что покажу себя не только неблагодарным, но и смешным. Джонсон предлагал мне лишь кров и пищу; укажи он мне, как я просил, дорогу в гостиницу, там бы я ничего больше требовать не мог. Все-таки я не вошел в дом, а закурил свою последнюю сигару и принялся мрачно расхаживать взад и вперед по

тропе. В небе высыпали звезды, стало немного светлее; меж стволами виднелась громада горы напротив, а еще дальше высился главный кряж, явственно обведенный багровой чертой лесного пожара, который, однако, не бросал отблесков ни на небо, ни на землю. Как всегда бывает в лесных краях, то и дело тянуло душистым ветерком, еще теплым от полуденного солнца, и листва вокруг протяжно вздыхала и перешептывалась. А потом, в свой черед, подул ночной ветер с неприступных вершин Сьерры, от него закачались макушки самых высоких сосен, но и он не возмутил покоя темных лесных пределов здесь, внизу. Стояла глубокая тишина: ни зверь, ни птица не подавали голоса во тьме; и нескончаемый ропот древесных вершин доносился слабо, как отдаленный морской прибой. Сходство на этом не кончалось: несметные ряды сосен и кедров, протянувшиеся до самого горизонта, рождали в душе чувство потерянности и одиночества, какое испытывает человек на берегу океана. В этой нерушимой тишине мне казалось, я начинаю понимать, почему так неразговорчивы обитатели приютившей меня одинокой хижины.

Потом я возвратился к крыльцу и с удивлением увидел у порога старшую девочку. Когда я подошел ближе, она отступила и, показывая в угол, где, видно, только что поставлена была простая походная кровать, сказала:

— Вот, можете лечь, только встать придется рано: Дольф будет прибираться в доме.

Она уже повернулась, чтобы уйти в пристройку, но тут я почти взмолился:

— Одну минуту! Нельзя ли мне поговорить с вашей матушкой?

Девочка остановилась и как-то странно посмотрела на меня. Потом сказала резко:

— Она померла.

И снова хотела было уйти, но, должно быть, увидела по моему лицу, что я огорчен и растерян, и приостановилась.

— Но, как я понял, — заторопился я, — твой отец... то есть мистер Джонсон, — прибавил я неуверенно, — сказал, что мне надо обратиться к его... (мне почему-то не хотелось повторять совет Джонсона слово в слово)... к его жене.

— Уж не знаю, чего он с вами шуточки шутил, — отрезала она. — Мама второй год как померла.

— Но разве тут у вас нет ни одной взрослой женщины?

— Нету.

— Кто же заботится о тебе и обо всех детях?

— Я.

— Ты — и еще твой отец, так?

— Отец и двух дней кряду дома не бывает, да и то только ночует.

— И весь дом остается на тебя?

— Да, и счет лесу тоже.

— Счет лесу?

— Ну да, по скату спускают бревна, а я их измеряю и веду счет.

Тут я вспомнил, что по дороге сюда миновал скат — место, где по косогору скатывались в долину бревна; очевидно, Джонсон занимался тем, что валил деревья и поставлял на лесопилку.

— Но ты еще мала для такой работы, — сказал я.

— Мне уже шестнадцатый пошел, — серьезно ответила девочка.

По правде говоря, определить ее возраст было нелегко. Лицо потемнело от загара, черты не по годам резкие и суровые. Но присмотревшись, я с удивлением заметил, что глаза ее, не слишком большие, почти неразличимы в тени необыкновенных ресниц, каких я никогда прежде не видывал. На редкость черные, на редкость густые — до того, что даже спутывались, — они не просто окаймляли веки, но торчали мохнатой щетинкой, из-за которой только и виднелись блестящие черные зрачки, яркие, словно какие-то поросшие пушком горные ягоды. Странное, даже чуть жутковатое сравнение — его подсказали мне обступившие нас леса, с которыми причудливо сливался облик и взгляд этой девочки. И я шутливо продолжал:

— Не так уж это много... но скажи, может быть, твой отец называет тебя иногда старухой?

Она кивнула.

— Вы, стало быть, приняли меня за маму?

И улыбнулась. У меня полегчало на душе, когда я увидел, как ее не по годам усталое и трогательно серьезное лицо смягчилось, хотя глаза при этом совсем скрылись в густой чаще ресниц, и я продолжал весело:

— Что ж, ты так заботишься о доме и семействе, что тебя и вправду можно считать старушкой.

— Стало быть, вы не говорили, чтоб Билли помер и лег в могилу к маме? Ему только померещилось? — спросила она еще чутьочку подозрительно, хотя губы ее уже вздрагивали, готовые к улыбке.

Нет, ничего такого я не говорил, но, конечно, мои слова могли преломиться в воображении малыша и обрести столь зловеющий смысл.

Девочка, видно, смягчилась, выслушав мои объяснения, и снова повернулась, чтобы уйти.

— Спокойной ночи, мисс, — сказал я. — Понимаешь, твой отец не сказал мне, как тебя зовут.

— Кэролайн.

— Спокойной ночи, Кэролайн.

Я протянул ей руку.

Сквозь спутанные ресницы Кэролайн посмотрела на протянутую руку, потом мне в лицо. Быстрым движением, но не сердито оттолкнула мою руку.

— Вот еще, глупости, — сказала она, словно отмахнулась от кого-нибудь из своих малышей, и исчезла в доме.

Минуту я молча стоял перед закрытой дверью, не зная, смеяться или сердиться. Потом в густеющей тьме прошелся вокруг дома, прислушался к ветру, который теперь громче шумел в вершинах деревьев, вернулся в хижину, затворил дверь и лег.

Но мне не спалось. Мне стало казаться, что я в ответе за этих одиноких детишек, которых Джонсон так легкомысленно бросает на произвол судьбы; ведь они беззащитны, их подстерегают несчетные случайности и неожиданности, с которыми старшей девочке не под силу будет справиться. Хищника — будь то зверь или человек — можно, пожалуй, не опасаться: разбойники горных троп не унизятся до мелкой кражи, а медведь или пантера почти никогда не приближаются к человеческому жилью; но вдруг пожар или заболит кто-то, да мало ли что может случиться с детьми... Не говоря уже о том, что такая заброшенность может пагубно повлиять на развитие юных душ и умов. Нет, просто стыд и позор, что Джонсон оставляет их одних!

В тишине до меня явственно доносились из пристройки детские голоса, — очевидно, Кэролайн укладывала меньших в постель. И вдруг она запела! Остальные подтянули. Снова и снова хор повторял единственный куплет всем известной скорбной негритянской песни:

Куда ни поеду, куда ни пойду,
Повсюду тоска и печаль,—

высоким рыдающим голосом выводила Кэролайн.

Покоя и счастья нигде не найду
И родины милой мне жаль,—

по-детски шепелявя, откликнулась младшая девочка.

Они повторили это раза три, пока и остальные не усвоили прочно слова и мотив, а потом уже все вместе пели одно и то же снова и снова, горестный напев то нарастал, то затихал в темноте. Сам не знаю почему, но я сразу решил, что для маленьких сирот это не просто пение, а некий обряд благочестия, словно они на сон грядущий поют псалом или гимн. Потом, как бы подтверждая мою догадку, кто-то коротко и неразборчиво что-то проговорил или прочитал, и настала глубокая тишина, лишь протяжно заскрипели еще не высушенные временем деревянные стены, будто и дом потягивался перед отходом ко сну. И все стихло.

А с меня сон как рукой сняло. Наконец я встал, оделся, пододвинул табурет к очагу, достал из своего походного ранца книгу и при свете отыскавшегося тут же оплывшего огарка, воткнутого в бутылку, приваялся читать. Потом я задремал. Право, не знаю, сколько прошло времени, во сне меня стал преследовать громкий, настойчивый лай, и наконец я проснулся. Собака лаяла где-то за хижинкой, в той стороне, где я на прогалине привязал Чу-Чу. Я вскочил, распахнул дверь, кинулся к лощине и почти сразу наткнулся на испуганную Чу-Чу — она спешила мне навстречу, но прыть ее несколько сдерживало лассо; другой конец лассо держал некто, неторопливо вышедший из лощины, закутанный в одеяло и с ружьем через плечо. Не успев опомниться от первого изумления, я поразился еще сильнее, ибо вдруг узнал Кэролайн.

Она ничуть не смутилась, не застеснялась, что я застиг ее в таком виде, и прошла мимо, кинув мне конец лассо и несколько слов в объяснение: видно, поблизости бродит медведь или рысь, вот ослица и испугалась. Надо привязать ее перед хижинкой, с подветренной стороны.

— А я думал, дикие звери не подходят так близко к дому,— быстро сказал я.

— Ослятина больно лакомая,— нравоучительно сказала девочка и пошла дальше.

Я хотел поблагодарить ее, попросить извинения за то,

что доставил ей столько хлопот; хотел отдать должное спокойной храбрости, с какой она среди ночи вышла из дома, и в то же время предостеречь от чрезмерной неосторожности; хотел спросить, часто ли поднимается по ночам такая тревога и вправду ли нужно в подобных случаях брать с собою ружье. Но ее сдержанность заставляла и меня не быть навязчивым, и я уже хотел пойти прочь, как вдруг заметил нечто такое, что поразило меня еще больше. Когда Кэролайн дошла до угла пристройки, я увидал за деревьями рослого мужчину; в движениях его чувствовалась нерешительность, даже какая-то робость, однако он, по-видимому, и не думал прятаться; должно быть, в ту же минуту его заметила и Кэролайн и слегка замедлила шаг. Они были уже почти рядом. Незнакомец что-то сказал, слов я не расслышал — то ли я стоял слишком далеко, то ли он говорил слишком тихо и нерешительно. Зато Кэролайн ответила без всяких колебаний, по своему обыкновению коротко и ясно:

— Ладно. А теперь ступай домой и спи.

И скрылась за углом пристройки. Высокий мужчина еще помешкал минуту-другую и тоже удалился. Но меня одолевало любопытство; я наскоро привязал Чу-Чу к изгороди почти напротив парадного крыльца и поспешил за ним, подозревая, что он ушел недалеко. И не ошибся. Отойдя немного, он остановился и медлил, словно не зная, как быть дальше.

— Эй! — окликнул я.

Он обернулся, во всей его повадке чувствовалась какая-то неловкость, но ни удивления, ни недовольства.

— Вы не торопитесь? — сказал я. — Зайдите, выпьем по стаканчику. Я тут один и все равно не сплю, так что составьте компанию — покурим, поболтаем.

— Боязно.

— Как вы сказали? Боязно? — переспросил я, с недоумением глядя снизу вверх на этого рослого, плечистого молодца.

— Да как бы она не осерчала. — Он повел плечом в сторону пристройки.

— Кто?

— Мисс Кэролайн.

— Вздор! — сказал я. — Она же не здесь, вы ее и не увидите. Пойдем-ка.

Он еще колебался, хотя, насколько я мог разглядеть, по его обросшему бородой лицу блуждала слабая улыбка.

— Пойдемте, — повторил я.

Он послушно пошел за мною, но мне почудилось, будто он, совсем как Чу-Чу, смотрит на меня свысока, потому что он куда больше и сильнее меня, и при этом так же косит глазом, готовый в любую минуту прыгнуть в сторону. На пороге он было попятился. Потом как-то боком вошел. Он был такой рослый и широкоплечий, что заполнял собою весь дверной проем.

При свете очага я увидел, что, несмотря на густую бороду, он совсем молод, еще моложе меня, и очень недурен собой. Видя, что он и сейчас готов сбежать, я достал из седельной сумки фляжку и кисет, подал ему, показал на табурет, а сам сел на кровать.

— Вы живете по соседству?

— Да, — отвечал он рассеянно, словно прислушиваясь или ожидая чего-то. — На перекрестке Десятой мили.

— Да ведь это за две мили отсюда!

— Верно.

— Значит, вы живете не здесь, не на этой вырубке?

— Нет. Работаю на Десятой миле, на лесопилке.

— Вам что же, с работы домой мимо идти?

— Да нет... — Он помялся, разглядывая свою трубку. — Как Джонсон в отлучке, так я иной раз возьму и поброжу вокруг, погляжу, все ли тут ладно.

— Понимаю. Значит, вы друг их семьи.

— Вот уж нет! — Он прикусил язык, засмеялся и прибавил смущенно, обращаясь, кажется, к собственной трубке: — То бишь, есть немножко. Вроде и друг. Да как бы она не осерчала. — Он понизил голос, будто боялся прогневить хозяйку дома, чье незримое присутствие он ощущал и здесь.

— Значит, когда Джонсон в отлучке, вы их тут караулите?

— Верное слово, — сказал он. — Караулю (ему, видно, это понравилось). Именно что караулю! Это вы верно угадали, приятель.

— А часто Джонсон отлучается?

— Да раза три в неделю.

— Но мисс Каролайн, по-видимому, и сама может за себя постоять. Ей ничего не страшно.

— Страшно! Да она сроду ничего не боялась! — Он немного помолчал. — Вы ей в глаза-то хоть разок заглянули?

Я не заглядывал — в такие глаза заглянуть не просто: ресницы мешают. Но не стал вдаваться в объяснения и только кивнул.

— Она никому не уступит, ее ни живой, ни мертвый не испугает.

Неужели этот чудак воображает, что девушке трудно быть неуступчивой, когда перед нею вот такая воплощенная доброта и простодушие? Я не удержался и сказал:

— Тогда зачем же вам шагать сюда за четыре мили ее караулить?

Я тут же пожалел о своих словах, потому что он, видно, как-то неловко повернулся, уронил трубку и, наклонясь, долго, старательно подбирал с полу мельчайшие осколки. Наконец он проговорил сдержанно:

— А вы видали, у детишек байка вокруг шеи обмотана?

Да, это я заметил, только не знал, предохраняют ли лоскуты байки от простуды или дети повязали их для красоты. Я молча кивнул.

— То-то и беда. Один раз Джонсон поехал на три дня в Колтервилл, а я околачивался тут поблизости, гляжу — никого не видать, а в доме всю ночь огонь горит. На другой вечер прихожу — опять в окошке свет, а кругом никого. Что-то, думаю, неладно. Подобрался поближе и слушаю. Слышу, то вроде кто-то кашляет, а потом вроде застонет. Прямо-то я не объявился, потому как она бы осерчала, а взял да и засвистал этак, вроде от нечего делать, чтоб детишки знали, что это я. А все равно никто не вышел. Я уж хотел убраться восвояси. И тут — чтоб мне провалиться — гляжу, стоит ведро с водой, как я с утра к роднику ходил, так оно на том же месте и стоит! Ну, тут уж я решил: надо поглядеть, что у них там делается. Взял да и постучал. Погодил малость, она в щелку выглянула, а глазищи так и горят. Велела мне убираться, откуда пришел, и дверь захлопнула. Я ей через дверь — скажи, мол, чего у вас там стряслось! А она мне тоже через дверь — мол, детишки все лежат в лежку, дифтерит у них. И еще, может, я доктора приведу, это бы не худо. И еще, мол, меньшого зараза не тронула, так, может, я его с собой прихвачу, пускай покуда побудет, где понадежнее. Замотала его всего одеялом, укутала и сунула мне в дверь, я его схватил — и давай бог ноги. На лесопилке его девать некуда, двинул я, стало быть, еще за четыре мили, к Уайту, у него там старуха мать. Рас-

сказал ей, что к чему, дала она мне лошадь, поскакал я на Джимову гору за доктором Грином и еще до зари обернулся — привез его. Приезжаем, а она свалилась, ослабла совсем, потому как хворь эта ее одолела хуже всех, а она и виду не подавала, и мне тогда ни словечком не обмолвилась!

— Хорошо, что вы в тот вечер не ушли, не поговорив с ней, — сказал я.

Лицо его светилось восторгом. Вскинув глаза, он заметил мой испытующий взгляд, снова потупился, слабо улыбнулся, мундштуком разбитой трубки начертил в кучке пепла круг и сказал:

— Но она все равно осерчала.

Я сказал (тоже довольно сердито), что если уж она не против, чтоб отец бросал ее по ночам одну с маленькими ребятишками, так нечего ей привередничать — кто бы ей ни помог в трудную минуту, пускай всякому скажет спасибо. Сказав так, я спохватился — вышло это не слишком для него лестно — и поспешил прибавить: может, она ждала, что в ту ночь мимо поедет какая-нибудь молодая леди, что ли? Но тут же вспомнил, что в этом духе срезал меня сам Джонсон, и прикусил язык.

— Да, — кротко ответил мой собеседник, — уж если она не заботилась о себе да о своих братишках и сестренках, так подумала бы про малышей Бизли.

— Про малышей Бизли? — недоуменно повторил я.

— Ну да. Которые поменьше, с Миранду, они не Джонсона, а Бизли.

— А кто такой Бизли? Почему его малыши оказались тут?

— Бизли работал на лесопилке, только он помер, а она исхитрилась, уговорила отца: дай, мол, возьмем сирот к себе.

— То есть как? Мало своих дел, она еще и о чужих детях заботится?

— Ну да. И еще учит их.

— Учит?

— Ну да, читать учит, и писать, и считать. Один наш лесоруб ее на этом деле поймал, когда она вела счет бревнам.

Мы оба замолчали.

— Вы, верно, хорошо знакомы с Джонсоном? — спросил я наконец.

— Да не то чтобы очень.

— Но вы сюда наведываетесь не только тогда, когда надо ей помочь?

— В доме-то я первый раз.

При этих словах он медленно огляделся по сторонам, поднял глаза к стропилам и несколько раз вздохнул полной грудью, словно упиваясь ароматом чьего-то незримого присутствия. Он так явно блаженствовал, так смиренно, молчаливо наслаждался, очутившись наконец в этом святилище, что помешать ему было бы кощунством. Смутно почувствовав это, я умолк и уставился на огонь, догорающий в очаге. Вскоре гость мой поднялся и стиснул мою руку.

— Мне, пожалуй, пора.

Он еще раз глубоко вздохнул (но на сей раз украдкой, словно чувствуя, что я за ним наблюдаю), боком выбрался за дверь и тут словно вдруг распрямился во весь свой исполинский рост и слился с темнотой. Я закрыл дверь, лег и уснул крепким сном.

Я спал так крепко, что когда проснулся, дверь была уже раскрыта настежь и солнце ярким светом заливало мою постель. Рядом на столе меня ждал завтрак. Я оделся, поел и, не понимая, почему так тихо вокруг, подошел к двери и выглянул наружу. В нескольких шагах от хижины стоял Дольф и за конец лассо держал Чу-Чу.

— Где Кэролайн? — спросил я.

— Вон там, — сказал он, махнув рукой в сторону леса. — Бревна считает.

— Она ничего не говорила?

— Сказала, чтоб я привел вам вашу скотину.

— А еще что?

— А еще велела вам уезжать.

И я уехал, но сперва нацарапал на листке из записной книжки несколько слов благодарности, завернул в него мой последний испанский доллар, написал сверху: «Для мисс Джонсон» — и оставил на столе.

Прошло больше года, и однажды в баре гостиницы «Марипоза» кто-то тронул меня за плечо. Я поднял глаза. Это был Джонсон.

Он вытащил из кармана испанский доллар.

— Так я и думал, что когда-нибудь где-нибудь да повстречаюсь с вами, — сказал он весело. — Моя старуха велела отдать вам это и сказать, что у нее не постоянный

двор. А письмо ваше оставила у себя и по нему учила детишек грамоте.

Наконец-то я дождался случая воззвать к отцовскому чувству Джонсона: его дочь — прекрасная и стойкая девушка, но все же как он решается оставлять ее одну на произвол судьбы? И я сказал с живостью:

— Я хотел бы поговорить с вами о мисс Джонсон.

— Как не хотеть, — ответил он и обидно усмехнулся. — Кто ж этого не хочет! Только она уже не мисс Джонсон. Она теперь мужняя жена.

— Кто же он такой? Уж не тот ли верзила с лесопилки? — задохнувшись от волнения, спросил я.

— А чем он плох? — возразил Джонсон. — Вы что ж думали, она выйдет за благородного, что ли?

Я сказал: а почему бы ей и не выйти за благородного человека — и при этом подумал: поистине трудно было бы найти человека благороднее.

III

о сдержанному тону разговора и по тому, что из окон уингдэмского дилижанса не шел сигарный дым и не торчали подошвы сапог, было ясно, что среди пассажиров находится женщина. Зеваки на станциях подолгу застывали перед окнами дилижанса, и их старания наскоро поправить воротничок и шляпу указывали на то, что пассажирка хороша собой. Все это мистер Джек Гемлин, восседавший на козлах рядом с кучером, отметил философски-цинической усмешкой. Не то чтобы он презирал женщин, но он не мог не видеть обманчивости их очарования, зов которого иногда отвлекает человечество от равно ненадежных прелестей покера; заметим кстати, что мистера Гемлина можно было считать олицетворением этой игры.

И потому, ставя узкий ботинок на колесо и спрыгивая вниз, он даже не взглянул на окно, из которого выбивался кончик зеленой вуали, и стал прогуливаться взад и вперед со свойственным людям его профессии скучающим и равнодушным видом, который почти заменяет благовоспитанность. Застегнутый на все пуговицы, сдержанный, он являл резкий контраст остальным пассажирам, их неумеренному волнению и лихорадочному беспокойству, и даже Билл Мастерс, питомец Гарварда¹, неряшливый, буйно-жизнерадостный, склонный ценить выше меры всякое варварство и беззаконие и уплетавший галеты с сыром, едва ли представлял собой романтическую фигуру рядом с этим одиноким ловцом удачи, бледным, как греческая статуя, и гомерически спокойным.

¹ Гарвард — один из старинных университетов Америки, основан в 1636 году.

Кучер скомандовал: «Все по местам!» — и мистер Гемлин вернулся к дилижансу. Он уже стал ногой на колесо, и его лицо очутилось на одном уровне с окном кареты, как вдруг он встретился взглядом с глазами, которые показались ему самыми прекрасными в мире. Он спокойно соскочил с колеса, сказал несколько слов одному из пассажиров внутри кареты, поменялся с ним билетами и занял его место. Мистер Гемлин не позволял своим философским воззрениям влиять на решительность и быстроту своих действий.

Боюсь, что такое вторжение мистера Гемлина несколько стеснило остальных пассажиров, особенно тех, кто оказывал внимание даме. Один из них наклонился вперед и, по-видимому, сообщил ей кое-что о профессии мистера Гемлина, определив ее одним словом. Слышал ли это мистер Гемлин, узнал ли он в пассажире почтенного юриста, проигравшего ему на днях несколько тысяч долларов, не могу сказать. Его бледное лицо не изменило выражения; черные глаза, спокойные и наблюдательные, скользнув равнодушно по лицу почтенного джентльмена, остановились на несравненно более приятных чертах его соседки. Стоицизм индейца, унаследованный им, как говорили, от предков по женской линии, служил ему хорошую службу всю дорогу, пока дилижанс не заскрипел по речной гальке на Переправе Скотта и не остановился на время обеда у «Интернациональной» гостиницы. Почтенный юрист вместе с депутатом конгресса выпрыгнули и стали наготове, чтобы помочь выходящей из дилижанса богине, а полковник Старботтл из Сискью завладел ее зонтиком и шалью. При таком изобилии кавалеров дело не обошлось без некоторой заминки и суеты. В это время Джек Гемлин спокойно открыл противоположную дверцу, предложил даме руку с той решительностью и уверенностью, какую умеет ценить слабый и нерешительный пол, и в одно мгновение легко и грациозно помог ей стать на землю, а потом подняться на крыльцо. С козел слышалось фырканье, исходившее, надо полагать, от другого циника, кучера Юбы Билла.

— Глядите в оба, полковник, как бы вам чего не потерять! — с притворным участием заметил почтальон, смотря вслед полковнику Старботтлу, который угрюмо плелся в хвосте триумфальной процессии, направлявшейся в общий зал.

Мистер Гемлин не остался обедать. Лошадь его была

уже оседлана и дожидалась хозяина. Он поскакал через брод, поднялся на осыпанный галькой косогор и умчался вдаль по пыльной уингдэмской дороге с чувством человека, который стряхивает с себя тяжелый сон. Обитатели запыленных придорожных домиков, прикрыв глаза рукой, смотрели ему вслед, узнавая всадника по лошади и размышляя о том, какая муха укусила Команча Джека. Их любопытство, впрочем, относилось главным образом к лошади, как и следовало ожидать в обществе, где резвость, показанная кобылой Француза Пита во время его бегства от шерифа округа Калаверас, совершенно заслонила собой судьбу всадника и настолько заняла умы, что прославленный беглец уже никого не интересовал.

Почувствовав, что Серый устал, Джек вернулся к действительности. Он придержал лошадь и, свернув на тропу, которой иногда пользовались для сокращения пути, поехал неторопливой рысью, небрежно опутив поводья. Мало-помалу характер пейзажа менялся и становился все более идиллическим. В просветах между стволами сосен и сикомор можно было заметить кое-какие культурные насаждения: крыльцо одного из домишек заплела цветущая лоза; возле другого женщина качала колыбельку под розовым кустом; немного дальше Гемлин встретил босоногих детишек, которые бродили по колено в воде ручья, заросшего ивняком, и своими шутками внушил им такое доверие, что они осмелели и начали карабкаться к нему на седло. Тогда мистеру Гемлину пришлось напустить на себя невероятную свирепость и спастись бегством, отделавшись поцелуями и несколькими монетками. Въезжая в глубину леса, где уже не было и признаков жилья, он запел таким приятным тенором, исполненным такого покоряющего и страстного чувства, что, я готов ручаться, все малиновки и коноплянки замолчали, прислушиваясь к нему. Голос мистера Гемлина был необработан, слова песни были нелепы и сентиментальны — он научился им у негритянских певцов, но в тоне и выражении звучало что-то несказанно трогательное. В самом деле это была удивительная картина: сентиментальный мошенник с колодой карт в кармане и револьвером на поясе, оглашающий темный лес жалобной песенкой о «могиле, где спит моя Нелли» с таким чувством, что у всякого слушателя навернулась бы слеза. Ястреб-перепелятник, только что заклевавший шестую жертву, почуял в мистере Гемлине родную душу и воззрился на него в изумлении, готовый

признать превосходство человека. Хищничал он куда искуснее, однако цеть не умел.

Скоро мистер Гемлин снова очутился на большой дороге и перешел на прежний аллюр. На смену лесам и оврагам пришли канавы, кучи песку, оголенные косогоры, пни, гниющие стволы деревьев, предвещаая близость цивилизации. Потом показалась колокольня; мистер Гемлин был дома. Еще несколько секунд, и он проскакал по единственной узенькой улице, терявшейся у подножия горы в хаосе вывороченных камней, канав и грудах промытого песка, и спешился перед блестящими позолотой окнами салуна «Магнолия». Пройдя через длинную комнату бара, он толкнул дверь, обитую зеленым сукном, вошел в темный коридор, отпер своим ключом другую дверь и очутился в плохо освещенной комнате, обстановка которой, весьма изящная и ценная для здешних мест, была изрядно потрепана. Мозаичный столик посредине комнаты был усеян круглыми пятнами, не входившими в первоначальный замысел мастера. Вышивка на креслах выцвела, а зеленая бархатная кушетка, на которую бросился мистер Гемлин, была запачкана в ногах уингдэмской глиной.

Мистер Гемлин не пел в своей клетке. Он лежал неподвижно, глядя на яркую картину, где изображена была молодая особа с пышными формами. Ему пришло в голову, что такой женщины он никогда не видел, а если бы и увидел, то едва ли она ему понравилась бы.

Быть может, он думал о красоте другого типа. Но как раз в эту минуту кто-то постучался в дверь. Не вставая с кушетки, он потянул шнур, который, по-видимому, поднимал щеколду, потому что дверь распахнулась, и в комнату вошел человек.

Вошедший был широкоплечий, здоровый мужчина; его сильной фигуре не соответствовало выражение лица, красивого, но до странности бесхарактерного и к тому же одутловатого от пьянства. Надо полагать, он был пьян, так как пошатнулся, увидев мистера Гемлина, и сказал, заикаясь:

— Я думал, здесь Кэт... — И вид у него был смущенный и растерянный.

Мистер Гемлин ответил ему той же улыбкой, какой улыбался в уингдэмском дилижансе, и сел, вполне отдохнувший и готовый заняться делами.

— Ты, должно быть, не с дилижансом приехал, — продолжал посетитель.

— Нет,— ответил Гемлин,— я сошел на Переправе Скотта. Дилижанс придет не раньше, чем через полчаса. Ну как дела, Браун?

— Ни к черту! — сказал Браун, и лицо его неожиданно выразило безнадежность и отчаяние.— Я опять вдребезги проигрался, Джек,— продолжал он плачущим голосом, который до смешного не соответствовал его грузной фигуре.— Не одолжишь ли ты мне сотню до завтрашней промывки? Мне, видишь ли, нужно послать деньги моей старухе, а, кроме того, ты у меня выиграл в двадцать раз больше.

Вывод был, возможно, не совсем логичен, но Джек пренебрег этим и передал деньги своему гостю.

— Не завирайся насчет старух, Браун,— заметил он вскользь,— скажи лучше, что хочешь попытать счастья в фараон. Ты не женат, сам знаешь.

— В том-то и дело, что женат,— сказал Браун неожиданно серьезным тоном, как будто одно прикосновение золота к ладони прибавило ему важности.— У меня есть жена, да еще какая хорошая, я тебе говорю, в Штатах. Я ее уже три года не видел и уже год, как не писал ей. Вот поправятся дела, нападём на жилу, я привезу ее сюда.

— А как же Кэт? — спросил мистер Гемлин с прежней улыбкой.

Мистер Браун из Калавераса попытался прикрыть плутовским взглядом свое смущение — задача, с которой плохо справились его оплывшее лицо и затуманенный алкоголем мозг,— и сказал:

— Поди ты к дьяволу, Джек, надо же человеку немного поразвлечься, ты и сам знаешь! Брось, лучше давай сыграем по маленькой. Покажи-ка мне, как с моей сотней выиграть другую.

Мистер Гемлин с любопытством поглядел на своего бестолкового друга. Он, должно быть, увидел, что тому суждено проиграть эти деньги, и предпочел, чтоб они снова попали в карман к нему, а не к кому-нибудь другому. Он кивнул и пододвинул стул поближе к столу. В это время в дверь постучались.

— Это Кэт,— сказал мистер Браун.

Мистер Гемлин поднял щеколду, и дверь открылась. И тут в первый раз за всю жизнь он совершенно растерялся и, смутившись, вскочил с места, и в первый раз за всю жизнь его бледные щеки залились горячей краской до самого лба. Перед ним стояла пассажирка, которой он

помог сойти с дилижанса, а Браун, роняя карты, с истерическим смехом приветствовал ее:

— Моя старуха, разрази меня гром!

Говорят, будто бы миссис Браун ударилась в слезы и осыпала мужа упреками. Я видел ее в Мэрисвилле в 1857 году и не верю этим слухам. А на следующей неделе «Уингдэмская хроника» под заголовком «Трогательное свидание» сообщала: «На прошлой неделе в нашем городе произошло одно из тех прекрасных и трогательных событий, которые так часты в Калифорнии. Жена одного из выдающихся граждан Уингдэма, наскучив вырождающейся цивилизацией Востока и его неблагоприятным климатом, решила приехать к своему мужественному супругу на золотые берега Калифорнии. Не предупредив его о своем намерении, она отважилась на долгое путешествие и прибыла к нам на прошлой неделе. Радость супруга не поддается описанию. По слухам, встреча была невообразимо трогательная. Надеемся, что этот пример не останется без подражаний».

Благодаря влиянию миссис Браун, а быть может, более удачному ходу дел, финансовое положение мистера Брауна начало с этих пор непрерывно улучшаться. Недели через две по приезде жены он откупил у своих компаньонов прииск «Вышей и закуси» на деньги, будто бы выигранные в покер. Однако если верить слухам, основанным на сообщении миссис Браун, что муж ее зарекся подходить к карточному столу, деньги эти дал мистер Гемлин. Браун выстроил и отделал «Уингдэмскую гостиницу», которая благодаря популярности хорошенькой миссис Браун была всегда переполнена. Он был выбран депутатом в Собрание и пожертвовал некоторую сумму на церковь. Одну улицу в Уингдэме назвали его именем.

Было, однако, замечено, что по мере того, как богатство его и удача росли, сам он худел, бледнел и становился все мрачнее. По мере того, как успех его жены возрастал, он все чаще раздражался и выходил из себя. Самый влюбленный из мужей, он был ревнив до глупости. Если он не стеснял ее свободы, то потому только, шептали злые языки, что при первой и единственной попытке к этому миссис Браун устроила ему ужасающую сцену, и он присмирел. Почти все сплетни такого рода исходили от представительниц прекрасного пола, вытесненных ею из сердец уингдэмских рыцарей, которые, как и большинство рыцарей, преклонялись перед всякой силой, будь это муж-

ская мощь или женская красота. В оправдание миссис Браун следует, однако, сказать, что со времени своего приезда она, сама того не подозревая, стала жрицей целого культа¹, быть может, не более возвышавшего ее женское достоинство, чем тот, которым прославилась старейшая греческая демократия. Думаю, что Браун это до некоторой степени сознавал. Но единственным его поверенным был Джек Гемлин, чья репутация, к несчастью, не позволяла ему сблизиться с этой четой и чьи визиты были поэтому весьма редки.

Был лунный летний вечер; миссис Браун, раздумываясь, большеглазая и хорошенькая, сидела на веранде, упиваясь свежим фимиамом² горного ветерка и, надо опасаться, другим фимиамом, не таким свежим и гораздо менее невинным. Рядом с ней сидели полковник Старботтл и судья Бумпойнтер и последнее прибавление к ее свите — путешественник-иностранец. Она была настроена как нельзя лучше.

— Что видно на дороге? — спросил галантный полковник, который заметил, что в последние несколько минут внимание миссис Браун было занято чем-то посторонним.

— Пыль, — сказала миссис Браун со вздохом. — Стадо баранов сестрицы Анны³, больше ничего.

Полковник, литературные познания которого не шли далее вчерашней газеты, понял это буквально.

— Это не бараны, — заметил он, — а верховой. Судья, ведь это Серый Джека Гемлина?

Судья не знал, и, так как миссис Браун нашла, что воздух становится слишком прохладным, они перешли в гостиную.

Мистер Браун был на конюшне, куда обыкновенно удалялся после обеда. Быть может, он хотел выказать этим неуважение к знакомым своей жены, быть может, ему, как другим слабым натурам, доставляло удовольствие проявлять свою власть над беззащитными животными. Он утешался, тренируя рыжую кобылу, которую мог бить и ласкать, сколько душе угодно, чего нельзя было проделывать с миссис Браун. Он заметил знакомую нам

¹ Имеется в виду культ богини Афины, высоко почитавшейся в Древней Греции. Писатель иронизирует над поклонниками миссис Браун, стремящимися привлечь ее внимание, заслужить ее расположение.

² Ф и м и а м — ароматный запах; восторженная похвала, лесть.

³ Из сказки Ш. Перро «Синяя борода»

серую лошадь и, взглядевшись внимательно, узнал наездника. Браун приветствовал его сердечно и ласково, мистер Гемлин отвечал довольно сдержанно. Однако по настоятельной просьбе Брауна он прошел за ним по черной лестнице в узкий коридор, а оттуда в тесную комнатку, выходящую окнами на конный двор. Обставлена она была скудно: кровать, стол, пара стульев да стойка для ружей и хлыстов.

— Вот это и есть мой дом, Джек, — со вздохом сказал Браун, бросаясь на кровать и указывая приятелю на стул. — Ее комната в другом конце коридора. Вот уже больше полугода живем вместе, а встречаемся только за обедом. Нечего сказать, хорошенькое положеньице для главы дома! — заметил он с принужденным смехом. — Но все равно я рад тебя видеть, Джек, очень, очень рад!

И, встав с кровати, он еще раз пожал неподвижную руку мистера Гемлина.

— Я привел тебя сюда, потому что не хотел разговаривать на конюшне, хотя, по правде говоря, это всему городу известно. Не зажигай огня. Мы и при лунном свете можем поговорить. Клади ноги на подоконник и садись вот тут, рядом со мной. Виски вон в том кувшине.

Мистер Гемлин не воспользовался этим предложением. Браун из Калавераса повернулся лицом к стене и продолжал:

— Если б я не любил эту женщину, мне бы и горя мало. А то я ее люблю и давным-давно вижу, что она закусилась удила, а остановить некому, — это вот меня и убивает! Но все равно я рад тебя видеть, очень, очень рад!

В темноте он нашел ощупью руку приятеля и еще раз пожал. Он хотел удержать ее, но Джек отнял руку, сунул за борт застегнутого сюртука и рассеянно спросил:

— И давно это началось?

— С тех самых пор, как она приехала, с того самого дня, как она вошла в «Магнолию». Я тогда был дураком, Джек; я и теперь дурак, но раньше я и сам не знал, как я ее люблю. А ее с тех пор точно подменили. И это еще не все, Джек; не затем я хотел тебя видеть, и я рад, что ты приехал. Не в том дело, что она меня больше не любит; не в том дело, что она флиртует со всеми, кто только под руку подвернется; может быть, я поставил на кон ее любовь и проиграл ее, как проиграл все остальное; может быть, некоторые женщины не могут не флиртовать, от этого еще нет большого вреда, разве только дуракам.

А все-таки, Джек, думается мне, она любит другого. Не вставай, Джек, не надо, если тебе револьвер мешает, сними его. Вот уже больше полугода она кажется несчастной и одинокой и как будто беспокойна и боится чего-то. А иной раз я ловлю ее на том, что она смотрит на меня робко и с жалостью. И посылает кому-то письма. А с прошлой недели она начала собирать свои вещи — побрякушки и тряпки; думается мне, Джек, что она хочет уехать. Я бы все стерпел, кроме этого. Чтоб она уезжала крадучись, по-воровски... — Он уткнулся лицом в подушку, и несколько минут не было слышно ни звука, кроме тиканья часов на камине.

Мистер Гемлин закурил сигару и подошел к открытому окну. Луна уже не светила в комнату, и кровать была в тени.

— Что мне делать, Джек? — сказал голос из темноты.

С подоконника ответили быстро и ясно:

— Узнай, кто он, и застрели на месте.

— Что ты, Джек!

— Он знал, на что идет!

— Разве этим ее вернешь?

Джек не ответил, но перешел от окна к двери.

— Не уходи пока, Джек, зажги свечу и садись к столу. Хоть то утешение, что ты со мной.

Джек сначала колебался, потом сел за стол. Он вытащил колоду карт из кармана и стасовал ее, глядя на кровать. Но Браун лежал лицом к стене. Мистер Гемлин стасовал карты, снял с колоды и положил одну карту на противоположный край стола, поближе к кровати, другую сдал себе. Первая была двойка, у него самого — король. Он стасовал и снял еще раз. Теперь у его воображаемого партнера была дама, а у Джека — четверка. Он повеселел, начиная третью сдачу. Она принесла его противнику двойку, а ему опять короля.

— Два из трех, — сказал Джек довольно громко.

— Что такое, Джек? — спросил Браун.

— Ничего.

Теперь Джек попробовал бросить кости; однако он все время выбрасывал шесть очков, а его противник — одно. Сила привычки бывает подчас стеснительна.

Тем временем магическое влияние мистера Гемлина или действие виски, а может быть, и то и другое вместе, принесло облегчение мистеру Брауну, и он уснул.

Мистер Гемлин подвинул свой стул к окну и стал

смотреть на город Уингдэм, сейчас мирно спавший. Резкие очертания домов расплылись и смягчились, кричащие краски потускнели и стали нежнее в лунном свете, заливавшем все вокруг. В тишине ему слышно было, как журчит вода в канавах и шумят сосны за горой. Тогда он взглянул на небо, и как раз в это мгновение падающая звезда прорезала мерцающую синеву. За ней другая и третья. Это явление навело мистера Гемлина на мысль о новом способе гадания. Если за четверть часа упадет еще одна звезда... Он просидел с часами в руках вдвое больше назначенного времени, но явление не повторилось.

Часы пробили два, а Браун все еще спал.

Мистер Гемлин подошел к столу, достал из кармана письмо и прочел его при колеблющемся свете свечи. Там была только одна строчка, написанная карандашом женской рукой.

«Будьте у корраля¹ с коляской в три часа».

Снятый тревожно задвигался и проснулся.

— Ты здесь, Джек?

— Да.

— Не уходи пока, Джек. Я сейчас видел сон. Мне снилось старое время. Будто мы с Сюзанной опять венчаемся, а пастор будто бы — как ты думаешь, кто? — ты, Джек!

Игрок засмеялся и сел на кровать, все еще с письмом в руке.

— Хороший знак, верно? — спросил Браун.

— Ну, еще бы... Скажи-ка, старик, а не лучше ли тебе встать?

«Старик», повинувшись ласковому призыву, поднялся, ухватившись за протянутую руку Гемлина.

— Закурим?

Браун машинально взял предложенную ему сигару.

— Огня?

Джек скрутил письмо спиралью, зажег и протянул приятелю. Он держал письмо, пока оно не сторело, и уронил остаток — огненную звезду — за окно. Он проследил, как она падает, потом повернулся к своему другу.

— Старик, — сказал он, положив руку на плечо Брауна, — через десять минут я буду в пути, исчезну, как эта искра. Мы больше не увидимся, но, пока я не уехал, прими совет от дурака: продай все, что у тебя есть, возьми

¹ Корраль — загон для скота.

жену и уезжай отсюда. Тебе здесь не место, и ей тоже. Скажи ей, что она должна уехать, заставь уехать, если не захочет. Не хнычь о том, что ты не праведник, а она не ангел. Не будь идиотом. Прощай!

Он вырвался из объятий Брауна и бросился вниз по лестнице с легкостью оленя. У конюшни он схватил за шиворот полусонного конюха.

— Оседлай мою лошадь в две минуты, а не то... — Умолчание было как нельзя более внушительно.

— Хозяйка сказала, что вы возьмете коляску, — проворчал конюх.

— К черту коляску.

Лошадь была оседлана настолько быстро, насколько дрожащие руки конюха могли справиться с пряжками и ремнями.

— Что-нибудь случилось, мистер Гемлин? — спросил конюх, который, как и все слуги, восхищался огненным характером своего патрона и искренне желал ему добра.

— Прочь с дороги!

Конюх отскочил. Проклятие, скачок, стук копыт, и Джек очутился на дороге. Еще минута, и полусонные глаза конюха различили вдали только движущееся облако пыли, к которому звезда, оторвавшаяся от своих сестер, протянула огненную нить.

А рано утром люди, жившие далеко от Уингдэма, услышали голос, чистый, как голос полевого жаворонка. Те, кто спал, повернулись на своем грубом ложе, грезя о юности, любви и прошлых днях. Суровые мужчины, беспокойные искатели золота, поднявшиеся до света, бросили работу и, опираясь на кирку, слушали романтического бродягу, ехавшего легкой рысцой навстречу румяной заре.

БЛУДНЫЙ СЫН МИСТЕРА ТОМСОНА



Все мы знали, что мистер Томсон разыскивает своего сына — детище с весьма неважной репутацией. То, что он только ради этого и едет в Калифорнию, не было секретом для его спутников, а физические приметы, так же как и моральные несовершенства пропавшего без вести блудного отпрыска, стали известны нам благодаря откровенным излияниям родителя.

— Вы рассказывали о молодом человеке, которого повесили в Рыжей Собаке за кражу золотого песка из желоба? — спросил как-то мистер Томсон у одного палубного пассажира. — А какие у него были глаза, не запомнили?

— Черные, — ответил пассажир.

— Гм, — сказал мистер Томсон, перебирая что-то в уме, — у Чарлза были голубые. — И отошел в сторону.

Может статься, виной этому был его грубоватый тон, может, склонность западных жителей подшучивать над любым убеждением или чувством, которое им навязывается, но поиски мистера Томсона служили для пассажиров предметом насмешек. По рукам у них ходило состряпанное кем-то воззвание о пропавшем Чарлзе, адресованное «Всем тюремным надзирателям и сторожам». Каждый вспоминал о своих встречах с Чарлзом при самых прискорбных обстоятельствах. Однако следует отдать должное моим соотечественникам: издевательские шуточки стали утаивать от мистера Томсона, лишь только все узнали, какую солидную сумму он ассигновал тем, кто поможет ему найти сына. В присутствии старика не говорилось ничего такого, что могло бы причинить боль

отцовскому сердцу, а равным образом помешать возможному обогащению насмешников. Шутливое предложение мистера Брейси Тибетса образовать акционерное общество по «изысканию» пропавшего юнца пользовалось одно время среди нас большим успехом.

На взгляд поверхностного критика персона мистера Томсона, вероятно, не отличалась ни живописностью, ни приятными чертами характера. Жизнь его, рассказанная как-то за обедом им же самим, была при всей ее необычности построена на весьма практической основе. Прожив суровую, беспокойную юность, схоронив в зрелые годы впавшую в меланхолию жену и доведя сына до того, что тот убежал в матросы, мистер Томсон вдруг обратился к религии.

— Я подценил это в Нью-Орлеане, в пятьдесят девятом году, — рассказывал он за обеденным столом таким тоном, будто речь шла о заразной болезни. — Вступил в тесные врата. Передайте мне бобы.

Очень возможно, что практические свойства характера помогали мистеру Томсону в его безнадежных поисках. В руках у него не было никаких нитей, ведущих к местонахождению сбежавшего сына, и никаких доказательств, что сын его еще жив. По туманным воспоминаниям о двенадцатилетнем мальчике он надеялся узнать взрослого мужчину.

И наконец мистеру Томсону повезло. Как это случилось, он никогда не рассказывал. Существуют, я полагаю, две версии этого события. Согласно первой, мистер Томсон пришел в больницу и узнал сына по духовному гимну, который больной распевал, вспомнив в бреду свое детство. Версия эта, дававшая повод для высоких чувствований, была весьма популярна, а в изложении его преподобия мистера Гашингтона, вернувшегося из поездки в Калифорнию, неизменно пленяла слушателей. Вторая много сложнее и, раз уж я решил придерживаться ее, заслуживает более подробного рассказа.

Случилось это после того, как мистер Томсон прекратил поиски среди живых и принялся за обследование кладбищ и тщательное изучение равнодушных «здесь покоится такой-то». В то время он был частым посетителем Одинокой горы — вершины унылой и вдвойне мрачной от белых мраморных памятников, которыми Сан-Франциско, словно якорем, удерживал своих усопших граждан под тонким слоем зыбучих песков и укрывал от свирепого,

упорного ветра, силившегося сдуть их с места. Этому ветру старик противопоставлял свою волю, столь же упорную, свое суровое лицо, свои седины и низко надвинутый на лоб высокий цилиндр с креповой повязкой — и проводил целые дни, читая вслух надписи на могилах. Обилие цитат из священного писания радовало его, и он любил сверять их со своей карманной Библией.

— Это из псалмов, — сказал он однажды могильщику, рывшему поблизости могилу. Тот промолчал. Нисколько не смутившись этим, мистер Томсон тут же спрыгнул к нему в яму и задал более практический вопрос:

— Вам не приходилось хоронить некоего Чарлза Томсона?

— Будь он проклят, ваш Томсон! — отрезал могильщик.

— Так оно, вероятно, и есть, если он был неверующий, — сказал старик, выбираясь наверх.

Это происшествие, видимо, задержало мистера Томсона на кладбище дольше обычного. Когда он повернулся лицом к городу, там уже зажигались огни, и яростный ветер, почти заметный на глаз по волнам тумана, гнал старика вперед или прятался в засаду и свирепо налетал на него из-за угла какой-нибудь безлюдной окраинной улицы. На одном из таких углов нечто иное, но столь же злобное и неразличимое в темноте, бросилось на мистера Томсона с бранью, с приставленным в упор пистолетом и с требованием денег. Покушение натолкнулось на железную волю и стальную хватку старика. Грабитель и его жертва упали на землю. Но старик тут же вскочил на ноги, держа в одной руке отобранный пистолет, а другой сжимая горло противника — молодого, рассвирепевшего, готового на все.

— Молодой человек, — проговорил мистер Томсон, почти не разжимая губ, — как вас зовут?

— Томсон.

Пальцы старика, не ослабляя своей хватки, сползли с шеи грабителя ближе к локтю.

— Пойдем, Чарлз Томсон, — сказал он и повел его в гостиницу. Что там произошло, так и осталось неизвестным, но на следующее утро все узнали, что мистер Томсон нашел своего сына.

К только что рассказанной неправдоподобной истории следует добавить, что ни в наружности, ни в поведении

молодого человека не было ничего такого, что могло бы придать ей бóльшую вероятность. Степенный, сдержанный, привлекательной внешности, преданный своему вновь обретенному отцу, он принял достаток и обязанности новой жизни с тем спокойным достоинством, которым общество в Сан-Франциско не могло само похвалиться и потому гнушалось. Кое-кто взирал на это свойство его натуры с презрением, усматривая в молодом человеке склонность к ханжеству; другие находили в нем черточки характера, унаследованные от отца, и предрекали ему такую же нелегкую старость. Все, однако, сходилось на том, что степенность этого молодого человека нисколько не противоречит его умению устраивать свои денежные дела, за которое и отца и сына весьма уважали.

И тем не менее старик явно не нашел своего счастья. Может быть, потому, что, добившись цели, он лишился своей миссии; а может быть — и это кажется гораздо более вероятным, — в нем не проснулась любовь к вернувшемуся сыну. Покорность, которой он требовал, оказывалась ему беспрекословно, духовное перерождение сына — то, к чему устремлялись все его помыслы, — было полное; и все-таки ничто не радовало его. Обратив сына на путь истинный, он выполнил то, чего требовала от него религия, а удовлетворения не получил. Ища разгадки этому, старик перечитал притчу о блудном сыне¹, давно служившую ему руководством к действию, и обнаружил, что забыл о празднестве примирения. Оно должно было скрепить надлежащей торжественностью залог согласия между ним и сыном. И вот через год после появления Чарльза старик Томсон решил устроить пир.

— Пригласи всех, Чарльз, — сказал он сухо, — всех, кто знает, что я вывел тебя из свиного хлева беззакония и вертепа блудниц. Пусть едят, пьют и веселятся.

Может быть, старик преследовал иные цели, еще не вполне ясные ему самому. Его красивый дом, построенный на дюнах, казался подчас холодным и пустым. Он часто ловил себя на том, что старается подметить в строгом лице Чарльза черты маленького мальчика, который едва помнился ему, а за последнее время не выходил у него из ума. Он считал, что это признак надвигающейся старости

¹ Имеется в виду евангельская притча о юноше, который, получив свою долю наследства, покинул родной дом и пошел бродить по свету. Прожив состояние, узнав нужду, холод и голод, юноша вернулся в отчий дом и был принят отцом с радостью и лаской.

и стариковских чудачеств. Однажды он увидел в своей чопорной гостиной ребенка служанки, случайно забежавшего туда, и ему захотелось взять его на руки, но ребенок убежал в страхе перед этой седой бородой. Не настало ли время созвать гостей и выбрать из цветника сан-францисских девиц невестку? А потом в доме появится ребенок — мальчик, которого он будет растить и холить с первых же дней его жизни и полюбит так, как не смог полюбить Чарлза.

Все мы были на этом пиру. Пожаловали Смиты, Джонсы, Брауны и Робинсоны, исполненные жизнерадостности, не сдерживаемой и признаком уважения к хозяину, что многим из нас кажется столь обворожительным. Празднество могло бы пройти бурно, если бы этому не препятствовало общественное положение некоторых лиц. Нужно сказать, что мистер Брейси Тибетс, наделенный от природы даром подмечать все комическое, а сейчас, кроме того, подстрекаемый лукавыми глазками барышень Джонс, держался так странно, что привлек к себе внимание мистера Чарлза Томсона, который подошел к нему со словами:

— Вам, должно быть, нездоровится, мистер Тибетс. Позвольте мне проводить вас до кареты. Только попробуй сопротивляться, собака, я тебя живо в окно вышвырну. Будьте любезны, сюда, в комнате очень душно и тесно.

Вряд ли следует говорить, что общество слышало только часть этой беседы; остального мистер Тибетс не разглашал и впоследствии очень жалел, что внезапное нездоровье помешало ему быть свидетелем одного забавного происшествия, которое самая бойкая мисс Джонс назвала «гвоздем программы» и о котором я спешу рассказать здесь.

Случилось это за ужином. Обдумывая то, что ему еще предстояло сделать, мистер Томсон, очевидно, не замечал бесцеремонности молодежи. Как только скатерть была убрана, он поднялся и строго постучал по столу. Хихиканье барышень Джонс подхватила вся их сторона. Чарлз Томсон, сидевший в конце стола, бросил на отца взгляд, озабоченный и нежный.

— Сейчас будет славословить господу бога!

— Прочтет молитву!

— Тише, тише, слово оратору! — слышалось со всех сторон.

— Сегодня исполнился год, братья и сестры во Хри-

сте,— сурово, медленно начал мистер Томсон,— сегодня исполнился год с тех пор, как сын мой, расточивший имение свое с блудницами (хихиканье сразу смолкло), вернулся из свиного хлева домой. Посмотрите на него теперь. Чарлз Томсон, встань! (Чарлз Томсон встал.) Пройшел ровно год, и посмотрите на него теперь.

Чарлз Томсон, стоявший перед нами в праздничном костюме, бесспорно, был красивый блудный сын, раскаявшийся блудный сын, и он с грустной покорностью встретил суровый, холодный взгляд отца. Младшая мисс Смит бессознательно потянулась к нему от всей глубины своего глупого, чистого сердечка.

— Пятнадцать лет назад он ушел из моего дома,— говорил мистер Томсон,— и стал бродягой и мотом. Я сам, о братья мои во Христе, был полон греха, полон ненависти и злости (старшая мисс Смит: «Аминь!»), но льщу себя надеждой, что гнев господен минует меня. Вот уже пять лет, как душа моя обрела покой, блаженство коего превышает человеческого разумения. Обрели ли душевный покой вы, друзья мои? (Девушки хором: «Нет, нет!») Коке, мичман с правительственного шлюпа «Везерфилд»: «А с чем его кушают?») Стучите, и отверзца вам!

— И когда я понял свое заблуждение и оценил сокровище благодати,— продолжал мистер Томсон,— я решил приобщить к ней и своего сына. По морю и посуху искал я его и не падал духом. Я не стал ждать, когда он сам придет ко мне, хотя и мог так сделать, руководствуясь книгой, величайшей из всех книг. Я разыскал его в свином хлеву, среди... (Конец фразы покрыло шуршание юбок вставших из-за стола дам.) Благие деяния — вот мой девиз, братья во Христе. По делам их узнаете их, и вот оно, мое деяние.

Признанное всеми, узаконенное деяние, на которое ссылался мистер Томсон, побледнело и уставилось на веранду, где в толпе слуг, собравшихся у открытой двери поглазеть на гостей, вдруг поднялась суматоха. Шум не стихал. Человек, одетый в отрепье и, очевидно, пьяный, силой прорвался сквозь толпу и, пошатываясь, вошел в зал. Переход от тумана и темноты к залитой светом теплой комнате ошеломил, ослепил его. Он снял свою потрепанную шляпу, провел ею раз-другой по глазам, стараясь в то же время опереться, впрочем, без особого успеха, на спинку стула. Но вот его блуждающий взгляд остановился на побледневшем лице Чарлза Томсона, и с загоревши-

мися, словно у ребенка, глазами, засмеявшись визгливым, слабенским смехом, он кинулся вперед, ухватился за край стола, опрокинул бокалы и буквально упал на грудь блудного сына.

— Чарли! Подлец ты этакий. Здравствуй, здравствуй, дружище!

— Тише, сядь, успокойся! — сказал Чарлз, стараясь поскорее вырваться из объятий непрошеного гостя.

— Нет, вы только полюбуйтесь на него! — Не слушая уговоров, незнакомец держал несчастного за плечи и с нескрываемым восхищением разглядывал его праздничный костюм. — Полюбуйтесь! Хорош красавчик? Ну, Чарли, я горжусь тобой.

— Вон из моего дома! — сказал мистер Томсон, поднявшись из-за стола и грозно блеснув серыми, холодными глазами. — Чарлз, как ты смеешь?

— Не кипятись, старикашка! Чарли, кто этот старый индюк? А?

— Тише, тише, вот выпей! — Дрожащими руками Чарлз Томсон налил стакан вина. — Выпей и уходи; завтра — в любое время, а сейчас уходи, уходи отсюда!

Но, не дав жалкому оборванцу выпить вино, старик, бледный от ярости, кинулся к нему. Приподняв его своими сильными руками и протаскив сквозь круг испуганных гостей, он уже подошел к дверям, распахнутым слугами, когда Чарлз Томсон, словно очнувшись от оцепенения, крикнул:

— Остановитесь!

Старик остановился. Сквозь открытую дверь в комнату влетал ледяной ветер и туман.

— Что это значит? — спросил он, злобно насунив брови.

— Ничего, только остановитесь, ради бога! Не сегодня, подождите до завтра. Не надо, умоляю вас, не надо!

Может быть, мистер Томсон почувствовал что-то в голосе молодого человека, может быть, соприкосновение с оборванцем, которого он сдерживал своими сильными руками, остановило его, но сердце старика вдруг сжалось от неясного, смутного страха.

— Кто... кто это? — хрипло прошептал он.

Чарлз молчал.

— Отойдите! — крикнул старик окружавшим его гостям. — Чарлз, иди сюда! Я приказываю, я... я прошу тебя, скажи, кто этот человек?

Только двое расслышали ответ, который беззвучно прошептал Чарлз Томсон:

— Ваш сын.

Утро, забрезжившее над унылыми дюнами, уже не застало гостей в парадных покоях мистера Томсона. Лампы все еще горели тусклым и холодным огнем в этом доме, покинутом всеми, кроме троих мужчин, которые сбились в кучку, словно ища тепла в нетопленном зале. Один из них забылся пьяным сном на диване; у ног его пристроился другой, известный раньше под именем Чарлза Томсона; а возле них, устремив свои серые глаза в одну точку, поставив локти на колени, закрыв уши руками, словно стараясь не слышать печального, настойчивого голоса, который, казалось, наполнял всю комнату, сидел измученный и сразу осунувшийся мистер Томсон.

— Видит бог, я не хотел обманывать вас. Имя, которое я назвал тогда, было первое, что пришло мне в голову, имя человека, которого я считал умершим, беспутного товарища моей постыдной жизни. А когда вы начали расспрашивать меня, я вспомнил то, что слышал от него самого, и решил смягчить ваше сердце и добиться свободы. У меня была только одна эта цель — свобода, клянусь вам! Но когда вы назвали себя и я увидел, что передо мной открывается новая жизнь, тогда, тогда... О, сэр! Покушаясь на ваш кошелек, я был голоден, безрассуден, не имел крова над головой, но на вашу любовь покусился человек беспомощный, отчаявшийся, познавший тоску!

Старик сидел неподвижно. Только что объявившийся блудный сын мирно похрапывал на своем роскошном ложе.

— У меня нет отца. Я никогда не знал другого дома, кроме вашего. Передо мной встало искушение. Мне было хорошо, так хорошо все это время!

Он встал и подошел к старику.

— Не бойтесь, я не стану оспаривать права вашего сына. Сегодня я уйду и никогда больше не вернусь сюда. Мир велик, сэр, а ваша доброта научила меня искать честный жизненный путь. Прощайте! Вы не хотите подать мне руку? Ну, что ж! Прощайте!

Он отошел от него. Но, дойдя до двери, вдруг вернулся и, взяв обеими руками седую голову, поцеловал ее раз и еще раз.

— Чарлз!

Ответа не было.

— Чарлз!

Старик поднялся и, шатаясь, подошел к порогу. Дверь была открыта. До него донесся шум просыпающегося большого города, навсегда поглотивший звуки шагов блудного сына.

МОНТЕ-ФЛЕТСКАЯ ПАСТОРАЛЬ¹



КАК СТАРИК ПЛАНКЕТ ЕЗДИЛ ДОМОЙ

Все мы очень его любили. Даже после того как он окончательно запутал дела компании «Дружба», не нашлось человека, который не посочувствовал бы ему, хотя многие из нас сами были пайщиками и оказались в числе потерпевших. Помню, кузнец так разошелся, что заявил:

— А тех, кто взвалил старику на плечи такую ответственность, надо попросту линчевать!

Но кузнец пайщиком не был, и к его словам отнеслись как к вполне извинительному чудачеству отзывчивой и широкой натуры, на которое, принимая во внимание могучее телосложение кузнеца, приходилось смотреть сквозь пальцы. Так по крайней мере сказал кто-то из нас. Однако все мы жалели, что несчастье расстроит заветную мечту старика «съездить домой». Как-никак он собирался «домой» уже десять лет. Сборы начались через полгода после его появления в Монте-Флете. Это тянулось из года в год: он поедет, как только пройдут первые дожди. Поедет сразу же после дождливого сезона. Поедет, как только кончит рубить лес на Оленьей горе, как только откроет золотую жилу на холме Эврика, как только можно будет выгонять скот на Даус-Флет, как только компания «Дружба» выплатит первые дивиденды², как только проведут выборы, как только придет ответ от жены. Но годы проходили, весенние дожди начинались и кончались, лес на Оленьей горе вырубали дочиста, выгон на Даус-Флете поблек и

¹ *Здесь: описание в духе пасторали* (см. стр. 182, 276).

² *Дивиденды* — доход, периодически выплачиваемый держателям ценных бумаг (акций) из прибыли акционерного общества.

высох, холм Эврика расстался со своим золотом и разорил владельца, первые дивиденды компании «Дружба» выплатили из имущества пайщиков, в Монте-Флете были выбраны новые представители власти, жена писала и все звала его, а старик Планкет по-прежнему оставался в поселке.

Впрочем, справедливости ради следует уточнить, что попытки к отъезду предпринимались. Пять лет назад старик Планкет распрощался с Монте-Хиллом, обменявшись со всеми горячими рукопожатиями. Но дальше ближайшего городка он так и не двинулся. Там ему всучили гнедую кобылу в обмен на буланого жеребца, на котором он уехал, и эта сделка не замедлила открыть его пылкому воображению необъятные, заманчивые просторы будущих спекуляций.

Спустя несколько дней Эбнер Дин получил письмо, в котором старик Планкет сообщал, что едет в Висалию покупать лошадей.

«Я весьма удовлетворен,— писал он со свойственной его письмам высокопарностью,— я весьма удовлетворен тем обстоятельством, что мы наконец-то добрались до истинных богатств Калифорнии. Когда-нибудь весь мир будет взирать на Даус-Флет как на коннозаводческий центр. Ввиду серьезности предприятия я отложил свой отъезд на месяц». Прошло целых два месяца, прежде чем старик вернулся к нам с пустыми карманами. Через полгода он уже скопил денег на поездку в Восточные штаты и на этот раз доехал до самого Сан-Франциско.

У меня сохранилось письмо, полученное через два-три дня после его приезда в Сан-Франциско, и я позволю себе привести оттуда несколько строк: «Как вы уже знаете, друг мой, я всегда считал, что искусство игры в покер, который несправедливо приравнивают к азартным играм, пока что переживает в Калифорнии свой младенческий возраст. Я не раз задумывался над тем, нельзя ли изобрести совершенную систему, следуя которой умный человек сумеет извлекать из покера постоянную прибыль? Эту систему я пока что не могу вам открыть, но я не уеду из города, не доведя ее до совершенства». Очевидно, Планкет достиг своей цели, ибо он вернулся в Монте-Флет с двумя долларами и тридцатью пятью центами в кармане — это было все, что осталось от его капитала после применения усовершенствованной системы игры в покер.

Съездить домой ему удалось только в 1868 году. Он отправился сухим путем, через весь материк, заявив, что

этот путь представляет большие возможности для открытия неизведанных богатств страны. Последнее его письмо было получено из Вирджиния-Сити. В отлучке он находился три года. И вот, по прошествии этих трех лет, однажды жарким летним вечером наш старик Планкет, убитый пылью и годами, вылез из уингдэмского дилижанса. В том, как он поздоровался со всеми, чувствовалась некоторая сдержанность, несвойственная ему, прежде такому разговорчивому; нам, впрочем, эта новая черта в его характере как-то не очень понравилась.

Первые дни Планкет помалкивал о своей поездке и только запальчиво повторял, что он «всегда собирался съездить домой — вот и съездил». Потом он стал разговорчивее, в весьма критических тонах отзывался о нравах и обычаях Нью-Йорка и Бостона, осуждал изменения в общественной жизни, происшедшие там за время его отсутствия, и, помнится, особенно нападал на то, что казалось ему «распущенностью, которая неизбежно сопутствует высшим ступеням цивилизации». Дальше — больше: последовали смутные намеки на развращенность высших кругов общества Восточных штатов, и, наконец, покрывало с Нью-Йорка было сорвано, а неприглядная картина тамошнего беспутства описана такими яркими красками, что я до сих пор содрогаюсь при одном воспоминании об этих рассказах. Как выяснилось из них, злоупотребление спиртными напитками вошло в обычай у самых блистательных дам города; безнравственность, которой он даже не решался дать точное название, губила изысканнейших представителей обоего пола; скардность и алчность были самые распространенные пороки богачей.

— Я всегда говорил, — продолжал старик Планкет, — что разврат гнездится там, где царствует роскошь и властвуют деньги и где капитал идет на все, что угодно, только не на разработку естественных богатств нашей страны. Благодарю вас, мне, пожалуйста, не разбавляйте!

Весьма возможно, что кое-что из этих прискорбных сведений просочилось в местную печать. Мне вспоминается передовая статья в газете «Страж Монте-Флета» под заглавием «Восток выдохся», в которой весьма пространно описывался ужасающий упадок нравов Нью-Йорка и Новой Англии, а Калифорния рекомендовалась как место, где можно обрести спасение в непосредственной близости к природе. «Может быть, нам следует добавить, — писал «Страж», — что состоятельным людям, при-

сзжающим с Востока, самые блестящие возможности предоставляет округ Калаверас».

Под конец Планкет заговорил о своей семье. Дочь, которую он оставил ребенком, выросла красавицей; сын уже перерос отца, и, когда они вздумали в шутку помериться силами, «этот мошенник» — притворно ворчливый голос рассказчика прерывался от чувства отцовской гордости — дважды положил своего любящего родителя на обе лопатки. Но самое значительное место в его рассказах отводилось дочери. Поощренный, по всей вероятности, явным интересом, который проявляло мужское население Монте-Флета к женской красоте, он долго распространялся о достоинствах и прелестях своей дочки и, наконец, на погибель слушателям показал фотографию очень хорошенькой девушки. Описание первой встречи с ней было настолько своеобразно, что я попытаюсь передать его здесь дословно, хотя речь Планкета не отличалась той обдуманностью выражений и тем изяществом слога, которые характеризовали его эпистолярный стиль.

— Понимаете ли, братцы, в чем дело, — говорил он, — по моему мнению, человек должен узнавать свою кровь и плоть чутьем. Десять лет прошло, как я не виделся с моей Мелинди, а она была тогда семилетней крошкой — вот такая маленькая. И по приезде в Нью-Йорк, как вы думаете, что я сделал? Заявился прямо домой, как в таких случаях полагается, и спросил жену и дочь?

Нет, сэр! Я переоделся разносчиком — да, сэр, разносчиком! — и позвонил к ним. Слуга открывает дверь, а я — соображаете, в чем дело? — предлагаю показать хозяикам кое-что из галантереи. Вдруг слышу сверху, с лестницы, чей-то голос: «Ничего не нужно, гоните его прочь!» — «Тонкие кружева, сударыня, контрабандный товар», — а сам смотрю наверх. А оттуда отвечают: «Убирайся вон, мошенник!» Я, братцы, сразу узнал голос жены, вернее верного, тут и чутья не нужно, и говорю: «Может, барышни себе что-нибудь выберут?» А жена: «Ты разве не слышал, что тебе было сказано?» И прямо на меня и выскочила. Ну, тут я живо убрался. Ведь вот, братцы, мы с моей старухой уже десять лет не виделись, а стоило только ей налететь на меня, и я давай бог ноги!

Планкет произносил эту речь у стойки — его обычное местонахождение, — но при последних словах он повернулся боком к слушателям и окинул их грозным взором,

который возымел свое действие. Те, кто проявлял некоторые признаки скептицизма или отсутствие интереса, сразу же сделали вид, что слушают его рассказ с увлечением и любопытством.

— Ну-с, дня два я слонялся вокруг да около и наконец узнал, что на следующей неделе рождение Мелинди и гостей будет тьма-тьмущая. Такой прием закатали, я вам скажу, просто чудо! Цветов — полно, весь дом сияет огнями, слуги так и бегают взад и вперед, угощение, прохладительные напитки, закуски...

— Дядя Джо!

— Ну?

— А откуда у них такие деньги?

Планкет смерил вопрошающего суровым взглядом.

— Я всегда говорил,— медленно ответил он,— что как только соберусь домой, то непременно пошлю наперед чек на десять тысяч долларов. Я всегда так говорил. А? Что? Ведь говорил, что поеду домой — вот и съездил, так ведь? Ну?

Была ли его логика необычайно убедительной, взяло ли верх желание дослушать рассказ до конца, но Планкета больше не перебивали. К нему быстро вернулось хорошее расположение духа, и, посмеиваясь себе под нос, он принялся рассказывать дальше.

— Пошел я в самый большой ювелирный магазин, купил бриллиантовые серьги, сунул их в карман и отправился домой. Открывает мне дверь молодчик, на вид этакая, понимаете ли, помесь лакея с проповедником, и спрашивает: «Как прикажете доложить?» Я говорю: «Скисикс». Провел он меня в гостиную, и через несколько минут вливает туда моя жена. «Простите, говорит, я что-то не припомню такой фамилии». Держится вежливо, потому что я нацепил на себя рыжий парик и бакенбарды. «Из Калифорнии, приятель вашего мужа, сударыня, привез подарок вашей дочке, мисс...» — будто забыл, как ее зовут. Вдруг слышу чей-то голос: «Нас, папаша, на эту удочку не поймал! — И выходит моя Мелинди. — Тоже, нашел как обманывать, забыл, видите ли, имя родной дочери! Ну, здравствуй, старина!» И с этими словами срывает она с меня парик, бакенбарды и кидается мне на шею. Чутье, сэр, вот что значит чутье!

Поощренный взрывом смеха, которым было встречено описание дочерних чувств Мелинди, старик Планкет повторил ее слова уже с некоторым добавлением и захохотал

громче всех, а потом весь вечер снова принимался довольно бессвязно рассказывать эту историю с самого начала.

И так в разное время, в разных местах — а преимущественно в салунах — рассказывал нам монте-флетский Улисс¹ о своих странствованиях. В этих рассказах встречались кое-какие несообразности, слишком много внимания в них уделялось деталям, иногда менялись и персонажи и место действия, раз или два повествование получило совершенно другой конец. Однако тот факт, что Планкет ездил навестить жену и детей, оставался неизменным.

Разумеется, среди таких скептиков, как скептики Монте-Флета, — в обществе, привыкшем загораться надеждой, которая редко осуществлялась в действительности, в обществе, где, пользуясь местным выражением, чаще, чем в других приисковых поселках, «копали золото, а натыкались на обманку», — рассказам старика Планкета не очень-то верили. Исключение составлял только один человек — Генри Йорк из Сэнди-Бара. Это он был самым внимательным слушателем Планкета; это его тощий кошелек сплошь и рядом финансировал безрассудные спекуляции Планкета; это ему чаще, чем другим приходилось выслушивать описание чар Мелинди; это он взял у старика ее фотографию, и он же, сидя однажды вечером у себя в хижине перед очагом, до тех пор целовал эту фотографию, пока его приятное, добродушное лицо не покраснело до корней волос.

Монте-Флет утонул в пыли. Долгий засушливый сезон всюду оставил свои следы; умирающее лето устало землю слоем красного праха по колени глубиной, и его предсмертный вздох поднял красные клубы пыли над дорогами. Запорошенные этой пылью тополя и ольховник вдоль реки словно заржавели, и казалось, что корни их, вместо того чтобы уходить в землю, растут прямо из воздуха; камни в руслах пересохших ручьев белели, точно кости, разбросанные по долине смерти. Заходящее в пыли солнце окрашивало склоны гор тусклым медным

¹ Улисс — так называли римляне Одиссея. В греческой мифологии Одиссей — царь острова Итака, участник осады Трои, главный герой поэмы Гомера «Одиссея». Славился хитростью, изворотливостью и отвагой.

светом; над вулканами далекого побережья то и дело появлялось зловещее неровное сияние; из горевшего на холме леса тянуло едким смолистым дымом, от которого у жителей Монте-Флета слезились глаза и перехватывало дыхание; свирепый ветер, гнавший перед собой все, что попадалось ему на пути, — в том числе и лето, вялое, как опавший лист, — бушевал вдоль отрогов Сьерры, заставляя людей прятаться по хижинам, и грозил им в окна посиневшим кулаком.

В такие вечера — ведь пыль до некоторой степени тормозила движение колесницы прогресса в Монте-Флете — многие обитатели поселка волей-неволей собирались в сверкающем позолотой баре отеля «Мокелумне», поплеывали на раскаленную печь, спасавшую их, бедных овец, от холодного ветра, и ждали, когда начнутся дожди.

В ожидании этого явления природы были испробованы все известные в Монте-Флете способы скоротать время, но поскольку они не отличались разнообразием и сводились главным образом к общедоступным шуткам, именующимся «разыгрыванием», за последнее время даже эта забава приняла форму солидного делового занятия. Томми Рой, убивший целых два часа на то, чтобы вырыть около своей двери яму, куда за вечер случайно попало несколько его приятелей, сидел с разочарованным и скучающим видом; четверо солидных граждан, под видом грабителей остановивших на дороге в Уингдэм окружного казначея, уже на следующее утро потеряли вкус к своей проделке; единственные в Монте-Флете врач и адвокат, участвовавшие в коварном заговоре против шерифа округа Калаверас, которому подсунули на подпись приговор о высылке из здешних мест медведя-гризли, представленного властям под псевдонимом майора Урсуса¹, ходили с видом усталым и отрешенным от всего земного. Даже редактор монте-флетского «Стража», написавший в то утро для развлечения подписчиков из Восточных штатов блистательный отчет о битве с каким-то индейским племенем, — даже он казался сумрачным и истомленным. И наконец, когда Эбнер Дин, только что вернувшийся из Сан-Франциско, вошел в бар и ему задали, как водится, совершенно невинные на первый взгляд вопросы, на которые он ответил, не подозревая ловушки, и был втянут в беседу, навлекшую

¹ *Ursus major* (лат.) — большой медведь.

позор и унижение на его голову, никого это не развеселило, а сам Эбнер, хоть и оказался потерпевшим, сумел сохранить невозмутимость. Повернувшись как ни в чем не бывало к своим мучителям, он сказал:

— У меня найдется кое-что посмешнее. Старика Планкета все знают?

Присутствующие, как по команде, разом плюнули на печку и утвердительно кивнули.

— Помните, он три года назад ездил домой?

Двое-трое сняли ноги со спинок стульев, а один человек ответил:

— Да.

— И хорошо погостил там?

Все неуверенно покосились на того, кто сказал «да», а он, вынужденный принять на себя тяжелое бремя и ответственность, через силу улыбнулся, сказал «да» еще раз и перевел дух.

— Повидался с женой и дочкой, — а дочка у него красавица? — продолжал осторожно расспрашивать Эбнер Дин.

— Да, — упрямо ответил все тот же человек.

— Может быть, вы и фотографию ее видели? — На этот раз голос Эбнера Дина прозвучал более уверенно.

Упрямец с беспомощным видом огляделся по сторонам, ища поддержки. Двое-трое соседей, только что поощрявшие его взглядами, теперь без зазрения совести стали равнодушно смотреть в другую сторону. Генри Йорк слегка покраснел и потупил свои карие глаза. Человек, говоривший «да», замялся, а потом с деланной улыбкой, которая должна была показать всем, что ему отлично известна цель этого вопроса и он сам, будучи в прекрасном настроении, тоже решил пошутить, снова сказал «да».

— Послал домой... дайте-ка вспомнить... десять тысяч долларов. Так ведь, кажется? — продолжал Эбнер Дин.

— Да, — упорствовал тот с прежней улыбкой.

— Все правильно, — спокойно заключил Эбнер. — Но дело-то в том, что он и не думал ездить домой, и духу его там не было.

Все уставились на Эбнера с неподдельным удивлением и любопытством, а он продолжал свой рассказ нарочито спокойно и лениво:

— Так вот, слушайте. Я повстречал во Фриско одного человека, который все эти три года прожил вместе с Планкетом в Соноре. Ваш старик разводил там то ли овец,

то ли рогатый скот, то ли спекулировал, причем без единого цента в кармане. А отсюда следует, что этот ваш Планкет с сорок девятого года ни шагу не сделал на восток от Скалистых гор.

Взрыв смеха, на который Эбнер Дин был вправе рассчитывать, действительно раздался, но в этом смехе слышались презрительные, злые нотки. Слушатели негодовали. Впервые они почувствовали, что надо знать меру и в шутках. Надувательство, которое тянулось полгода и набрасывало тень на прозорливость обитателей Монте-Флета, заслуживало сурового наказания. Планкету, конечно, никто не верил, но мысль о том, что в соседних поселках могли поверить, будто они поверили ему, наполняла их сердца горечью и злобой. Адвокат посоветовал притянуть Планкета к суду за вымогательство; врач, оказывается, давно уже замечал у старика признаки затемнения рассудка и теперь заявил, что не мешало бы посадить его в сумасшедший дом. Четверо видных коммерсантов потребовали в интересах местной торговли принять по отношению к обманщику решительные меры. В самый разгар этих горячих и сердитых споров дверь медленно отворилась, и в бар, пошатываясь, вошел старик Планкет.

За последние полгода он сильно изменился. Волосы у него стали какие-то желтовато-пыльные, точно трава на склонах Хэвитри-Хилла, лицо покрывала восковая бледность, под глазами появились лиловые мешки; грязная, потрепанная куртка носила спереди следы завтраков, наскоро поглощаемых прямо у стойки, а сзади была покрыта пухом и волосами, свидетельствуя о многих ночах, проведенных ее обладателем как придется и где придется. Подчиняясь странному закону, который гласит, что чем грязнее и неопрятнее у человека одежда, тем труднее ему расстаться с ней даже на ту часть суток, когда она меньше всего бывает нужна, платье старика Планкета постепенно превратилось в нечто похожее на кору или нарост, в возникновении которых его, собственно, нельзя было полностью обвинить.

И все-таки, войдя в комнату, он, видимо, решил отдать дань существующим требованиям чистоплотности и благообразия: застегнул куртку, чтобы прикрыть грязную рубашку, и пеловким движением, точно у него были когти, а не пальцы, поскреб бороду с застрявшими в ней крошками. Потом слабая улыбка исчезла с его губ, рука, машинально теребившая пуговицу, беспомощно опусти-

лась. Он заметил, что все глаза, за исключением одной пары, были устремлены на него. Обостренная подозрительность сразу подсказала ему, что здесь произошло. Его злосчастная тайна стала достоянием всех, она словно носилась в воздухе. Хватаясь за последнюю соломинку, старик с отчаянием взглянул на Генри Йорка, но тот сидел весь красный и смотрел в окно.

Все молчали. Бармен, не говоря ни слова, поставил на стойку графин и стакан. Старик взял с тарелки сухарь и принялся грызть его с подчеркнуто равнодушным видом, медленно потягивая виски, а когда алкоголь придал ему сил и усыпил его настороженность, он круто повернулся лицом к присутствующим и сказал с вызывающей развязностью:

— Что-то мне кажется, не видать нам дождей до самого рождества.

Все продолжали хранить молчание.

— Такая же осень была в пятьдесят втором году, потом в шестидесятом. Засуха проходит через определенные промежутки времени. Я и раньше это говорил и сейчас скажу. Все равно как про поездку домой. Мои слова всегда сбываются,— добавил он с отчаянной отвагой.

— А вот один человек уверяет, что ты и не ездил домой,— лениво и спокойно сказал Эбнер Дин.— Все три года, говорит, просидел в Соноре. С женой и с дочерью, говорит, не виделся с сорок девятого года. Шесть месяцев, говорит, дурачил весь поселок. Вот так-то!

Наступила мертвая тишина. Потом чей-то голос сказал, сказал не менее спокойно:

— Этот человек лжет.

Так ответил не старик, а кто-то другой. Все повернулись к Генри Йорку, который медленно встал, выпрямился во весь свой шестифутовый рост, смахнул с груди пепел, насыпавшийся из трубки, и, неторопливо подойдя к Планкету, повернулся лицом к остальным.

— Этого человека здесь нет,— невозмутимо проговорил Эбнер Дин, небрежным движением кладя руку на пояс, где у него висел револьвер.— Этого человека здесь нет, но если потребуется подтвердить его слова, что же, я готов.

Все вскочили со своих мест, когда двое мужчин, внешне самые спокойные в комнате, двинулись друг к другу. Адвокат стал между ними.

— Тут, видимо, какое-то недоразумение. Йорк, ты, наверно, знаешь, что старик ездил домой?

— Да.

— А откуда ты это знаешь?

Йорк устремил на адвоката ясный, правдивый, смелый взгляд своих карих глаз и, не сморгнув, впервые в жизни сказал чистейшую ложь:

— Я сам его там видел.

Ответ был исчерпывающий. Все знала, что в те годы, когда старика не было в Монте-Флете, Йорк ездил в Восточные штаты. Диалог между Йорком и адвокатом отвлек внимание присутствующих от Планкета, который, побледнев и еле переводя дух, смотрел на своего неожиданного спасителя. Но вот он снова повернулся к остальным, и в его взгляде было что-то такое, от чего ближайšie его соседи подались назад и даже самые отчаянные смельчаки и сорвиголовы почувствовали волнение. Врач, сам не зная почему, предостерегающе поднял руку, когда Планкет шагнул вперед и, не сводя глаз с раскаленной докрасна печки, не переставая как-то странно улыбаться, заговорил:

— Да, да, Йорк, конечно, ты меня там видел. А кто говорит, что не видел? Это суцая правда; я же собирался съездить домой — вот и съездил. Разве не так? Ей-богу, ездил! Кто говорит, что я вру? Кто говорит, будто мне это приснилось? Ну что же ты молчишь, Йорк? Ведь это суцая правда. Сказал, что видел меня, так повтори это еще раз! Ну, говори! Говори! Ведь это правда? Вот опять, опять начинается! О господи — опять! Помогите! — И с пронзительным воплем упав на пол, несчастный забился в припадке.

Очнувшись, старик увидел, что лежит в хижине Йорка. Мерцающий огонь горевших в очаге сосновых веток освещал бревенчатые стены, падал на фотографию в искусном обрамлении из еловых шишек, повешенную над связкой хвороста, которая служила старику ложем. На фотографии была изображена молоденькая девушка. На ней первой остановились глаза Планкета; щеки его залило краской смущения, он вздрогнул и быстро осмотрелся по сторонам. Но взгляд его встретился только с взглядом Йорка — ясным, недоверчивым, терпеливым, — и он снова потупился.

— Скажи, старик, — заговорил Йорк вовсе не сурово, но с тем же холодком, который мгновением раньше про-

скользнул в его взгляде, — скажи, неужели и это ложь? — И он показал на портрет.

Планкет молча закрыл глаза. Два часа назад такой вопрос толкнул бы его на какую-нибудь хитрость или похвальбу. Но теперь разоблачение, слышавшееся в этом вопросе, и самый тон Йорка успокоили несчастного старика. Теперь даже его затуманенному мозгу стало ясно, что Йорк лгал в салуне. Теперь он знал наверное, что не ездил домой и что еще не лишился рассудка, как это ему представилось вначале. Он почувствовал огромное облегчение, а вслед за облегчением к нему вернулось его обычное легкомыслие и сумасбродство. Он хмыкнул, улыбнулся и вдруг захохотал во все горло.

Йорк отнял руку, лежавшую на руке старика.

— А здорово мы их провели, Йорки? Хе-хе-хе! Таких шуток в нашем поселке еще никто не разыгрывал! Я всегда говорил, что надо их когда-нибудь одурачить — вот и дурачил целые полгода. Скажешь, плохо получилось? Ты смотрел на Эбнера, когда он рассказывал про того человека, который видел меня в Соноре? Ну и потеха — как в театре! Ох, сил моих нет! — И, хлопнув себя по ляжке, он так оглушительно захохотал, что чуть не свалился со своего ложа. Но смех его был не совсем искренний.

— Это ее фотография? — тихо спросил Йорк после небольшой паузы.

— Дочери? Да нет! Это одна певичка из Сан-Франциско, хе-хе-хе! Я купил ее карточку в книжной лавке за четверть доллара. У меня тогда и в мыслях не было, что они пойдут на эту удочку, а ведь пошли! Ну и одурачил их старик! Здорово одурачил, а? — говорил он, с любопытством присматриваясь к Йорку.

— Да, меня он тоже одурачил, — сказал Йорк, глядя старику прямо в глаза.

— Да, да, конечно, — торопливо перебил его Планкет, — но ты, Йорк, прекрасно вышел из положения да еще других обставил. Мы с тобой подцепили их на удочку. Нам теперь надо держаться друг за дружку. Ты молодец, Йорки, молодец. Когда ты сказал, что мы с тобой встречались в Нью-Йорке, я, вот ей-богу, и на самом деле...

— Что «на самом деле»? — спросил Йорк, не повышая голоса, так как старик вдруг запнулся, побледнел и блуждающим взглядом обвел комнату.

— А?

— Ты говорил: когда я сказал, что мы с тобой виделись в Нью-Йорке, ты и на самом деле...

— Ложь! — злобно крикнул старик. — Я ничего такого не говорил. Думаешь поймать меня на слове? А? — Руки у него задрожали. Бормоча что-то себе под нос, он встал со своего ложа и подошел к очагу.

— Дай виски, и хватит болтать. Хочешь не хочешь, а придется тебе разориться на угощение. И тем, в салуне, тоже не мешало бы. Я бы их заставил, только вот скрутило меня.

Йорк поставил на стол бутылку виски и оловянную кружку, подошел к двери и, повернувшись к своему гостю спиной, стал смотреть на улицу. Ночь была ясная, лунная, и все же знакомые места никогда еще не казались Йорку такими унылыми. Безлюдная, уходящая вдаль широкая дорога на Уингдэм никогда еще не казалась ему такой однообразной. Она была так же похожа на прожитую им жизнь и на те дни, которые еще предстоит прожить, так похожа на жизнь старика, который тоже вечно куда-то стремился и не достигал своей цели. Йорк подошел к Планкету и, положив ему руку на плечо, сказал:

— Ответь мне на один вопрос, только по-честному, без утайки.

Спиртное, видимо, согрело вялую кровь старика и умерило его злобу, потому что лицо, смотревшее сейчас на Йорка, смягчилось и стало более серьезным.

— Спрашивай, друг!

— Есть у тебя жена и... и дочь?

— Есть, как перед богом!

Несколько минут оба молчали и смотрели на огонь. Потом, медленно потирая руками колени, Планкет заговорил.

— Если уж выкладывать начистоту, то жена у меня не бог весть какая, — осторожно начал он. — Малость она грубовата, и не хватает ей, так сказать, калифорнийской широты взглядов, а все это, вместе взятое, — сочетание неважное. Откровенно говоря, хуже и не придумаешь. Язык у нее всегда наготове, как револьвер у Эбнера Дина, с той только разницей, что она, по ее собственному выражению, кидается на людей из принципа, а следовательно, ни охнуть ни вздохнуть тебе не дает. Да, да, дружище. Восток выдохся, это и губит ее, — набралась в Нью-Йорке и Бостоне разных идей, вот и довела и себя и меня бог знает до чего. Идеи идеями, а на людей не

кидайся. С такими наклонностями надо бы держаться подальше от принципов, все равно как от огнестрельного оружия.

— А дочь? — спросил Йорк.

Старик закрыл лицо руками и повалился головой на стол.

— Не говори о ней, не спрашивай меня сейчас!

Не отнимая правой руки от лица, он стал шарить по карманам в поисках платка, но так ничего и не нашел. По этой ли или по другой причине, но ему удалось подавить слезы, и когда он поднял голову, глаза у него были совершенно сухие. Тут к нему вернулся дар слова:

— Дочка у меня красавица, писаная красавица. Ты, друг, сам ее увидишь, обязательно увидишь и тогда скажешь, прав был отец или нет. Теперь у меня все налажено. Дня через два я усовершенствую свой метод обогащения руды. Здешные плавильные заводы рвут меня на части.— Второпях он вытащил из кармана пачку бумаг, уронил их и, подбирая с пола свои драгоценные документы, бормотал: — Я хочу выписать сюда семью. Не пройдет и месяца, как вот эти бумажки принесут мне тысяч десять долларов. Я не я буду, а к рождеству они приедут сюда, и ты сядешь с нами за праздничный стол, Йорк, вот помяни мое слово, дружище!

Виски окончательно развязало язык старику. Он продолжал бессвязно лепетать о своем грандиозном проекте, приукрашивая его подробностями и по временам даже говоря о нем, как о чем-то законченном. Все это продолжалось до тех пор, пока луна не поднялась высоко в небе, и тогда Йорк снова уложил его. Он еще долго бормотал что-то непонятное, потом забылся тяжелым сном. Убедившись, что старик спит, Йорк осторожно снял со стены портрет в рамке из еловых шишек, бросил его на тлеющие угли и сел перед очагом.

Шишки вспыхнули сразу; вслед за ними загорелось и изображение той, которая каждый вечер очаровывала театральную публику Сан-Франциско, загорелось и исчезло... как собственно и подобает таким вещам. Мало-помалу исчезла и насмешливая улыбка на губах Йорка. А потом кучка углей вдруг рассыпалась, и внезапная вспышка огня осветила сложенный вдвое лист бумаги, вероятно выпавший вместе с другими у старика из кармана. Когда Йорк машинально поднял его, оттуда выскользнула фотография молоденькой девушки. На обороте

ее корявым почерком было написано: «Папе от Мелинди».

Фотография была плохонькая, но — боже мой! — даже изощренная лесть самого высокого искусства не могла бы приукрасить угловатость фигуры этой девушки, ее вульгарное самодовольство, дешевый наряд, лишённые мысли, грубоватые черты лица. Йорк не стал разглядывать карточку. Он взялся за письмо, думая найти утешение хотя бы в нем.

Письмо пестрело ошибками, знаки препинания в нем отсутствовали, почерк был неразборчивый, тон раздражительный, эгоистичный. Боюсь, что даже несчастья той, кто его писала, не отличались оригинальностью. Это была неприкрашенная повесть о нищете, сомнениях, мелких уловках, сделках с совестью, убогих горестях, еще более убогих желаниях, о несчастье, которое унижает человека, о печали, которая вызывает к себе только жалость. Но тем не менее сквозившая в письме потребность в близости этого недостойного человека, которому оно было адресовано, и привязанность к нему казались искренними, хотя в основе всего этого лежал скорее инстинкт, чем осознанное чувство.

Йорк бережно сложил письмо, сунул его старику под подушку и снова сел к очагу. Улыбка, от которой резче проступили складки в уголках его рта, прикрытого усами, постепенно перебралась в ясные карие глаза и там потухла. Но в глазах она задержалась дольше всего и, — хоть это и покажется странным тому, кто мало знает Йорка, — оставила после себя слезу.

Он долго сидел у очага, сгорбившись, опустив голову на руки. Ветер, воевавший с парусиновой крышей, вдруг приподнял ее с одного конца. Полоска света, скользнув в комнату, сверкающим лезвием легла на плечо Йорка. И возведенный в рыцарское достоинство этим прикосновением, скромный, честный Генри Йорк встал с места, встал бодрый, воодушевленный высокой целью и уверенный в своих силах.

Наконец пришли дожди. Склоны гор явно начинали зеленеть, а уходившая вдаль белая дорога на Уингдэм, насколько хватал глаз, терялась среди луж и озер. Русла пересохших ручьев, протянувшиеся по равнине, точно белые кости какого-то допотопного ящера, снова наполнились водой; вода зажурчала по долине, принося с собой

радость старателям и порождая вполне простительные преувеличения на страницах монте-флетского «Стража».

«Впервые в истории нашего округа мы добились такой крупной выработки. Наш почтенный собрат по перу из «Хилсайдского маяка», иронизирующий по поводу того факта (?), что достойнейшие граждане Монте-Флета покидают затопленный поселок в «утлых челнах», будет рад услышать следующую новость: уважаемый всеми нами наш согражданин мистер Генри Йорк, уехавший сейчас на Восток навестить родных, вывез на таком вот «утлом челне» скромную сумму в пятьдесят тысяч долларов, полученную за золото, намытое им в течение одной недели. Мы склонны думать,— продолжала эта жизнерадостная газета,— что у Хилсайда нет оснований опасаться подобных «бедствий» в наступающем сезоне, просто «Маяк» ратует за постройку железной дороги».

Некоторые газеты ударились в поэзию. Телеграфист из Симсона передал в сакраментскую «Вселенную» следующую телеграмму: «Весь день с утра и до поздней ночи отягощенные облака изливали на землю свою влагу». Одна газета в Сан-Франциско разразилась стихами, подав их в виде передовой статьи: «Ликуйте! Легкий дождь шумит и скачет по холмам, и в каждой капле дождевой он радость шлет лугам. Ликуйте!» — и так далее.

И в самом деле, дождь принес радость всем, только не Планкету. Каким-то совершенно непонятным таинственным образом дождь помешал усовершенствованию нового метода обогащения руды и отдалил рождение этого новшества еще на целый год. Неудача снова привела Планкетта на его обычное место в салуне, где он и проводил время, повествуя равнодушной аудитории о Востоке и о своей семье.

Планкету не мешали говорить. Ходили слухи, что неизвестное лицо или лица внесли хозяину салуна некоторую сумму денег на удовлетворение скромных потребностей старика. К его чудачеству — так снисходительно истолковывали в Монте-Флете одержимость этого человека — относились настолько терпимо, что даже принимали его приглашение отобедать с ним в семейном кругу в первый день рождества, а такого приглашения удоставался каждый, с кем ему приходилось выпивать или беседовать. Но в один прекрасный день он удивил всех, вбежав в салун с письмом в руках. Там было написано следующее:

«Готовьтесь принять семью в первый день рождества в новом коттедже на Хэвитри-Хилле. Приглашайте гостей.

Генри Йорк».

Письмо молча передавали из рук в руки. Старик обводил всех взглядом, в котором сквозили то надежды, то страх. Врач многозначительно поднял брови.

— Явное надувательство,— тихо сказал он.— Чего другого, а хитрости у таких хватает. Они на это мастера. Только довести свой замысел до конца он не сможет. Смотрите, что сейчас будет... Слушай старик,— сказал он громко и внушительно.— Это же обман, надувательство! Ну-ка, признавайся, да гляди мне прямо в глаза. Провести нас вздумал?

Планкет с минуту смотрел на него в упор и наконец потупился. Потом сказал, улыбнувшись бессильной улыбкой:

— Где мне с вами тягаться, друзья! Доктор верно говорит. Игра проиграна. Можете теперь со старика подковы содрать.— Пошатываясь, дрожа всем телом, слабо посмеиваясь, он занял свое обычное место у стойки и погрузился в молчание. Но уже на следующий день все было забыто, и снова началась болтовня о предстоящем празднестве.

Пробежали дни, недели, наступил первый день рождества — яркий, солнечный, согретый южным ветром, веселящий сердце пробивающейся повсюду молодой травкой. И в этот день в салуне вдруг поднялась суматоха. Эбнер Дин подбежал к дремавшему на стуле Планкету и принялся тормошить его.

— Старик, проснись! Йорк приехал, жена с дочерью дожидаются тебя в коттедже на Хэвитри-Хилле! Пойдем, старик! Ну-ка, друзья, поможем ему! — И несколько пар сильных рук с готовностью подняли старика, торжественно пронесли его сначала по улице, потом вверх по крутому склону горы и опустили, вырывающегося, оторопелого, у порога маленького коттеджа. В ту же самую минуту навстречу ему кинулись две женщины, но Генри Йорк остановил их.

Старик еле стоял на ногах. Дрожа всем телом, он сделал над собой мучительное усилие и выпрямился во весь рост. Взгляд его застыл, щеки посерели, голос прозвучал глухо:

— Все это обман, ложь! Они не родные мне, они чужие! Это не моя жена, не моя дочь. Моя дочь — красавица! Слышите вы? Красавица! Она в Нью-Йорке, у матери, я привезу ее сюда. Я говорил, что поеду домой, и я ездил домой — слышите? Я ездил домой! Стыдно издеваться над стариком! Пустите меня! Уберите отсюда этих женщин. Пустите меня. Я поеду домой... домой!

Он судорожно взмахнул руками, рванулся в сторону, упал боком на ступеньки и скатился наземь. Его кинулись поднимать, но помощь опоздала: старик Планкет отправился домой.

ЧЕЛОВЕК ИЗ СОЛАНО



Он подошел ко мне в фойе оперного театра, в антракте, любопытная фигура, какой не увидишь даже на сцене. Его костюм, в котором не было и двух частей одного цвета, был, по-видимому, куплен и надет за час или за два до спектакля — на это прямо указывал ярлык магазина готового платья, пришитый к воротнику и довольно назойливо сообщавший несколько не заинтересованной публике номер, размер и ширину одеяния. Складка на его брюках была так сильно заглажена, как будто он родился плоским и с течением времени разбух, а вдоль спины шла еще одна складка, как у тех человечков, которых дети вырезают из сложенной бумаги. Могу прибавить, что по лицу его было не заметно, чтобы он это сознавал, — лицо было добродушное и, если не считать квадратного подбородка, совершенно неинтересное и заурядное.

— Забыли меня, — сказал он кратко, протягивая руку, — а ведь я из Солано, в Калифорнии. Мы там встречались весной пятьдесят седьмого года. Я пас овец, а вы жгли уголь.

В этом напоминании не было и следа намеренной грубости. Просто устанавливался факт, так это и следовало понимать.

— Я вас вот зачем окликнул, — сказал он, когда мы обменялись рукопожатием. — Минуту назад я видел вас вон в той ложе, вы болтали с девушкой, — такая бойкая, недурненькая. Не скажее ли вы, как ее зовут?

Я назвал известную красавицу из соседнего города, которая в последнее время волновала сердца жителей Нью-Йорка; в особенности был ею пленен блестящий

и очаровательный молодой Дэшборд, стоявший рядом со мной.

Человек из Солано подумал с минуту и сказал:

— Так и есть! Фамилия та самая! Это она и есть!

— Вы с ней знакомы? — спросил я в изумлении.

— Д-да, — ответил он с заминкой. — Я познакомился с ней месяца четыре назад. Она ездила по Калифорнии со своими знакомыми, и первый раз я ее увидел в поезде, не доезжая Рено. Она потеряла багажную квитанцию, а я нашел ее на полу, отдал ей, и она меня поблагодарила. Вот я и думаю: пожалуй, неловко будет не зайти к ней, знакомая все-таки. — Он замолчал и вопросительно взглянул на нас.

— Уважаемый, — вмешался блестящий и очаровательный Дэшборд, — если вы сомневаетесь, приличен ли ваш костюм, прошу вас, не задумывайтесь ни на минуту. Обычай — тиран, это верно, он заставляет нас с вашим другом одеваться на особый лад. Но, смею вас уверить, оливково-зеленый цвет вашего сюртука великолепно сочетается с нежной желтизной галстука, а жемчужно-серые панталоны гармонируют с ярко-голубым жилетом и прекрасно оттеняют блеск вашей массивной часовой цепочки нового золота.

К моему удивлению, человек из Солано не стал его бить. Он с невозмутимой серьезностью взглянул на насмешника и спокойно сказал:

— Так вы, может, не откажетесь проводить меня к ней?

Надо сознаться, Дэшборд слегка растерялся. Но тут же овладел собой и с ироническим поклоном повел его в ложу. Я пошел за ними.

Красавица оказалась воспитанной девушкой, дочерью воспитанной матери и внучкой воспитанной бабушки и, когда Дэшборд, не щадя соланца, иронически представил его, сразу поняла положение. К удивлению Дэшборда, она придвинула стул, усадила соланца рядом с собой и, повернувшись спиной к Дэшборду, вступила с ним в беседу на виду у блестящей публики, которая устала на нее не меньше сотни лорнетов.

Здесь, чтобы придать рассказу романтичность, мне хотелось бы сказать, что соланец оживился и показал себя с лучшей стороны — проявил блестящее остроумие или природный ум. Но нет, он оказался как нельзя более скучен и глуп. В разговоре он то и дело возвращался

к потерянной багажной квитанции, и все попытки девушки отвлечь его от этой темы терпели неудачу. Наконец, к общему удовольствию, он встал и, наклонясь к ней, сказал:

— Мисс, я рассчитываю еще остаться здесь на время, а так как мы оба с вами здесь чужаки, то, может, вы позволите, если будет еще какое-нибудь представление вроде этого...

Мисс Х. ответила довольно поспешно, что она слишком занята и в Нью-Йорке пробудет очень недолго, а потому боится, что... и т. д., и т. п.

Две другие дамы в ложе прикрыли рты платками и, не отрываясь, смотрели на сцену, а человек из Солано продолжал:

— В таком случае, мисс, если вы сами соберетесь куда-нибудь, закиньте мне письмецо в Эрлс-отель, вот по этому адресу...— И он вытащил из кармана десяток затрепанных писем, снял с одного из них желтый конверт и подал ей с чем-то вроде поклона.

— Ну еще бы,— шутливо вмешался Дэшборд,— завтра мисс Х. едет на благотворительный бал. Билеты стоят пустяк для человека с вашими средствами, а цель весьма достойная. Конечно, вы без труда достанете приглашение.

Мисс Х. подняла на Дэшборда свои прекрасные глаза.

— Конечно,— сказала она, обернувшись к человеку из Солано,— мистер Дэшборд как раз один из распорядителей и, раз у вас здесь нет знакомых, он, разумеется, пришлет вам почетное приглашение. Я давно знаю мистера Дэшборда, и мне известно, что он джентльмен и всегда любезен с малознакомыми людьми.— Она снова повернулась к сцене.

Житель Солано поблагодарил жителя Нью-Йорка и, пожав всем руки, направился к выходу. Дойдя до двери, он обернулся к мисс Х. и сказал:

— Ну и ловко же получилось, мисс, что я нашел эту самую квитанцию!

Но занавес уже поднялся, открывая сцену в саду (давали «Фауста»), и мисс Х. вся ушла в созерцание. Соланец осторожно закрыл за собой дверь ложи и удалился. Я вышел за ним.

Он молчал, пока мы не дошли до фойе, затем сказал, как будто продолжая разговор:

— Девушка бойкая, что и говорить. Как раз в моем вкусе, и жена из нее выйдет что надо.

Я подумал, что человек из Солано может попасть в беду, и поспешил сказать ему, что она окружена поклонниками, может сделать свой выбор в самом лучшем обществе и, по всей вероятности, помолвлена с Дэшбордом.

— Что и говорить,— сказал он спокойно, без малейших признаков волнения,— странно было бы, если бы у нее не было жениха. А я, пожалуй, отправлюсь в отель. Не люблю, признаться, этого завывания. (Он говорил о каденции знаменитой певицы сеньоры Батти-Батти.) Который час?

Он вынул часы. Цепочка была такой грубой, такой явной подделкой, что я уставился на нее как замороженный.

— Вы смотрите на мои часы? — сказал он.— На вид красивые, а ход ни к черту не годится. А ведь обошлись в сто двадцать пять долларов золотом. Я подцепил их третьего дня на Чатам-стрит, очень дешево продавались на аукционе.

— Вас бессовестно надули,— сказал я с возмущением.— Часы вместе с цепочкой и двадцати долларов не стоят.

— А пятнадцать стоят? — спросил он серьезно.

— Может быть.

— Тогда, пожалуй, я не прогадал. Я, видите ли, сказал им, что я калифорниец из Солано и бумажных денег у меня с собой нет. У меня было три пластинки. Помните пластинки?

Я помнил: «пластинка» — это был денежный знак, имевший хождение в те далекие дни,— шестиугольный кусочек золота ценой в пятьдесят долларов, раза в два больше двадцатидолларового золотого.

— Ну, я и подсунул им пластинки, а они подсунули мне часы. Знаете ли, эти пластинки я сам делал из медных опилок и железного колчедана и шутки ради подсовывал нашим ребятам, когда играли в покер. Это нельзя считать фальшивой монетой: пластинки ведь не настоящие деньги. Мне они, пожалуй, обошлись долларов в пятнадцать, если считать время и труды. Так если эти самые часы стоят пятнадцать долларов, значит, я не прогадал. Верно?

Я начинал понимать человека из Солано и ответил утвердительно. Он спрятал часы в карман и заметил, поигрывая цепочкой:

— Пожалуй, с такими часами можно сойти за франта и богача.

Я согласился.

— А чем вы собираетесь здесь заняться? — спросил я.

— Что ж, у меня наберется долларов семьсот наличными. Думаю наведаться на Уолл-стрит, понюхать, чем пахнет, может, подвернется какое-нибудь дельце.

Я хотел было сказать ему несколько слов, предостеречь его, но, вспомнив про часы, воздержался. Мы пожали друг другу руки и разошлись.

Через несколько дней я встретил его на Бродвее. Он был уже в другом, новом костюме, и мне показалось, что с внешней стороны он сделал некоторые успехи. В его одежде насчитывалось всего пять разных цветов. Но это, как я убедился впоследствии, оказалось чистой случайностью.

Я спросил, был ли он на балу. Оказалось, что да.

— Эта девушка — и бойкая же девушка! — тоже там была, только она как будто сторонилась меня. Я нарочно для бала купил новый костюм, а эти лакеи загнали меня в ложу, так мне и не удалось поговорить с ней насчет багажной квитанции. Зато этот франт, Дэшборд, был очень со мной любезен. Привел ко мне в ложу целую компанию молодых людей и девиц и тут же пообещал сводить меня на Уолл-стрит и на биржу. А на следующий день зашел за мной. И я вложил долларов пятьсот в эти самые акции, а может, и больше. Мы, знаете ли, поменялись с ним акциями. У меня, видите ли, нашлось десять акций медного рудника «Павлин», где вы были раньше секретарем.

— Да ведь эти акции ни гроша не стоят. Все это дело лопнуло еще десять лет назад.

— Что ж, может быть, вам лучше знать, но ведь я тоже ничего не знал насчет «Общества Газонефть» или «Коммунико-Централь», я и подумал, что одно другого стоит. А купленные бумаги я тут же продал и ушел с прибылью в четыреста долларов. Риск все-таки был: ведь акции «Павлина» могут и подняться!

Я посмотрел ему в лицо: невозмутимо спокойное, совершенно обыкновенное лицо. Я стал побаиваться соланца, вернее, того, что я так плохо в нем разбираюсь. Мы обменялись несколькими словами, пожали друг другу руки и разошлись.

Прошло несколько месяцев, прежде чем я опять увидел человека из Солано. Оказалось, что за это время он успел стать маклером и завести маленькую контору на

Брод-стрит, и дела его процветали. Я вспомнил нашу первую встречу и спросил, удалось ли ему возобновить знакомство с мисс Х.

— Я узнал, что этим летом она будет в Ньюпорте, и поехал туда на недельку.

— И поговорили с ней насчет багажной квитанции?

— Нет,— сказал он степенно,— она поручила мне купить кое-какие бумаги. Видите ли, по-моему, эти щеголи подняли ее на смех из-за меня, и она решила перевести наше знакомство на деловую ногу. Я вам говорю, она девушка бойкая. Вы слышали, что с ней случилось?

Я не слышал.

— Вот видите ли, она каталась на яхте, и я тоже достал себе приглашение через одного из этих модников. А все это затеял один тип, который, говорят, собирается на ней жениться. Ну и вот, в один прекрасный день налетел шквал, гик повернулся и столкнул ее за борт. И поднялось же тут столпотворение — может быть, слышали?

— Нет!

Но я понял все чутьем писателя в минуту поэтического озарения! Этот бедняга по своей неловкости не умел выразить ей свою любовь и вот нашел наконец подходящий случай. Он...

— Такая поднялась суматоха,— продолжал он.— Я подбежал к поручням и увидел, что она ярдов в десяти от меня, эта миленькая, бойкая девушка, и я...

— И вы бросились за ней? — поспешил я сказать.

— Нет,— отвечал он невозмутимо.— Я подождал, пока другой за ней бросится. А сам только смотрел.

Я в изумлении уставился на него.

— Нет,— продолжал он совершенно серьезно.— Бросился-то он, кому же другому и бросаться, это уже его забота. Видите ли, если бы я плюхнулся за борт яхты, барахтался бы, вертелся и в конце концов пошел бы ко дну, этот другой, само собой, бросился бы и спас ее, а ведь он все равно собирался на ней жениться, так чего же ради я стал бы стараться? А вот если бы он бросился да не спас ее и сам утонул бы, тогда и мне представился бы случай, а кстати и он убрался бы с дороги. Вижу, вы меня не понимаете кажется, вы меня и в Калифорнии не понимали.

— Так он ее спас?

— Ну еще бы! Да и что могло с ней случиться? Если

бы он ее упустил, я бы вмешался. Не было смысла за него стараться, пока он не сплеховал.

Эта история получила огласку. Над человеком из Солано стали насмехаться еще откровеннее, его приглашали забавы ради на вечера, и там он встречался со многими людьми, которых иначе не увидел бы. Стало известно также, что у него уже не семьсот долларов, а гораздо больше и что его дела идут все лучше и лучше. Некоторые калифорнийские бумаги, на моих глазах погребенные в могиле навеки, каким-то чудом воскресли, и я помню, что, просматривая биржевую страницу, испугался словно привидения, когда со столбцов утренней газеты на меня глянуло набальзамированное и размалеванное акционерное общество рудников «Мертвый берег». В конце концов многие стали относиться к человеку из Солано с почтением, его даже начали опасаться. И вот эти опасения оправдались.


Он уже давно изъявлял желание вступить в один «аристократический» клуб, и потехи ради его пригласили в этот клуб, где развлекали целым рядом веселых мистификаций, завершившихся карточной игрой. На другой день рано утром, проходя мимо клуба, я услышал оживленный разговор двух или трех членов:

- Всех до нитки обобрал.
- Надо полагать, загреб тысяч сорок.
- Кто? — спросил я.
- Человек из Солано.

Я пошел дальше, но один из пострадавших, известный своей опытностью на зеленом поле, нагнал меня и, хлопнув по плечу, спросил:

- Скажите по совести, чем занимался этот ваш приятель в Калифорнии?
- Он был пастухом.
- Кем?
- Пастухом. Пас овец на медвяных лугах Солано.
- Ну, доложу я вам, черт бы побрал эти ваши калифорнийские пасторали!¹

¹ Пастораль — описание мирных сцен пастушеской жизни. Здесь подразумевается несоответствие между безмятежным занятием человека из Солано в прошлом и его деловитостью в настоящем.



III

Первые признаки чудаковатости появились у завещателя, если не ошибаюсь, весной 1854 года. В ту пору он был обладателем порядочного имения (заложенного и перезаложенного одному хорошему знакомому) и довольно миловидной жены, на привязанность которой не без некоторых оснований притязал другой его хороший знакомый. В один прекрасный день завещатель втихомолку вырыл или велел вырыть перед своей парадной дверью глубокую яму, куда за один вечер ненароком провалились кое-кто из его хороших знакомых. Упомянутый случай, сам по себе незначительный, указывал на юмористический склад ума этого джентльмена, что могло бы при известных обстоятельствах пойти ему на пользу в литературных занятиях, но любовник его жены, человек весьма проницательный, к тому же словивший ногу при падении в яму, придерживался на этот счет иных взглядов.

Спустя несколько недель после этого происшествия, обедая в обществе жены и других ее друзей, он встал из-за стола, предварительно извинившись, и через две-три минуты появился под окном с насосом в руках, из которого и окатил водой всю честную компанию. Кое-кто пытался возбудить по этому поводу судебное дело, но большинство граждан Рыжей Собаки, не приглашенных к обеду, заявили, что всякий волен увеселять своих гостей, как ему вздумается. Тем не менее в Рыжей Собаке начали поговаривать, не повредился ли этот джентльмен в рассудке. Жена вспомнила несколько других его выходов, явно свидетествовавших об умопомешательстве; искалеченный любовник утверждал на основании личного опыта, что избежать членовредительства она сможет, только по-

кинув дом супруга, а владелец закладной, опасаясь за свою собственность, представил закладную ко взысканию. Но тут этот человек, вызвавший столько тревог, повернул дело по-своему — другими словами, исчез.

Когда мы опять услышали о нем, оказалось, что он каким-то непонятным образом уже успел избавиться и от жены и от имущества, живет один в Роквилле, в пятидесяти милях от Рыжей Собаки, и издает там газету. Однако оригинальность, которую он проявил при разрешении вопросов личной жизни, будучи применена к вопросам политики на страницах «Роквиллского авангарда», не имела ни малейшего успеха. Забавный фельетон, выданный за достоверное описание того, как кандидат противной партии убил китайца, бравшего у него белье в стирку, повлек за собой — увы! — потасовку и оскорбление действием. Чистейший плод фантазии — описание религиозного подъема в округе Калаверас, возглавляемого якобы шерифом, известным скептиком и нечестивцем, — привел к тому, что власти округа перестали давать объявления в газету.

В самый разгар всех этих неурядиц наш герой скоропостижно скончался. Вскоре выяснился еще один факт, послуживший прямым доказательством его умственного расстройства: он оставил завещание, которым передал все свое имущество веснушчатой служанке из гостиницы «Роквилл». Но это расстройство мыслительных способностей обернулось серьезной стороной, ибо вскоре стало известно, что в числе прочих бумаг в наследство входила и тысяча акций прииска «Восходящего Солнца», неслыханно подскочивших в цене дня через два после кончины завещателя, когда все еще хохотали над его нелепым благодеянием.

По приблизительным подсчетам, состояние, которым завещатель распорядился с таким легкомыслием, составляло теперь около трех миллионов долларов! Воздавая должное предприимчивости и энергии граждан нашего молодого процветающего поселка, следует сказать, что среди них, вероятно, не было ни одного, который не считал бы себя способным распорядиться имуществом покойного чудака с большим толком. Некоторым случилось выражать сомнение, смогут ли они прокормить семью; другие, будучи избранными в присяжные, вероятно, слишком глубоко чувствовали связанную с этим ответственность и уклонялись от исполнения граждан-

ского долга; третьи отказывались служить за маленькое жалованье, но ни одна душа не отказалась бы заступить место Пегги Моффет, наследницы этого человека.

Завещание стали оспаривать. Первой выступила на сцену вдова, с которой покойный, как оказалось, не был официально разведен; потом четверо двоюродных братьев, которые, хоть и с некоторым опозданием, но все же оценили моральные и материальные достоинства своего родственника. Однако наследница — невзрачная, простоватая, необразованная девушка — проявила крайнее упорство, отстаивая свои права. Она отказалась пойти на какие-либо уступки. Элементарное чувство справедливости, которое было у ее сограждан, сомневавшихся в том, что эта девушка сможет управиться с таким состоянием, подсказывало им, что она должна удовольствоваться тремястами тысячами долларов.

— Все равно и этими деньгами попользуется какой-нибудь прощелыга, но дарить такому три миллиона только за то, что он сделает ее несчастной, пожалуй, многовато. Незачем вводить в соблазн мошенников.

Протест против таких рассуждений сорвался только с насмешливых губ мистера Джека Гемлина.

— А предположим, — сказал этот джентльмен, круто поворачиваясь к оратору, — предположим, что в пятницу вечером, когда вы выиграли у меня двадцать тысяч долларов, я, вместо того чтобы вручить вам деньги, заартачился бы и заявил: «Слушайте, Билл Уэзерсби, вы круглый болван. Если я отдам вам эти двадцать тысяч, вы спустите их во Фриско в первом же притоне и осчастливите первого встречного шулера. Вот вам тысяча — хватит на мотовство, — берите и проваливайте ко всем чертям!» Предположим, что в моих словах была бы святая истина и вы бы прекрасно это знали: справедливо я поступил бы по отношению к вам или нет?

Но Уэзерсби тут же указал на неуместность такого сравнения, заявив, что он тоже кое-что поставил на карту.

— А откуда вы знаете, — свирепо спросил Гемлин, устремив свои черные глаза на оторопевшего казуиста, — откуда вы знаете, что эта девушка не шла ва-банк?

Тот пробормотал в ответ что-то нечленораздельное. Гемлин положил ему на плечо свою холеную руку.

— Вот что я вам скажу, друг мой: какую бы игру девушка — любая девушка — ни вела, она идет ва-банк и ставит на карту все, что у нее есть, в этом вы можете

быть уверены. Случись ей вооружиться картами, а не чувствами, играть на фишки, а не рисковать телом и душой, — она сорвала бы все банки на всех зеленых столах отсюда до Фриско! Понятно?

Кое-что из этого — боюсь, впрочем, что в менее сентиментальной форме — дошло и до самой Пегги Моффет. Лучший законник Сан-Франциско, которого удалось заполучить вдове и родственникам, в частном разговоре с Пегги объяснил, что ее считают чуть ли не преступницей, неблагоприятными путями снискавшей милость пожилого, выжившего из ума джентльмена, чтобы завладеть его состоянием. Если она доведет дело до суда, ее репутация будет погублена. Говорят, что, услышав это, Пегги бросила мыть тарелку и, теребя в руках полотенце, устремила на адвоката свои крохотные голубые глазки.

— Так вот, значит, что про меня люди болтают?

— Увы, милая барышня, свет весьма суров, — ответил адвокат. — Не могу не добавить, — продолжал он с подкупающей откровенностью, — что мы, адвокаты, обязаны прислушиваться к мнению света и, следовательно, зайдем такую же позицию.

— Ну что ж, — твердо сказала Пегги, — раз уж мне придется защищать на суде свою честь, прихвачу там заодно и три миллиона.

Если верить слухам, в конце своей речи Пегги выразила желание «задать клеветникам хорошую взбучку» и добавила, что она шуток не любит. Беседа кончилась гибелью тарелки, серьезно повредившей чело законника. Но эта версия, весьма популярная в салунах и на приисках, не получила подтверждения в высших кругах общества. Более достоверным можно считать рассказ о свидании Пегги с ее собственным адвокатом. Этот джентльмен указал, насколько выгодно было бы для нее, если бы она могла привести на суде какую-нибудь разумную причину странной щедрости завещателя.

— Хотя, — говорил он, — закон и не оспаривает завещания на основе тех поводов или причин, по которым оно было составлено, все же было бы весьма желательно доказать судье и присяжным логичность и естественность этого поступка, особенно если будет выдвигаться версия о помешательстве. У вас, мисс Моффет, — это, разумеется, между нами, — наверное, есть предположение, почему покойный мистер Байвэйс проявил такую необъяснимую щедрость по отношению к вам.

— Нет,— твердо ответила Пегги.

— Ну, подумайте хорошенько! Не выражал ли он — вы, разумеется, понимаете, что все останется между нами, хотя я, право, не вижу, почему бы и не заявить об этом во всеуслышание,— не выражал ли он каких-либо чувств, которые можно было бы как-то связать с имеющимися наступить супружескими отношениями?

Но тут Пегги (ее большой рот все это время медленно открывался, обнажая неровные зубы) перебила его:

— Вы хотите сказать — не собирался ли он жениться на мне? Нет!

— Так, понимаю. Но может быть, он ставил какие-нибудь условия? Разумеется, закон принимает во внимание только то, что упомянуто в духовной, но все же, исключительно ради подтверждения ваших прав на наследство, не припомните ли вы, на каких условиях он вам его оставил?

— Вы хотите сказать: требовал ли он от меня чего-нибудь взамен?

— Вот именно, уважаемая барышня.

Одна щека Пегги стала малиновой, другая — ярко-красной, нос полиловел, а лоб залился багрянцем. Вдобавок к этому не изящным, но весьма драматическим свидетельствам крайнего смущения она принялась молча вытирать руки о платье.

— Понимаю, понимаю! — заторопился адвокат.— Что бы там ни было, условие вы исполнили.

— Нет,— удивленно сказала Пегги,— как же я могла это сделать до его смерти?

Тут уж адвокату пришлось краснеть и теряться.

— Да, верно, он сказал мне кое-что и поставил одно условие,— продолжала Пегги твердым голосом, невзирая на свое замешательство,— только это никого не касается, кроме нас с ним. Вам это незачем знать, да и другим тоже.

— Но, уважаемая мисс Моффет, если эти условия помогут нам доказать, что он был в здравом уме, вы же не станете умалчивать о них, хотя бы для того, чтобы получить возможность их выполнить.

— А вдруг они покажутся вам и суду неосновательными? — хитро сказала Пегги.— Вдруг вы найдете их странными? Тогда что?

В таком беспомощном состоянии защите пришлось выступать на суде. Все помнят этот процесс. Разве можно забыть, как в течение шести недель он был хлебом на-

сущным для всего округа Калаверас, как в течение шести недель ученые законники обсуждали в зале суда на своем мудреном языке умственную, моральную и духовную правоспособность мистера Джеймса Байвэйса, а неискушенные в юриспруденции невежды на все лады толковали о том же в салунах и у костров.

К концу этого срока, когда путем логических умозаключений удалось выяснить, что по крайней мере девять десятых жителей округа Калаверас страдают тихим помешательством, а остальные того и гляди тоже рехнутся, совершенно изнемогшим присяжным пришлось вызвать в зал суда Пегги.

Она никогда не отличалась благообразием, а теперь волнение и неумелая попытка принарядиться так подчеркнули все ее недостатки, что эффект получился сногсшибательный. Каждая веснушка на ее лице выделялась и говорила сама за себя; голубые глаза, по которым никак нельзя было судить о силе характера их обладательницы, нерешительно бегали по сторонам или бессмысленно вперялись в судью; несоразмерно большая голова с широким подбородком и жидкой светлой косицей, лежащей между узкими плечами, казалась такой же твердой и непривлекательной, как деревянные шары на решетке у нее за спиной. Присяжные, которым истцы в течение шести недель описывали эту особу как лукавую, искусную обольстительницу, сумевшую воспользоваться слабейшим рассудком Джеймса Байвэйса, возмутились все до одного. Невзрачность Пегги Моффет была до такой степени бесхитростна и так бросалась в глаза, что ее нельзя было возместить даже тремя миллионами.

— Если уж она получила такие деньги, значит, было за что, друзья, поблажки тут быть не могло, — сказал старшина присяжных.

Когда присяжные удалились на совещание, все почувствовали, что Пегги спасла свою честь. Когда же они вернулись в зал огласить вердикт, выяснилось, что ей присуждено три миллиона в виде компенсации за клевету.

Пегги получила наследство. Но тем, кто предсказывал, что она начнет швырять деньгами направо и налево, пришлось разочароваться. Вскоре прошел слух, что Пегги до крайности скупа. Миссис Стайвер из Рыжей Собаки, милейшая женщина, ездившая с ней в Сан-Франциско за покупками, была вне себя от негодования.

— Она трясется над двадцатью пятью центами боль-

пе, чем я над пятью долларами. В «Париже» ничего не захотела покупать, потому что там, видите ли, все слишком дорого, и наконец вырядилась пугалом в какой-то лавчонке готового платья возле рынка. И после того как мы с Джейн столько возились с этой сквальгой, столько убили на нее времени, помогали, советовали, — хоть бы она какую-нибудь малость ей подарила!

Общественное мнение, считавшее, что заботливость миссис Стайвер была построена исключительно на меркантильных расчетах, не вознегодовало по поводу мало-доходности ее поездки. Но когда Пегги отказалась внести свою лепту в погашение закладной на пресвитерианскую церковь и даже не захотела приобрести акции шахты «Союз», которые, по мнению многих, были столь же богоугодным и надежным помещением капитала, как и взнос на храм, популярность ее стала падать. Несмотря на это, Пегги, как и до процесса, оставалась равнодушной к общественному мнению; она сняла маленький домик, поселилась там, очевидно, на условиях полного равенства, со старухой, которая когда-то служила с ней в гостинице «Роквилл», и распоряжалась своим капиталом без посторонней помощи.

Хотелось бы мне и тут отметить ее рассудительность, но факты остаются фактами: Пегги наделала глупостей. Непоколебимое упорство, с которым она прежде отстаивала свои права, дало себя знать и во всех ее неудачных коммерческих операциях. Она всадила двести тысяч долларов в давно истощенную шахту, разработку которой начал еще покойный завещатель. Она сделала все, чтобы «Роквиллский авангард» продолжал влачить свое существование, когда даже враги потеряли к нему всякий интерес. Она продолжала держать двери гостиницы «Роквилл» гостеприимно открытыми, хотя туда уже никто не заглядывал; она лишилась поддержки и расположения своего компаньона из-за пустяковой размолвки и никак не желала пойти на мировую. Она вела три тяжбы, которые при желании можно было уладить без малейшего труда. Все это доказывает, что Пегги отнюдь не годится в героини. Но, выслушав мой рассказ о ее романе с Джеком Фолинсби, вы поймете, что она была женщина незаурядная.

Разгул страстей выкинул этого красивого, беспутного, но все еще не лишнего привлекательности бродягу на отмели Рыжей Собаки без гроша в кармане. Он обосно-

вался в ветхой лачуге неподалеку от целомудренной обители Пегги Моффет. Бледный, истощенный бурным образом жизни, с дрожащим голосом, что можно было объяснить и избытком чувствительности и чрезмерным употреблением спиртных напитков, Джек Фолинсби с томным видом слонялся по Рыжей Собаке, ибо свободного времени у него было много, а друзей мало.

В таком-то обольстительном неглиже, нравственном, физическом и эмоциональном, он явился взору Пегги Моффет. Больше того, иногда можно было видеть, как Джек бродит с ней по поселку. Критическое око Рыжей Собаки не оставило без внимания эту странную пару: Джек — многоречивый, по-видимому одолеваемый раскаянием, стыдом, муками совести и недугом, и Пегги — раскрасневшаяся, с открытым ртом, неуклюжая, но не помнящая себя от восторга. При виде всего этого критическое око Рыжей Собаки многозначительно подмигивало Роквиллу.

Что между ними происходило, никто не знал. Но в один прекрасный летний день на главной улице Рыжей Собаки показался открытый шарабан, в котором восседали Джек Фолинсби и наследница трех миллионов. Джек, все еще несколько изможденный, правил с бывлой рисовкой, а мисс Пегги, в громадной шляпе с лентами жемчужного цвета, чуть темнее ее волос, рдела, как маков цвет, сидя рядом с ним и ухватив короткими пальцами в красных перчатках букет чайных роз. Парочка проследовала из шумного поселка прямо в лес, к розовому закату.

По всей вероятности, зрелище было не из чарующих, и все же, когда темная колоннада торжественных сосен расступилась, принимая их в свои недра, старатели побросали работу и, опираясь на заступы, долго провожали шарабан взглядом. Что было тому виной — солнечные лучи или воспоминания о тех днях, когда сами они были молоды и безрассудны, — не берусь судить, но критическое око Рыжей Собаки увлажнилось, глядя вслед удаляющемуся экипажу.

Луна стояла высоко, когда Джек и Пегги вернулись в поселок. Те, кто поджидал Джека с поздравлениями по поводу предстоящей перемены в его судьбе, очень огорчились, увидев, что, доставив свою спутницу домой, он покинул Рыжую Собаку. От Пегги ничего не удалось выведать; она не изменила своего образа жизни и по-прежнему всаживала тысячу-другую в заведомо неудачные коммерче-

ские операции, не отступая в то же время от правил строжайшей экономии в личных расходах. Недели проходили за неделями, а развязка этой идиллии была все еще неизвестна. Никто ничего не узнал до тех пор, пока месяц спустя Джек не объявился в Сакраменто, вооруженный бильярдным кием и преисполненный негодования.

— Должен вам сознаться, джентльмены, разумеется, по секрету, — сказал Джек сочувственно настроенным игрокам, которые окружили его, — должен вам сознаться, что я относился к этой веснушчатой, красноглазой, белобрысой девице так, будто она была... ну, по крайней мере актриса. Должен вам сознаться, что сама она чувствовала ко мне не меньшее расположение! Смейтесь, но это так! Однажды я повез ее кататься в шарабане — при всем параде, как и полагается, — и по дороге сделал ей предложение честь честью, точно благородной даме. Хоть сию минуту венчаться! И что же она ответила? — с истерическим смехом вскричал Джек. — Да черт ее побери! Предложила мне двадцать пять долларов в неделю с прекращением выплаты, как только я отлучусь куда-нибудь из дому!

Громовой хохот, которым было встречено это откровенное признание, прервал чей-то спокойный голос:

— А что ты на это ответил?

— Что я ответил? — повторил Джек. — Да послал ее к чертовой матери со всеми ее деньгами!

— А говорят, — продолжал спокойный голос, — будто ты попросил у нее взаймы двести пятьдесят долларов на поездку в Сакраменто и получил их.

— Кто это говорит? — завопил Джек. — Покажите мне этого наглого враля!

Наступила мертвая тишина. Владелец спокойного голоса, Джек Гемлин, неторопливым движением достал из ящика бильярдного стола кусок мела и, натерев кий, произнес тихо, но внушительно:

— Это говорит один мой старый приятель тут, в Сакраменто, одноглазый, с деревянной ногой, без двух пальцев на правой руке и вдобавок чахоточный. Он не имеет возможности сам отстаивать свои слова и поручает это мне. Так вот, допустим, — Гемлин бросил кий и свирепо уставился на Джека своими черными глазами, — допустим, в интересах нашего спора, что так говорю я!

Эта история — независимо от того, соответствовала она истине или нет, — не увеличила популярности Пегги в

обществе людей, которым беззаботность и щедрость заменяли все другие добродетели. Возможно также, что жители Рыжей Собаки не были гарантированы от предвзятости суждений, как и другие, несколько более цивилизованные, но столь же подверженные чувству разочарования любители сватать.

В следующем году Пегги опять предприняла несколько безрассудных коммерческих операций и понесла большие убытки, — судя по всему, она была во власти лихорадочного желания любой ценой увеличить свой капитал. Наконец в поселке стало известно, что Пегги намерена снова открыть злосчастную гостиницу и содержать ее уже только на собственные средства. В теории эта затея казалась дикой, но на деле она себя оправдала.

Многое тут, разумеется, можно было объяснить познаниями Пегги в этой области, а еще больше ее бережливостью и трудолюбием. Обладательница миллионов сама стирала, прислуживала за столом, стелила постели — словом, работала не покладая рук, как простая служанка. Посетителей привлекало это необычное зрелище, и доходы гостиницы возрастали по мере того, как падало уважение к хозяйке со стороны постояльцев. О ее жадности ходили анекдоты один другого чудовищней. Утверждали, будто она сама разносит багаж приезжих по номерам в надежде на чаевые, которые обычно полагаются швейцару. Она отказывала себе в самом необходимом, одевалась бедно, недоедала, но в гостинице дела шли хорошо.

Кое-кто намекал, что Пегги рехнулась; другие качали головой и уверяли, будто над завещанным ей богатством тяготеет проклятие. Поговаривали также, что, судя по ее виду, она не вынесет такого напряжения сил и долго не протянет. Шли уже толки о том, кому в конце концов достанется наследство.

Разъяснить миру и этот и кое-какие другие вопросы, касающиеся Пегги, удалось только Джеку Гемлину.

В одну бурную декабрьскую ночь мистер Джек Гемлин оказался в числе постояльцев гостиницы «Роквилл». За последние две-три недели он перенес свою благородную деятельность в пределы Рыжей Собаки и, по картинному выражению одного из своих сподвижников, «обчистил поселок до нитки, оставив ему только плату за проезд в кармане кучера дилижанса». Газета «Стяг», выходящая в Рыжей Собаке, оплакивала разлуку с ним в шутливом

некрологе, который начинался так: «О Джонни, ты покинул нас». Дальше шло «в недобрый час», а на последующие «сердечные раны» сама собой напрашивалась рифма «пустые карманы». Вполне понятно, что все существо мистера Гемлина было проникнуто теперь чувством глубокого удовлетворения и в его словах больше обычного сквозили томность и спокойствие.

В полночь, когда мистер Джек Гемлин уже собирался отойти ко сну, в дверь его номера постучали, и вслед за стуком на пороге появилась богатая наследница и хозяйка гостиницы «Роквилл» мисс Пегги Моффет.

Несмотря на свое прежнее заступничество, мистер Гемлин недолюбливал Пегги. Ее невзрачность претила человеку с такими изощренными вкусами; ее скаредность и алчность шли вразрез с его образом мышления и привычками. Стоя перед ним в грязном коленкоровом капоте, который благоухал кухней, багровая от смущения и жара плиты, Пегги являла собой малопривлекательное зрелище. Несмотря на поздний час и дурную славу человека, стоявшего перед ней, она была в полной безопасности. Впрочем, боюсь, что даже эта мысль не помогла ей оправиться от смущения.

— Мне бы хотелось побеседовать с вами с глазу на глаз, мистер Гемлин,— начала Пегги, сев без приглашения на край чемодана,— иначе я бы не стала вам докучать. В другое время вас не поймаешь, да и я сама торчу на кухне с раннего утра до поздней ночи.

Она запнулась, точно прислушиваясь к ветру, который рвал ставни и застилал пеленой дождя непроницаемую тьму за окнами. Потом расправила капот на коленях и, приступая к беседе, пробормотала с запинкой:

— А дождь-то какой на дворе...

Мистер Гемлин ответил на эту метеорологическую справку зевком и стал снимать сюртук.

— Я к вам с просьбой, думаю, не откажете.— Пегги через силу засмеялась.— Люди толкуют, что вы хорошо ко мне относитесь и даже заступались за меня, хотя никто вас об этом не просил. Немного таких найдется, кто замолвит теперь за меня доброе словечко,— продолжала она, не поднимая глаз и проводя пальцем по шву капота. Нижняя губа у нее задрожала; после тщетных поисков носового платка она подняла подол и утерла им свой вздернутый нос, а слезы в глазах, обращенных теперь на мистера Гемлина, так и остались невытертыми.

Мистер Гемлин, к этому времени уже освободившийся от сюртука, перестал расстегивать жилет и посмотрел на нее.

— Того и гляди Норт-Форк выйдет из берегов, если так будет лить, — с виноватым видом проговорила Пегги, глядя в окно.

Дождик, лившийся из ее глаз, утих, и мистер Гемлин снова принялся расстегивать жилет.

— Я хотела поговорить с вами о мистере... о Джеке Фолинсби, — вдруг заторопилась Пегги. — Он опять заболел, ему очень плохо. Проигрывает много то одному, то другому, а больше всех вам. Вы забрали у него вчера последние две тысячи долларов — все, что у него было.

— Ну и что же? — холодно спросил игрок.

— Так вот я думала, если вы и вправду хорошо ко мне относитесь, не попросить ли вас, чтобы вы как-нибудь отвадили его от карт, — сказала Пегги с вымученным смешком. — Вам это ничего не стоит. Не садитесь играть с ним, вот и все.

— Уважаемая Маргарет Моффет, — лениво и спокойно сказал Джек и, вынув часы, стал заводить их, — если уж вы так сочувствуете Джеку Фолинсби, то вам самой гораздо проще отвадить его от меня. Вы же богатая женщина! Дайте ему денег, чтобы он сорвал мой банк или сам сорвался раз и навсегда, и не позволяйте ему вертеться около меня в надежде на отыгрыш. Какая уж тут может быть надежда, уважаемая? Не на что ему надеяться!

Более тонкая натура не поняла бы этого игорного жаргона или возмутилась бы словами игрока и таившейся в них грустной истиной. Но Пегги сразу поняла все и погрузилась в унылое молчание.

— Послушайте моего совета, — продолжал Джек, пряча часы под подушку и неторопливо развязывая галстук, — бросьте глупости, выходите за этого молодца и передайте ему ваши капиталы и все денежные дела, не то они сведут вас в могилу. Он живо порастрясет ваши денежки. Я вовсе не надеюсь, что получу их. Стоит ему только урвать солидный куш, как он мигом махнет во Фриско и просадит там деньги в каком-нибудь перво-классном игорном доме. Не стану также предрекать, что вам не удастся его исправить. Я ничего не предрекаю; возможно даже, — если уж вам здорово повезет, — что он отдаст богу душу, прежде чем спустит ваши капиталы. Скажу только одно: сейчас вы можете его осчастливить,

а если уж вы так благоволите к нему — мне еще в жизни ничего подобного не приходилось видеть! — то и ваши собственные чувства от этого не пострадают.

Кровь отхлынула от лица Пегги, когда она подняла голову.

— Вот по этому самому я и не могу отдать ему деньги, а без денег он на мне не женится.

Рука мистера Гемлина оставила последнюю нерасстегнутую пуговицу жилета.

— Не можете... отдать... ему... деньги? — медленно повторил он.

— Нет.

— Почему?

— Потому что... потому что я люблю его.

Мистер Гемлин снова застегнул жилет на все пуговицы и с покорным видом уселся на кровать. Пегги встала и неловко придвинула чемодан поближе к нему.

— Когда Джим Байвэйс завещал мне свои деньги, — начала она, боязливо озираясь на дверь, — он выставил одно условие. Не то, которое было написано в завещании, а другое — он передал мне его на словах. И я пообещала ему в этой комнате, мистер Гемлин, в этой самой комнате, где он умер, вот на этой самой кровати, на которой вы сидите, — пообещала, что выполню его условия.

Как и большинство игроков, мистер Гемлин был суеверен. Он поспешно встал с кровати и пересел к окну. Ветер громыхал ставнями, словно там, за окном, потревоженный дух мистера Байвэйса требовал исполнения своей последней воли.

— Вы его, наверно, уже не помните, — горячо говорила Пегги. — Ему в жизни много пришлось выстрадать. Все, кого он любил, — жена, родственники, друзья, — все на него ополчилось! На людях-то он и виду не подавал, а мне — я ведь девушка простая, — мне во всем открылся. Я никому об этом не рассказывала, — продолжала Пегги, шмыгая носом, — не знаю, зачем ему вздумалось и меня тоже сделать несчастной, просто не знаю. Заставил пообещать, что если он откажет мне свое состояние, я никогда, никогда — бог тому порукой! — не поделюсь с тем, кого люблю, будь то мужчина или женщина! Тогда я не думала, что так трудно будет сдержать слово, мистер Гемлин, я ведь была бедная и, кроме как от него, добра ни от кого не видела.

— Но обещание уже нарушено,— сказал Гемлин.— Насколько я знаю, вы давали Джеку деньги.

— Только те, что заработала сама! Послушайте, мистер Гемлин! Когда Джек сделал мне предложение, я пообещала отдавать ему все, что буду зарабатывать. Он уехал, заболел, там с ним стряслась беда, а я тем временем поселилась здесь и открыла гостиницу. Я знала, что она будет давать доход, надо только руки к ней приложить. Вы не смейтесь! Я работала не жалея сил, и доходы были,— из наследства я не потратила ни гроша. И все, что я зарабатывала неустанным трудом, все шло ему! Да, мистер Гемлин! Не такая уж я бессердечная, как вы думаете. Я на мистера Джека не скупилась, а надо бы, наверно, еще больше ему давать!

Мистер Гемлин встал, неторопливо надел сюртук, шляпу, пальто, взял часы и, закончив свой туалет, повернулся к Пегги.

— Значит, вы отдавали этому херувимчику все, что зарабатывали своими руками?

— Да, но он не знал, откуда эти деньги. Он ничего не знал, мистер Гемлин!

— Так, если я вас правильно понял, он сражался в фараон на ваши кровные? А вы тем временем гнули спину в гостинице?

— Он ничего не знал, он не согласился бы принять от меня деньги, если бы я сказала ему правду.

— Ну, разумеется, ему легче было бы умереть! — совершенно серьезно сказал мистер Гемлин.— Он такой щепетильный, этот Джек Фолинсби,— от меня и то с трудом берет деньги! Но где же этот ангел обретается, когда он свободен от сражений на зеленом поле и, так сказать, может быть виден невооруженным глазом?

— Он... он живет здесь,— покраснев, сказала Пегги.

— Так. Разрешите узнать, в каком номере? Впрочем, может, я помешаю его размышлениям? — вежливо спросил Гемлин.

— Вы исполните мою просьбу? Вы поговорите с ним, возьмете с него обещание не играть?

— Разумеется! — спокойно ответил Гемлин.

— Только не забудьте, что он болен, очень болен. Он в сорок четвертом номере, в конце коридора. Проводить вас?

— Я сам найду.

— Вы уж не очень его обижайте!

— Я поговорю с ним по-отечески, — степенно сказал Гемлин, отворяя дверь в коридор. Но на пороге он остановился и, повернувшись к Пегги, учтиво протянул ей руку. Пегги робко пожалала ее. Шутил Джек или нет, она так и не поняла, — в его черных глазах ничего нельзя было прочесть. Но он ответил ей крепким рукопожатием и удалился.

Комнату номер сорок четыре Джек нашел без труда. В ответ на его стук послышался глухой кашель и ворчание. Мистер Гемлин вошел без дальнейших церемоний. Он ощутил тошнотворный запах лекарств и винного перегара и увидел на кровати полуодетого, исхудалого Джека Фолинсби. В первую минуту мистер Гемлин остолбенел. Под глазами у больного были темные круги, руки у него дрожали, как у паралитика, в прерывистом дыхании чувствовалась близость смерти.

— Кто там ходит? — спросил Джек Фолинсби встревоженным, хриплым голосом.

— Это я хожу и тебя сейчас тоже подниму с постели.

— Нет, Джек. Мое дело кончено. — Он потянулся дрожащей рукой к стакану с какой-то подозрительной на вид, пахучей жидкостью, но мистер Гемлин остановил его.

— Хочешь получить назад свой проигрыш в две тысячи?

— Хочу.

— Тогда женись на этой женщине.

Фолинсби засмеялся не то истерически, не то насмешливо.

— Она мне таких денег не даст.

— Я дам.

— Ты?

— Да.

Заставив себя рассмеяться бесшабашным смехом, Фолинсби с трудом спустил отекавшие ноги с кровати. Гемлин пристально посмотрел на него и велел ему лечь.

— Ладно, подождем, — сказал он. — До утра.

— А если я не соглашусь?

— А не согласишься, — ответил Гемлин, — тогда я выставлю свою кандидатуру, а тебя в отставку!

Но следующее утро спасло мистера Гемлина от такого неблагородного поступка, ибо ночью дух мистера Джека Фолинсби умчался прочь на крыльях юго-восточного ветра. Когда и как это произошло, никто не знал. Что ускорило его кончину — вчерашнее волнение и мысль о

предстоящей женитьбе или чрезмерная доза болеутоляющего снадобья,— это осталось невыясненным. Я знаю только одно: на следующее утро, когда Джека Фолинсби пришли разбудить, лучшее, что осталось от него,— лицо, все еще красивое и юное,— холодно глянуло в заплаканные глаза Пегги Моффет.

— Это мне по заслугам, это справедливое наказание,— шепотом сказала она Джеку Гемлину.— Господь знал, что я нарушила обет и завещала Джеку все свои деньги.

Пегги ненадолго пережила его. Привел ли мистер Гемлин в исполнение свою угрозу, высказанную той ночью горячо оплакиваемому теперь Джеку Фолинсби, неизвестно. Впрочем, он продолжал дружить с Пегги и после ее смерти сделался ее душеприказчиком. Но большая часть наследства Пегги Моффет перешла к дальнему родственнику красавца Джека Фолинсби и навсегда скрылась из поля зрения Рыжей Собаки.

ТРОЕ БРОДЯГ ИЗ ТРИНИДАДА



— А? Это ты? — сказал редактор.

Китайчонок, к которому он обращался, всегда все понимал буквально. Он ответил:

— Мой все тот же Ли Ти, мой не меняйся. Мой не длугой китайский мальчик.

— Что верно, то верно, — произнес редактор тоном глубокого убеждения. — Не думаю, чтобы во всем Тринидадском округе нашелся еще один такой чертенок, как ты. Ну, другой раз не скребись за дверью, как суслик, а прямо входи.

— Последний лаз, — вежливо напомнил Ли Ти, — мой стучи-стучи. Ваша не любит стучи-стучи. Ваша говори: совсем как проклятый дятел.

В самом деле, контора тринидадского «Стража» стояла на маленькой вырубке в сосновом лесу, где было множество птиц. Поэтому стук можно было понять неправильно. К тому же Ли Ти умел точно подражать дятлу.

Редактор ничего не ответил и продолжал писать письмо. Тогда Ли Ти как бы внезапно что-то вспомнил; он поднял длинный рукав своей куртки, который заменял ему карман, и, как фокусник, небрежно вытряхнул на стол письмо. Редактор бросил на мальчика укоризненный взгляд и распечатал конверт. Это была обычная просьба одного подписчика-земледельца, некоего Джонсона, о том, чтобы редактор «поместил заметку» о гигантской редьке; подписчик ее вырастил и посылал с подателем письма.

— А где же редька, Ли Ти? — подозрительно спросил редактор.

— Нет. Сплосите меликанский мальчик.

— Что?

Тут Ли Ти снизошел до объяснения: когда он проходил мимо школы, на него напали школьники, и во время сражения огромная редька — подобно большинству такого рода чудовищ, быстро вырастающих на калифорнийской почве, это была просто принявшая растительную форму вода — была «ласплющена» о голову одного из врагов. Редактор знал, что его рассыльного постоянно преследуют, и весьма огорчился по этому поводу; к тому же он, возможно, полагал, что редька, которую не удалось использовать в качестве дубинки, вряд ли обладала питательными свойствами. Поэтому он воздержался от упреков.

— Но не могу же я поместить заметку о том, чего не видел, Ли Ти,— добродушно сказал он.

— А вы совлать... как Джонсон,— так же спокойно посоветовал Ли.— Он дулачит вас свой гниль... вы будет дулачить меликанский люди, то же самый.

Редактор с достоинством хранил молчание, пока не кончил надписывать адрес.

— Отнеси миссис Мартин,— сказал он, протягивая письмо мальчику,— и смотри держись подальше от школы. Да не ходи через прииск, если там сейчас работают; и если дорожишь своей шкурой, не проходи мимо хижины Фленигена: ты ведь на днях разбросал там хлопущки и чуть не поджег ее. Берегись собаки Баркера на перекрестке и уходи с большой дороги, если из-за отвалов выйдут рудокопы.— Затем, сообразив, что он, в сущности, закрыл все обычные подступы к дому миссис Мартин, добавил: — Лучше всего иди кругом через лес, там ты никого не встретишь.

Мальчик стремглав выбежал в открытую дверь, а редактор несколько мгновений с сожалением смотрел ему вслед. Он любил своего маленького подопечного — еще с тех пор, как несчастного сироту, мальчика из китайской прачечной, захватили в плен рудокопы, возмущенные тем, что он разносил по домам плохо выстиранное белье; они решили оставить его в качестве заложника, чтобы в будущем им возвращали белье в более приличном виде. К несчастью, другая группа рудокопов, обозленных по той же причине, в это время разгромила прачечную и прогнала владельцев, так что за Ли Ти никто не пришел. На несколько недель он стал забавой прииска, флегматичной мишенью добродушных озорных выходок, жертвой то лег-

комысленного безразличия, то безрассудной щедрости. Он получал попеременно тумачи и полудоллары и принимал то и другое со стоической выдержкой. Но при таком обращении мальчик вскоре отвык от прежде свойственного ему послушания и скромности и стал изощрять свой детский ум, чтобы отомстить мучителям, пока тем не надоели наконец и свои и его выдумки. Но они не знали, что с ним делать. Желтая кожа преграждала ему доступ в бесплатную школу для белых, и хотя он, как язычник, мог бы справедливо претендовать на внимание со стороны воскресной школы, родители, которые охотно жертвовали на язычников за границей, не хотели, чтобы он учился с их собственными детьми у них на родине. В этом сложном положении редактор предложил взять его к себе в типографию в качестве ученика — так называемого «чертенка». Некоторое время Ли Ти, по своей привычке все понимать буквально, старался вести себя соответственно этому прозвищу. Он мазал типографской краской все, кроме печатного валика. Он выцарапал на свинцовых пластинках китайские иероглифы, обозначающие ругательства, отпечатал их и расклеил по всей конторе; он наложил мастеру в трубку какой-то трухи; кто-то даже видел, как он ради развлечения глотал мелкие литеры. Рассыльный он был быstroногий, но не слишком надежный. Недавно редактор заручился сочувствием добродушной миссис Мартин, жены фермера, и уговорил ее взять Ли Ти в услужение, но на третий день мальчик сбежал. Редактор все-таки не терял надежды; его письмо должно было побудить миссис Мартин сделать еще одну попытку.

Он рассеянно смотрел в чащу леса, как вдруг уловил легкое движение — но не звук — в ближних зарослях орешника, и оттуда бесшумно выскользнула человеческая фигура. Редактор сразу признал Джима, всем известного пьянчугу-индейца, который слонялся по поселку и был связан с цивилизацией только узами «огненной воды», ради которой он покинул и резервацию, где она была запрещена, и свою деревню, где она была неизвестна. Индеец не подозревал о присутствии молчаливого наблюдателя; он опустил на четвереньки и стал прикладывать к земле то ухо, то нос, как зверь, выслеживающий добычу. Затем встал, наклонился вперед и пустился бегом прямо в лес. Через несколько секунд за ним промчался его пес, косматый ублюдок, похожий на волка; своим тонким нюхом пес учуял присутствие чужого человека и разразился

обычным визгом — в предчувствии камня, которым, как он знал, всегда в него швыряли.

— Забавно, — раздался чей-то голос, — но этого-то я и ожидал.

Редактор быстро обернулся. Позади него стоял типографский мастер, который, очевидно, наблюдал всю сцену.

— Я всегда говорил, — продолжал мастер, — мальчишку с этим индейцем водой не разольешь. Где один, там и другой... Они придумали всякие штучки и сигналы, чтобы знать, где искать друг друга. Вот на днях выдумали, что Ли Ти бегаёт по вашим поручениям, а я выследил его на болоте — просто пошел за этим паршивым грязным пьяницей Джимом. Там вся компания устроила привал. Джим наловил рыбы, оба натаскали зелени с огорода Джонсона и уплетали за обе щеки. Миссис Мартин, может, и возьмет мальчишку, но пробудет он там недолго, пока Джим под боком. Невдомек мне, почему Ли подружился с этим чертовым пьяницей-индейцем и с чего это Джим, как-никак американец, якшается с язычником.

Редактор ничего не ответил. Он и прежде слышал подобные разговоры. Впрочем, почему в конце концов не держаться вместе этим двум отверженцам цивилизации!

Ли Ти прожил у миссис Мартин недолго. Ушел он из-за неожиданного события, которое было предвещено, как и другие тяжелые бедствия, таинственным небесным знамением. Однажды утром необыкновенная птица огромной величины появилась на горизонте и стала парить над обреченным поселком. Тщательное наблюдение за зловещей птицей показало, что это громадный китайский бумажный змей в виде летающего дракона. Это зрелище вызвало в поселке немалое оживление, которое, впрочем, вскоре сменилось некоторым беспокойством и негодованием. Оказалось, что змея втайне смастерил Ли Ти в укромном уголке усадьбы миссис Мартин; но когда он попробовал запустить его, выяснилось, что из-за какой-то ошибки в конструкции для этого змея нужен хвост необычайных размеров. Ли Ти быстро исправил упущение с помощью первого подвернувшегося под руку средства — бельевой веревки миссис Мартин с остатками недельной стирки. Зрители вначале этого не заметили, хотя хвост и казался несколько странным — впрочем, не более странным, чем полагается быть хвосту дракона. Но когда кража была обнаружена и слух о ней распространился по всему

поселку, хвост вызвал живейший интерес: были пущены в ход подзорные трубы, чтобы распознать различные предметы туалета, висевшие на похищенной веревке. Постепенно освобождаясь вследствие вращения змея от прищепок, эти части туалета с полным бесстрашием рассеялись по поселку; один чулок миссис Мартин упал на веранду салуна «Полька», а другой впоследствии был обнаружен, к соблазну прихожан, на колокольне Первой методистской церкви. Но еще полбеды, если бы последствия выдумки Ли Ти этим ограничились. Увы! Владельца змея и его сообщника, индейца Джима, выдала предательская веревка, и их удалось выследить в укромном местечке на болоте. Там дьякон Хорнблоуэр и констебль силой отобрали у них игрушку. К несчастью, эти двое не обратили внимания на то, что крепкая веревка ради предосторожности была захлестнута петлей через бревно, чтобы ослабить чудовищную тягу, силу которой они не учли, и дьякон опрометчиво заменил бревно собственным телом. Говорят, что тут взорам публики предстало небывалое зрелище. Дьякон дикими прыжками мчался по болоту за змеем, преследуемый по пятам констеблем, который такими же дикими усилиями пытался удержать его, уцепившись за конец веревки. Необычайные скачки продолжались до самого поселка; там констебль выпустил веревку и упал. Это, по-видимому, придало дьякону невероятную легковесность: ко всеобщему удивлению, он немедленно взлетел на дерево! Когда подоспели к нему на помощь и перерезали веревку, оказалось, что у него вывихнуто плечо. Констебль сильно расшибся. Так наши пари одним неудачным ходом восстановили против себя закон и церковь в лице их представителей в Тринидадском округе. Боюсь, что теперь они не могли положиться и на настроение местных жителей, как обычно, неустойчивое, от которого отныне полностью зависела их судьба. Попав в столь затруднительное положение, они на другой день исчезли из поселка — куда, никто не знал. Сизый дымок, который в течение нескольких дней после этого поднимался над уединенным островком в бухте, наводил на мысль, что они укрылись там. Но никто этим особенно не интересовался. Благожелательное посредничество редактора вызвало характерную отповедь такого почтенного гражданина, как мистер Паркин Скиннер:

— Вы вот все толкуете про добрые чувства да про негров, китайцев и индейцев, вы смеетесь, что дьякон, как

Илья-пророк, вознесся на небо на этой чертовой китайской колеснице, но я должен сказать вам, джентльмены, что наша страна — это страна белых! Да, сэр, против этого вы ничего не сможете возразить. Негр любого сорта — желтый, коричневый или черный, называйте его «китайцем», «индейцем», или «канаком», или как вам будет угодно, — должен очистить божий мир, когда в него вступает ангелосакс! Всякому ясно, что им не место рядом с печатным станком, жатками Мак-Кормика и Библией! Да, сэр! Библией. И дьякон Хорнблоуэр вам это докажет. Наш прямой долг — очистить от них страну, для этого мы здесь и поставлены. За это мы и должны взяться!

Я позволил себе привести волнующие высказывания мистера Скиннера, чтобы показать, что Джим и Ли Ти, по всей вероятности, бежали просто потому, что боялись суда Линча и что такие возвышенные и благородные настроения действительно существовали сорок лет тому назад в обыкновенном американском городке, где тогда еще и не помышляли об экспансии и империи!

Однако мистер Скиннер не принял в расчет простейших свойств человеческой природы. Однажды утром Боб Скиннер, его двенадцатилетний сын, удрал из школы и отправился на старом индейском челноке в поход с целью завоевать остров несчастных беглецов. Его намерения были ему самому не вполне ясны и могли измениться, смотря по обстоятельствам. Либо он захватит в плен Ли Ти и Джима, либо присоединится к ним и будет вести такую же вольную жизнь. Он подготовился и к той и к другой возможности, для чего тайком позаимствовал у отца ружье. Он захватил и провизию, так как наслышался о том, что Джим питается кузнечиками, а Ли Ти — крысами, и сомневался, сможет ли он просуществовать на подобном рационе. Он медленно греб, держась поближе к берегу, чтобы его не увидели из дома, а затем смело направил свой утлый челн к острову — поросшему травой клочку болотистого мыса, отторгнутому когда-то штормом. День стоял прекрасный, под дуновением послеполуденного пассата бухта подернулась легкой рябью, но когда Боб стал подъезжать к острову, он попал в полосу мертвой зыби, которая шла от волновавшегося вдали Тихого океана, и малость струхнул. Лодка сбилась с курса, встала боком к волне и зачерпнула соленой воды. Это еще сильнее испугало маленького уроженца прерий. Когда беспомощную, залитую водой лодку понесло мимо

острова, он забыл о своем плане тайного нападения и громко завопил о помощи. На его крик из камышей выскочила гибкая фигура, сбросила с себя рваное одеяло и по-звериному, бесшумно скользнула в воду. То был Джим, который где вброд, где вплавь дотащил лодку с мальчиком до берега. Боб Скиннер тотчас же отказался от мысли о завоевании острова и решил присоединиться к беглецам.

Это было нетрудно: он был беспомощен и искренне восхищался их первобытным лагерем и цыганским образом жизни, хотя в прошлом был одним из притеснителей Ли Ти. Но этот флегматичный язычник отличался философским безразличием, которое легко могло бы сойти за христианское всепрощение, а природную сдержанность Джима можно было принять за согласие. Вполне вероятно также, что двое бродяг, естественно, сочувствовали новому беглецу, удравшему от цивилизации; они были несколько польщены тем, что Боб не был изгнан, а явился по собственной охоте. Как бы то ни было, они вместе ловили рыбу, собирали на болоте клюкву, застрелили дикую утку и пару зуйков; и когда Боб помогал варить рыбу в конусообразной корзине, закопанной в землю и наполненной водой, которая нагревалась с помощью камней, докрасна раскаленных в костре из плавника, он был беспредельно счастлив. А что за день! Лежать после такого пиршества ничком на траве, насытившись, как звери, укрывшись от всего, кроме солнечного света; лежать так неподвижно, что целые тучи серых куликов безбоязненно садились рядом с ними, а всего в нескольких шагах из тины вылезала лоснящаяся бурая ондатра! Они чувствовали себя частицей первобытной жизни на земле и в воздухе. Блаженный покой не заглушил, впрочем, их хищнических инстинктов: когда в воде мелькало черное пятно — по словам индейца, тюлень, — когда рыжая лисица, бесшумно двигаясь, подстерегала выводок неоперившихся крикв, когда на мгновение показывался лось и спускался к краю болота, — все это взвинчивало их напряженные нервы и подстрекало к увлекательной, но безрезультатной охоте. А когда — слишком рано — наступила ночь, они вповалку улеглись вокруг теплой золы костра, под низким сводом вигвама, построенного из сухого ила, камыша и плавника, и, вдыхая смешанный запах рыбы, дыма и теплых, соленых испарений болота, мирно уснули. Далекie огни поселка один за другим погасли; вместо них появились

звезды, очень большие и безмолвные. На ближайшем мысе залаяла собака, ей откликнулась другая, подалее от берега. Но пес Джима, свернувшийся у ног хозяина, не отзывался. Какое ему дело до цивилизации?

Утром Боб Скиннер испытал некоторый страх перед последствиями своего поступка, однако его решимость остаться не ослабела. Но тут Ли Ти вдруг стал возражать:

— Пускай твой все-таки велнется. Твой сказать дома, лодка пелевелнуться велх дном... твой много плыть до кустов. Всю ночь кустах. Дом длинный путь... Как добраться? Понятно?

— Ружье я оставлю здесь, а папе скажу, что, когда лодка перевернулась, ружье пошло ко дну,— с воодушевлением подхватил Боб.

Ли Ти кивнул.

— А в субботу я возвращусь и принесу еще пороху и дрови, а для Джима бутылку виски,— возбужденно продолжал Боб.

— Ладно,— пробормотал индеец.

Они перевезли Боба на полуостров и вывели на боковую тропу, которую знали только они. По этой тропе он должен был добраться до дому. И когда на следующее утро редактор напечатал в хронике: «*По воле волн в бухте. Чудесное спасение школьника*»,— он, как и читатели, не знал, какое участие в этом деле принимал его исчезнувший китайчонок-рассыльный.

Тем временем изгнанники вернулись в свой лагерь на острове. Им показалось, что с уходом Боба солнце стало светить не так ярко. Ведь они, как это ни бессмысленно и глупо, были очарованы маленьким белым деспотом, который делил с ними хлеб. Боб вел себя по отношению к ним с восхитительным эгоизмом и был откровенно груб,— так мог вести себя только школьник, да еще с сознанием превосходства своей расы. И все же оба они жаждали его возвращения, хотя редко упоминали о нем в лаконичных разговорах, которые вели между собой каждый на своем языке, или с помощью простейших английских слов, или, еще чаще, жестами. Когда они заговаривали о нем, то выражали свое уважение тем, что говорили, как им казалось, на его языке.

— Бостонский мальчик много хотеть поймать его,— говорил Джим, указывая на плывущего вдали лебедя.

Или Ли Ти, преследуя в камышах полосатую водяную змею, флегматично произносил:

— Меликанский мальчик не любить змея.

Ближайшие два дня принесли им, однако, некоторые заботы и лишения. Боб съел, или зря извел, все их запасы, и — что было еще печальнее — его шумное поведение, стрельба и жизнерадостность распугали дичь, которой их обычное спокойствие и молчаливость прежде внушали обманчивое чувство безопасности. Они голодали, но не винили Боба. Когда он вернется, все будет в порядке. Они считали дни: Джим — с помощью таинственных зарубок на длинном шесте, Ли Ти — с помощью связки медных монет, которую он всегда носил в кармане. Знаменательный день наконец наступил — теплый осенний день; над берегом плыли клочья тумана, который казался голубой дымкой, а вдаль расстилалась безмятежная панорама ровного открытого пространства леса и моря, но ни на земле, ни на воде мальчик не появлялся перед ожидающими доверчивыми взорами. Весь день они хранили угрюмое молчание, и только с наступлением ночи Джим сказал:

— Может быть, бостонский мальчик умереть.

Ли Ти кивнул. Этим двум язычникам казалось невероятным, чтобы какая-нибудь другая причина могла помешать христианскому мальчику сдержать слово.

Теперь они то и дело переправлялись в лодке на болото; они охотились в одиночку, но часто встречались на тропе, по которой ушел Боб, и каждый раз выражали удивление невнятным бормотанием. Они скрывали свои чувства, не проявляли их ни словом, ни жестом, но овладевшая ими тревога в конце концов передалась каким-то образом молчаливому псу; он совершенно забыл свою обычную сдержанность и раза два садился у воды и начинал протяжно выть. У Джима и раньше была привычка время от времени забираться в какой-нибудь укромный уголок; он заворачивался в одеяло, прислонялся спиной к дереву и часами оставался неподвижным. В поселке это обычно приписывали последствиям выпивки, «похмелью», но Джим давал другое объяснение: он утверждал, что так с ним случается, когда у него «плохо на сердце». И теперь, судя по приступам меланхолии, можно было подумать, что у него часто бывает «плохо на сердце». А потом однажды ночью на крыльях свирепого юго-западного ветра примчались запоздалые дожди; они свалили и разметали жалкую хижину, погасили костер и вздыбили бухту так, что волны стали затоплять поросший камышом островок, наполняя уши беглецов шипе-

нием. Дичь была распугана, и ружье Джима бездействовало; сеть рыбака Ли Ти была порвана, а наживка раскидана. Замерзшие и голодные, подавленные душевно и физически, но еще более сдержанные и молчаливые, чем всегда, они чуть не погибли, когда переправлялись через разбушевавшуюся бухту на болотистый полуостров. Здесь, на вражеской земле, то скрываясь в камышах, то ползком пробираясь среди кочек, они наконец добрались до опушки леса у поселка. Они жестоко страдали от голода и, пренебрегая последствиями, забыли всякую осторожность: стая чирков оказалась на мушке ружья Джима у самой окраины поселка.

Это был роковой выстрел: его отзвуки пробудили против них силы цивилизации. Его услышал лесоруб в своей хижине у болота. Он выглянул наружу и увидел проходившего Джима. Беззаботный, добродушный человек, он мог бы промолчать о том, что появились бродяги, но этот проклятый выстрел! Индеец с ружьем! Огнестрельное оружие, нарушение закона, огромный штраф и наказание тому, кто продал или подарил его индейцу! В этом деле надо разобраться, кто-то должен быть наказан! Индеец с ружьем, точно равный белому! Кто же тут может чувствовать себя в безопасности? Лесоруб поспешил в поселок, чтобы довести все до сведения констебля, но, встретив мистера Скиннера, сообщил эту новость ему. Тот презрительно отозвался о констебле, который до сих пор не сумел разыскать Джима, и предложил, чтобы несколько вооруженных граждан сами организовали облаву. Дело в том, что мистер Скиннер в душе все время не очень-то верил рассказу сына о пропавшем ружье. Он кое-что сообразил и ни в коем случае не хотел, чтобы его ружье было опознано представителем власти... Он пошел прямо домой, так яростно напустился на Боба и такими яркими красками расписал его преступление и полагающуюся за него кару, что Боб сознался. Больше того, я с грустью должен сказать, что Боб соврал. Индеец «украл у него ружье» и угрожал убить его, если он расскажет о краже. Он утверждал, что его безжалостно ссадили на берег и заставили идти домой по тропе, которую знали они одни. Через два часа всему поселку стало известно, что негодяй Джим не только незаконно владеет оружием, но и приобрел его путем грабежа. Об острове и о тропе через болото сообщили лишь немногим.

Между тем беглецам приходилось туго. Из-за близости

поселка нельзя было развести костер: он мог бы выдать их убежище. Они забрались в чащу орешника и простучали зубами всю ночь. Их вспугнули сбившиеся с дороги путники, которые, ничего не подозревая, проходили мимо. Часть следующего дня и всю ночь они пролежали среди травянистых кочек. Их насквозь пронизывал холодный морской ветер, они заоченели, но были надежно укрыты от чьих бы то ни было глаз. Казалось, обретя таинственную способность полной неподвижности, они могли сливаться с ровной, однообразной местностью. Редкие вьюнки на лугу и даже узкая гряда берегового наноса, за которой можно было, укрываясь от ветра, неподвижно лежать часами, достаточно защищали их от любопытных взглядов. Они перестали разговаривать, но, повинувшись слепому звериному инстинкту, следовали друг за другом всегда безошибочно, словно умели читать мысли. Как ни странно, только настоящий зверь — их безымянный пес — проявлял теперь нетерпение и какую-то чисто человеческую подавленность. Он один не мог примириться с тем, что им приходится прятаться, не мог примириться с мучениями, которые люди безропотно переносили! Когда до места, где они проходили, доносились какие-нибудь запахи или звуки, неуловимые для человеческих чувств, пес, ошестинившись, начинал хрипло рычать и задыхаться от ярости. Им все было так безразлично, что они не замечали даже этого; но нельзя было не заметить, что на вторую ночь пес внезапно исчез и через два часа вернулся с окровавленной мордой, — он был сыт, но все еще дрожал и хрипло ворчал. Только наутро, ползая на четвереньках по жнивью, они наткнулись на изуродованный, растерзанный труп овцы. Они молча переглянулись: оба понимали, что означал для них этот разбойничий поступок. Он означал опять крики «лови!» и погоню. Он означал, что их голодный товарищ помог ту же стянуть вокруг них сеть. Индеец что-то пробурчал. Ли Ти безучастно улыбнулся; но с помощью ножей и просто руками они довершили то, что начал пес, и разделили с ним вино. Язычники, они не могли принять на себя моральную ответственность более подходящим, с христианской точки зрения, способом.

Ли Ти привык питаться рисом и переносил лишения тяжелее. Его обычное безразличие возматало, появилась вялость, которая Джиму была непонятна. Не раз, когда он возвращался после отлучек, Ли Ти лежал на спине и смотрел вверх остановившимся взглядом, а однажды из-

дали Джиму показалось, что над местом, где лежал китайчонок, поднимается призрачный легкий пар; когда он подошел ближе, пар исчез. Он попытался растормошить Ли Ти, но тот еле ворочал языком, а его дыхание отдавало запахом какого-то снадобья. Джим оттащил его в более укромное место, в чашу ольшаника. Это было опасно: чаша была недалеко от проезжей дороги, но в затуманенном мозгу Джима вдруг возникла смутная мысль: хотя оба были бесправные бродяги, Ли Ти мог предъявить больше претензий к цивилизации — ведь его соплеменникам позволяли жить среди белых, их не загоняли в резервации, как соплеменников Джима. Если Ли Ти «много больной», может быть, другие китайцы найдут и выхоят его. Ли Ти, ненадолго придя в себя, сказал: «Мой умирать... как меликанский мальчик. Твой умирать то же самый», — и продолжал лежать с тусклым, остановившимся взглядом. Джима все это не испугало. Он приписал состояние Ли Ти чарам, которые по его просьбе наслал какой-нибудь из его богов, — он сам когда-то видел, как колдуны этого племени впадали в таинственное оцепенение, — и был рад, что мальчик больше не мучается. День близился к вечеру, а Ли Ти все спал. До слуха Джима донесся звон церковных колоколов: он понял, что сегодня воскресенье — день, когда констебль прогонял его с главной улицы; день, когда лавки были закрыты, а салуны торговали спиртным только через задние двери; день, когда никто не работает, и потому — этого Джим не знал — день, который изобретательный мистер Скиннер и несколько его друзей сочли особенно удобным и подходящим для облавы на беглецов. Колокольный звон ничем не намекал на это, однако пес тихо зарычал и насторожился. А затем Джим услышал другой звук — далекий и неясный, но он вернул блеск его потухшим глазам, оживил его неподвижное, аскетическое лицо и даже вызвал краску на его выступающих скулах. Он лежал на земле и, затаив дыхание, прислушивался. Теперь он ясно слышал. Это кричал бостонский мальчик. Он кричал: «Джим!»

Огонь в его глазах померк, когда он со своей обычной медлительностью встал и направился туда, где лежал Ли Ти. Он стал трясти его и несколько раз повторил:

— Бостонский мальчик вернулся!

Но ответа не было; мертвое тело безвольно поворачивалось под его руками, голова откинулась назад, челюсть

отвисла, желтое лицо заострилось. Индеец долго вглядывался в него, потом повернулся в ту сторону, откуда слышался голос. Все-таки его затуманенное сознание было встревожено: к звуку голоса примешивались другие, точно кто-то неуклюже подкрадывался к нему. Но голос опять позвал: «Джим!» Приставив руки ко рту, индеец негромко откликнулся. Наступила тишина, а затем он внезапно снова услышал голос — голос мальчика. На этот раз он возбужденно произнес совсем рядом:

— Вот он!

Теперь индеец понял все. Но его лицо не дрогнуло; он вскинул ружье, и в то же мгновение из чащи на тропинку вышел человек.

— Опусти ружье, слышишь, ты, чертов индеец!

Джим не шевельнулся.

— Говорят тебе, опусти ружье!

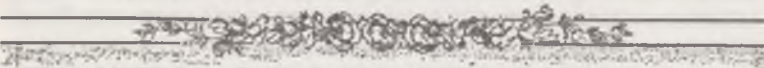
Индеец стоял неподвижно.

Из чащи грянул выстрел. Сначала показалось, что пуля не попала в цель, и человек, который только что говорил, вскинул свой карабин. Но в следующее мгновение высокая фигура Джима рухнула на землю, превратившись в жалкую кучу тряпья.

Стрелявший со спокойным видом победителя подошел к убитому. И вдруг перед ним возник страшный призрак, воплощение ярости — зверь с горящими глазами, оскаленными клыками и жарким кровожадным дыханием. Едва он успел вскрикнуть: «Волк!» — как челюсти зверя сомкнулись на его горле, и они оба покатались по земле.

Но, как показал второй выстрел, то был не волк, то был лишь собачий ублюдок Джима, единственный из бродяг, который в этот последний критический момент вернулся в свое первобытное состояние.

ДЖИННИ



Вероятно, те немногие, кому довелось знать и любить героиню этого очерка, до конца дней своих будут сожалеть, что не сразу поняли ее возвышенную натуру; более того, станут мучиться угрызениями совести, ибо хоть на минуту поверили, будто к ней можно подходить с той же меркой, что и к другим ее сородичам. Как и всех представительниц прекрасного пола, ее не пощадила клевета, всегда склонная чересчур строго судить ветреность и легкомыслие, столь понятные и простительные в юности. Вполне возможно, что отличавшая ее в более зрелом возрасте твердость характера на первых порах казалась упрямством, щепетильность и разборчивость — ребяческими капризами, а решительные проявления живого ума — отроческой дерзостью, и лишь с годами трезвость ее суждения завоевала всеобщее уважение.

Она увидела свет у Индейского ручья, а месяц спустя была доставлена в Отмель Пильщика, и все единодушно порешили, что предгорья еще не видывали такого крошечного ослика. Легенда гласит, что ее принесли сюда в сапоге Дэна Камнелома; правда, указанный джентльмен опроверг это как ложный слух, но, очевидно, поступил так из мужского кокетства, связанного с размером его обуви, а вовсе не из верности историческим фактам, и с опровержением этим считаться не следует. Доподлинно известно, что следующие два месяца Джинни провела в хижине Дэна и лишь затем (быть может, возмущенная этой и иными сплетнями) покинула его кров навсегда.

— Я-то ничего такого не ждал, — рассказывал Дэн. — Вдруг в полночь слышу: по крыше вроде град стучит

и камни сыплются, вроде как в каньоне скалы динамитом рвут. Вскочил, запалил огонь, гляжу: в углу, где она спала, куча щепы да хворосту, в стенке дыра, а Джинни и след простыл! Ну, а копыта у нее крепкие, сами видели — ясно, она ими стенку прошибла!

Боюсь, именно этот подвиг положил начало ее пелестной репутации и даже пробудил в юной душе неуместное тщеславие и честолюбивые устремления, которые в ту пору можно было бы направить в более возвышенное русло; ибо эта отроческая выходка (и ожидание других поступков в том же духе) сразу вызвала пагубную лесть и чрезмерное внимание всего старательского поселка. Джинни хитроумно подстрекали вновь и вновь повторять ту же проделку, и под конец скудная обстановка хижины обратилась в щепки, а поклонники Джинни вывихивали себе среди этого хаоса ноги и наживали синяки и мозоли. Но даже в ту раннюю пору в Джинни уже заметен был ясный ум, который впоследствии так всех поражал. Никто не убедил бы ее лягнуть кучу кварцевого щебня, бочонок с запалами, голову или хотя бы ногу Черномазого Пита. Избыток энергии она расточала не как придется, а с разборчивостью истинного художника.

— Вы только поглядите,— говорил Дэн с отеческой нежностью.— Она не чета прочим ослам и мулам: те, я слышал, лягаются враз, не подумавши, а она нет. Она эдак подберется, вроде примерится не спеша, правой задней ногой тихонько в воздухе помашет, ну прямо как ангельским крылышком, да поглядит эдак кротко, вроде замечталась... а потом как наподдаст! Верно я говорю, Джинни? Ну вот! Видали? — продолжал Дэн с благородной самоотверженностью художника, осторожно выбираясь из развалин бочки, на которой только что сидел.— Вот вам! Видали такое? Стало быть, пока я вам тут рассказывал, она вон что замышляла, а ведь, глядя на нее, нипочем не угадаешь!

Тем же артистизмом, благородной сдержанностью отличался и рев Джинни. Менее мудрое животное на ее месте непременно стало бы безрассудно похвастаться таким великолепным голосом и расточать свой талант попусту. Она обладала густым контральто с очень широким диапазоном (от нижнего *соль* до верхнего *до*), которое звучало чуть сильнее в нижнем регистре, а на верхних нотах подчас переходило в несколько гнусавый фальцет. Блестящий и смелый в среднем регистре, голос ее, по-

жалуй, всего более поражал своей необычайной мощью. Кроме восторга, слушатель испытывал еще и изумление, ибо, когда человеку давно не хватило бы дыхания, последняя нота Джинни все еще звучала в воздухе. Но главное, рев ее в совершенстве выражал незаурядную силу разума и духа. Он столь же изумлял при малом росте, как и ее гордые устремления, в нем выказывалась широта взглядов, безмерное презрение ко всему сущему, всесокрушающая язвительная насмешка. Он издевался над всеми людскими поступками, подавляя все чувства, пресекал легкомыслие, обращал в прах мечты, замораживал всякую деятельность. Он был всемогущ. И вот что всего характернее для Джинни и всего удивительней: скромная обладательница этого невероятного голоса прожила в лагере целых полгода, а никто и не подозревал о ее необычайном даре; обнаружился же он при особых обстоятельствах, которые всего наглядней доказали ее редкостную сдержанность.

Это случилось теплым вечером в разгар бурного спора о политике. Все население Отмели собралось в Броде и при свете пылающих сосновых факелов криками и рукоплесканиями подбадривало соперничающих ораторов, которые с грубо сколоченного помоста обращали свои речи к возбужденной толпе. В ту пору политическая борьба в предгорьях разгорелась вовсю; взаимные обвинения и упреки, обмен колкостями, вызывающие реплики и гневные выкрики уже накалили атмосферу; полковник Бангстартер разнес в пух и прах политику своего противника, благородного и красноречивого полковника Кэлнепера Старботтла из Сискью, и обрушился на него самого, пытаясь очернить как его личные достоинства, так и его блестящую карьеру. Известно было, что сей благородный и красноречивый джентльмен тоже присутствует на собрании; поговаривали, что оратор разразился столь яростными нападками не без умысла: уж, конечно, полковник Старботтл вызовет его на дуэль, а значит, выбор оружия будет предоставлен Бангстартеру, и тем самым полковник Старботтл не сможет воспользоваться своим преимуществом самого меткого стрелка во всей округе. Шепотом передавали также, что проницательный Старботтл, обо всем догадавшись, ответит речью еще более оскорбительной, чтобы поставить Бангстартера перед необходимостью тут же на месте потребовать удовлетворения. И едва полковник Старботтл поднялся, нетерпеливые слушатели

стали подталкивать друг друга локтями, восторженно предвкушая дальнейшее.

— Ну, теперь он скажет, что у Бангстартера сестра с негром сбежала, либо что он собственную бабу в покер проиграл,— прошептал Дэн Камнелом.— А иначе его не переплюнешь, верно?

И все наострили уши; особенно насторожилась пара очень длинных и косматых ушей, чуть видных над перилами трибуны: Джинни чисто по-женски недолюбливала одиночество и обожала зрелища, а потому последовала за своим хозяином на собрание и взобралась на помост, где золотоискатели, с неизменным уважением к ее полу и возрасту, уступили ей дорогу.

Полковник Старботтл, багровый и громогласный, подошел к самому краю помоста. Расстегнул воротник, снял шейный платок, затем, не сводя глаз с противника, скинул синий сюртук, прижал руку к гофрированной манишке, другую руку вскинул к ночному небосводу и раскрыл мстительные уста. В жестах, в позе всякий тотчас узнал бы Старботтла. Но голос был не его. Ибо в эту великую минуту раздался рев — оглушительный, потрясающий, леденящий душу, он заполнил леса, землю и небо, и все вокруг смолкло и застыло. На минуту ошеломленная толпа замерла... но только на минуту, а затем громовой хохот и крики потрясли все окрест, самый свод небесный содрогнулся. Тщетно председатель призывал к тишине, тщетно полковник Старботтл, криво улыбаясь, твердил, что в прервавшем его ораторе он узнает голос и ум противника, хохот не смолкал, напротив, даже усилился, когда стало ясно, что Джинни еще не кончила и возвращается к своей первоначальной теме.

— Джентльмены! — надрывался Старботтл.— Всякая попытка...

(«И-а!» — вставила Джинни.)

— ...грубым шутовством воспрепятствовать свободе слова...

(Пространное подтверждение со стороны Джинни.)

— ...может быть расценена лишь как подлейшее и трусливейшее...

Но тут раздался протяжный, постепенно затихающий рев, поразительно схожий с одышливыми выкриками багрового от натуги Старботтла, и все заглушил новый взрыв хохота. Не следует думать, будто за все это время никто не пытался стащить Джинни с помоста. Но тщетно. К ней

так же трудно было подступиться с хвоста, как с головы — копыта ее замелькали в воздухе, очерчивая магический круг, разнесли вдребезги столик и графин с водой, приготовленный для ораторов, осыпали восторженных зрителей обломками перил; Джинни сдалась только, когда на голову ей накинули два одеяла и обмотали потуже; тогда лишь удалось оттащить ее — наполовину пленницу, наполовину победительницу — с поля битвы. Но и после этого из лесу временами доносился заглушенный рев, и на этот призыв потянулась половина толпы, другая же половина слушала оратора рассеянно и невнимательно. Неудачное собрание пришлось закрыть; уничтожающая ответная речь полковника Старботтла так и не была произнесена, сторонники Бангстартера торжествовали.

Допоздна Джинни оставалась героиней дня, но ни лаской, ни ласками не удалось убедить ее вновь порадовать слушателей своим талантом. Напрасно Дэн из Поселка Ангела произнес импровизированную речь в надежде, что Джинни не выдержит и ответит ему; напрасно присутствующие на все лады старались уязвить и задеть ее чувства, дабы вызвать взрыв красноречия. Она отвечала только копытами. Была ли это просто прихоть, или, возможно, она вполне удовлетворилась первым своим успехом на ораторском поприще, или возмутилась последующим с нею обращением, но теперь она упорно хранила молчание.

— Она себя показала, — заметил Дэн (он был приверженцем Старботтла, однако с этого дня великий трибун люто его возненавидел). — Верно, на политику мы с ней смотрим по-разному, но все едино, вы ее не троньте!

Да, лучше бы Дэн и дальше следовал своим благородным порывам; но, увы, когда сторонники Бангстартера предложили ему сотню долларов, он не устоял. Он навеки отдал Джинни во вражеские руки. Но, надеюсь, каждому читателю этих строк приятно будет узнать, что попытка помешать жителям предгорий свободно высказывать свои политические взгляды потерпела решительную неудачу. Ибо хоть приверженцы Бангстартера снова тайком провели Джинни на трибуну, когда полковник Старботтл собрался выступить с речью в Лагере Мэрфи, она, оказавшись с ним лицом к лицу, не раскрыла рта. Даже духовой оркестр не пробудил в ней дух соперничества. То ли она прониклась отвращением к политике, то ли ее оскорбило, что других, не столь блестящих ораторов пар-

тия Бангстартера купила по более дорогой цене, но она осталась безучастной зрительницей. А когда рядом с нею появился достопочтенный Сильвестр Рорбек (политический деятель, получивший за свои услуги в этот вечер вдвое больше, чем было честно и открыто заплачено за Джинни), она спрыгнула с помоста и кинулась в лес. Здесь она умерла бы с голоду, не вмешайся некто Маккарти, бедняк, растивший на клочке земли овощи на продажу; он подобрал ее, дал ей кров и пищу с молчаливым уговором, что она оставит политику и примется работать. Последнему условию она долго сопротивлялась, но к этому времени ее считали уже достаточно большой, чтобы возить тележку, и Маккарти приучил ее ходить в упряжи, заплатив за это серьезным переломом ноги, четырьмя выбитыми зубами и разбитой рессорной повозкой. Под конец уже можно было понадеяться, что она довезет товар до Лагера Мэрфи и не вломится при этом в лавку вместе с тележкой, хотя Джинни неизменно притворялась, будто знать не знает, что впряжена в какую-то там тележку; после этого образование обычного калифорнийского ослика считается законченным. Правда, было все еще небезопасно оставлять Джинни без присмотра, ибо она не терпела одиночества и вместе со своей постылой тележкой присоединялась к какой-нибудь досужей компании или даже, выбрав старателя с приятной наружностью, следовала за ним в его хижину. Впервые ее владелец открыл эту слабость Джинни после того, как заключил одну сделку в стенах гостиницы «Трезвенность». Когда он вышел на улицу, Джинни нигде не было видно. Однако ее извилистый путь удалось проследить по рассыпанным на дороге овощам; след этот привел к веранде трактира «Под аркой»: Джинни заглядывала в окно, с интересом наблюдая за карточной игрой, и только неудобная тележка помешала ей войти внутрь. А как-то в воскресный день при посещении скромной католической церкви в Лагере Француза она попыталась и туда ввезти свою тележку и подать голос в хоре, чем навлекла стыд, позор и всеобщую немилость на своего злополучного хозяина. Ибо в тележке лежали только что снятые с грядки овощи, и всем стало ясно, что Маккарти безбожно нарушает заповедь о дне субботнем. Появление Джинни в первую минуту только насмешило прихожан, но отец Салливен не замедлил воспользоваться им в целях нравоучительных.

— Несчастливая бессловесная скотина и та больше при-

вержена христианской вере, чем Майкл Маккарти,— заметил он.

Но тут Джинни так громко и решительно его поддержала, что пришлось общими силами оттащить ее подалее.

Миновала своеобразная и легкомысленная юность, с возрастом пришло спокойствие, созрел осторожный и трезвый ум. Джинни теперь трудилась ради хлеба насущного, однако по-прежнему была щепетильна и разборчива, а потому в трудах соблюдала меру, и превысить эту меру ее не заставили бы ни угрозы, ни побои, ни лезть. В урочный час она отправлялась в хлев, все равно с тележкой или без тележки, с Майклом или без Майкла, пропуская мимо ушей все его попреки и увещания.

— Господи помилуй! — воззвал он однажды, выбираясь из канавы и горестно глядя вслед Джинни, которая неслась прочь так, что только копыта сверкали.— Я нынче только по второму разу нагрузил капусту, а она уже забастовала! Эдак она меня разорит вчистую!

Но он ошибся: посвятив часок-другой размышлениям, Джинни по доброй воле вернулась к нему — видно, она ошиблась часом и даже, говорят, чтоб искупить свой промах, соблаговолила свезти лишний воз капусты. По этому и подобным случаям можно заключить, что Майкл почтительно признавал умственное превосходство Джинни и что порою она с истинно женским лукавством этим пользовалась. После уже упомянутого воскресного происшествия она в день седьмой отдыхала, отрешаясь на время от обычной суровости и позволяя себе кое-какие проказы. Забредя в какой-нибудь старательский поселок, она мирно, задумчиво пощипывала травку возле хижин и разными чисто женскими хитростями и кокетливыми уловками приманивала какого-нибудь доверчивого новичка, пока он не подходил к ней в надежде прокатиться. Словно бы в нерешимости она позволяла взнудать себя, сесть верхом и даже, с видом смущенным и робким, словно бы нехотя, увозила его подалее от жилья. Что происходило затем, никто толком не знал. Но через несколько минут поселок оглашали вопли и проклятия, и всем, кто выскакивал из хижин, представлялось странное зрелище: по улице во весь опор мчится Джинни, а новичок обеими руками цепляется за ее шею, боясь свалиться и угодить под мелькающие копыта, и тщетно зывает о помощи. Снова и снова пронесется она мимо,

зрители рукоплещут, а она не только грозит своей жертве копытами, но и оглушает трубным гласом и наконец, круто повернув, галопом скачет к пруду Картера и сбрасывает свой злосчастный груз в эту грязную лужу. Злую шутку эту Джинни разыгрывала не раз и не два, пока однажды в воскресенье к ней не подошел вакеро¹ Хуан Рамирес в сапогах со шпорами и с лассо в руках. Собралась толпа, все надеялись, что Джинни потерпит поражение. Но, к горькому разочарованию зевак, она спокойно оглядела незнакомца с головы до пят, язвительно взревела и не спеша затрусилась к маленькому кладбищу на холме, где ее хитроумному противнику преградили путь заросли колючего кустарника. С того дня она больше не появлялась в поселке и воскресные дни проводила в сосредоточенных раздумьях меж сосновых крестов с бесстрастной надписью: «Здесь покоится...»

Очень жаль, что этот случай, повлекший за собой единственное поэтическое событие в ее жизни, не произошел раньше. Ибо кладбище было любимым уголком мисс Джесси Лоутон, кроткой больной девушки из Сан-Франциско, которая переселилась в предгорья ради целебного смолистого аромата сосен и елей, в слабой надежде, что здесь, среди цветущего шиповника, вновь порозовеют и ее щеки. С холма открывались живописные дали, и мисс Лоутон часто приходила сюда с альбомом, повинаясь любви к искусству, а также природной застенчивости, побуждавшей ее избегать общества незнакомых людей. На одном из листов этого альбома сохранился набросок ослиной головы, в котором нетрудно узнать задумчивый облик Джинни, робко выглянувшей из-за плеча художницы. Как началась их дружба, осталось неизвестным; не установлено также, Джинни ли сделала первый шаг к сближению. О дальнейшем обитателям Отмели сказало видение, которое жило у них в памяти еще долгое время после того, как кроткая девушка и ее четвероногая подруга стали недостижимы для их зова. Однажды вечером два старателя, возвращаясь от своего шурфа, случайно поглядели в сторону укромной тропинки, по которой ходил от кладбища к поселку один лишь священник. И в сумерках, на фоне закатного неба, увидели, что к ним приближается всадница с бледным лицом. В их загрубелых сердцах шевельнулось непривычное смущение, они

¹ В а к е р о — пастухи, охраняющие стада рогатого скота

отступили в тень зарослей, и она проехала мимо, не заметив их. Ошибиться было невозможно, они узнали нелепый профиль Джинни, узнали томную грацию мисс Лоутон. Но шею Джинни обвивал венчик из шиповника, и на длинных ушах развевались ленты от шляпки мисс Лоутон, а на лице девушки играла лукавая улыбка, и щеки розовели, совсем как азалии в ее волосах. Назавтра об этом стало известно по меньшей мере десятку золотоискателей, и со всех было взято клятвенное обещание хранить тайну. Но вечерами на другой и на третий день, укрывшись в лесу, они исподтишка любовались прелестной наездницей, словно вышедшей из сказки и не подозревающей об их присутствии. Эти грубые люди были верны слову: ни шепотом, ни шорохом они не нарушили очарования и не выдали себя. Тот, кто посмел бы испугать застенчивую молодую девушку, поплатился бы жизнью.

А потом настал день, когда шествие обрело совсем иной смысл, и тайну уже незачем было хранить, и тогда Джинни позволено было сопровождать подругу в том же уборе, только обрядили ее на сей раз более грубые, хоть и не менее любящие руки. А когда кортеж достиг переправы, откуда кроткой девушке предстоял последний путь к морю, Джинни вдруг вырвалась из рук своих спутников, отчаянным прыжком попыталась перемахнуть на баржу — и рухнула в стремительные воды реки Станисло. Десяток крепких рук протянулся к ней, искусно брошенная веревка обвилась вокруг ее ног. На мгновение она затихла, казалось, она спасена. Но тотчас в ней разыгрался обычный дух противоречия, сильным ударом копыта она перервала веревку, и волны понесли ее к морю вслед за ее госпожой.

ПОДОПЕЧНЫЕ МИСС ПЕГГИ




Капор у Пегги развязался, башмак на правой ноге — тоже. Такое нередко случается с десятилетними девочками, но, когда обе руки заняты, беду не поправишь, надо положить свою ношу. А ноша была не простая: еще не оперившийся сорокопут и детеныш суслика — обеих она подобрала во время прогулки. В фартук обеих сразу не завернешь — либо одному, либо другому придется плохо; положить кого-нибудь на землю — а вдруг сбежит?

«Прямо как в той ужасной задаче про паромщика, волка и козу, — подумала Пегги. — Только какой дурак повезет волка через реку?»

Но тут она подняла глаза, и оказалось, что навстречу шагает Сэм Бедел, старатель с Синей горы, детина шести футов ростом; Пегги его окликнула и попросила подержать кого-нибудь из ее пленников. Великан брезгливо покосился на меховой комочек, похожий на мышонка, и взял у нее птенца. Тот уставился на него со злобою, какую отличается весь сорокопутий род.

— Ты его держи за ножки, а то он ужас как клюется! — предупредила Пегги.

Потом небрежно сунула суслика в карман и занялась своим туалетом. Она поправила нанковый капор, затеявший от солнца румяную рожицу, все равно усеянную веснушками; потом, без малейшего смущения выставляя напоказ нижнюю юбочку из желтой фланели и полосатые, точно карамель, чулки, крепко-накрепко завязала шнурки башмака, а старатель терпеливо ждал; наконец он решился заговорить:

— Ты опять за свое, Пегги? Тот раз, когда филин

слопал всю твою дружную семейку, мы уж думали, с тебя хватит.

От этого неделикатного намека Пегги слегка покраснела: ее прежние питомцы в один прекрасный вечер исчезли бесследно, после того как Пегги ввела в их компанию нового члена — весьма почтенного и с виду миролюбивого рогатого филина.

— Я бы его тоже приручила! — сердито сказала она. — Это все Нед Майерс виноват: выучил его охотиться, потом отдал мне, а сам ничего про это не сказал. А это был настоящий охотничий филин.

— И что ж ты будешь делать с этим полковником? — В такой чин Сэм произвел храброго птенца, который впился когтями ему в палец, весь скорчился, точно злой горбун, и никак не желал даваться девочке в руки. — Глядишь, он тоже задаст жару всем прочим. Молодой, а больно сердитый.

— Это порода такая, — живо отозвалась Пегги. — Погоди, я его приручу. Вот если его оставить с отцом, с матерью, он тоже такой вырастет. Они ведь мясники, да-да, убивают по девять птичек в день! Верное слово! Насажают их на колючки кругом гнезда — ну прямо вроде мясной лавки, — все про запас, а как проголодаются, так и съедят. Я сама видала!

— А как же ты его приручишь? — спросил Сэм.

— Буду с ним добрая, буду его любить, — ответила Пегги и ласково погладила птенца по голове.

— Стало быть, птичек для него сама будешь убивать? — сказал циник Сэм.

Пегги не удостоила его ответом, только головой покачала.

— Сахаром да сухарями его не прокормишь, он же не попугай, — стоял на своем Сэм.

— С живыми тварями можно что хочешь сделать, только надо их любить и не бояться, — застенчиво сказала Пегги.

С высоты своего роста Сэм Бедел заглянул под края капора и в круглых голубых глазах, в степенном выражении маленького рта увидел что-то такое, что заставило его поверить: а ведь вправду, что захочет, то и сделает! Но тут Пегги поглубже засунула руку в карман, и ее серьезное личико стало еще озабоченней, а глаза — еще круглее.

— Он... он... провалился! — ахнула она.

Великан испуганно отскочил.

— Постой-ка! — рассеянно пробормотала Пегги, занятая своим делом.

Осторожно, сосредоточенно она ощупывала пальцами юбку по шву, дошла до подола, проворно ухватила его с изнанки — и со вздохом облегчения вытащила пропавшего зверька.

— Ай да молодец! — испуганно и восхищенно вымолвил Сэм. — Может, ты и с этим полковником справишься. А тот филин мне с самого начала не понравился. Порядочные птицы так не важничают. Ну, а теперь беги, пока у тебя больше никто не удрал. Счастливо!

Он похлопал капор по макушке, легонько дернул соблазнительно торчавшую сзади каштановую косичку — еще ни один старатель не устоял перед таким искушением, — и Пегги побежала дальше со своей добычей, а он минутой-другую глядел ей вслед. Не впервые он вот так провожал ее глазами: неразумное доброе сердце поселка Синяя гора давным-давно было отдано дочке кузнеца Пегги Бейкер. У кузнеца были еще две дочери постарше, не знавшие соперниц на пикниках и танцульках, но Пегги была просто необходима здешним жителям — совсем как сойка, что качается на ветке в лесном сумраке, или рыжая белка, что рано поутру метнется поперек тропы, или дятел, что постукивает по дуплистой сосне над головой, когда присядешь в полдень перекусить. Она была частичкой природы, которая помогает человеку оставаться молодым. Причуды Пегги и ее страсть к бродяжничеству ничуть не заботили здешних жителей: как белки и птицы, она никого не слушалась и никому не подчинялась. Куда бы она ни пошла, всюду кто-нибудь бородатый и усатый приветливо ее окликнет, всюду найдется крепкая рука, что протянется навстречу и поможет пройти по крутому обрыву или по опасной тропинке.

Да, странные у Пегги вкусы, и повинен в том не только ее нрав, но еще и окружающая обстановка. С младенчества предоставленная самой себе, она брала в друзья всякую живую тварь без разбору, зато с совершенным бесстрашием, потому что была приметлива и кругом не нашлось других, не столь храбрых ребяташек. Пегги не верила, как иные, будто жабы и пауки ядовиты, а ухвертки и впрямь ввинчиваются в ухо. Она самостоятельно делала всякие опыты и совершала открытия, тайну которых, как и все дети, свято хранила; один такой опыт

касался гремучей змеи — правда, на него Пегги отчасти натолкнули своими опрометчивыми предостережениями старшие. Ей не велели ни в коем случае брать с собой в лес хлеб и молоко и рассказали весьма поучительную историю про одну маленькую девочку, которую повадилась навещать змея: девочка угощала змею хлебом и молоком, а потом однажды стала бить ее по голове, потому что змея «не хотела кушать ложкой, как я», да еще съела девочкину долю, — по счастью, взрослые подросли вовремя. Надо ли говорить, что столь неосторожное предостережение только подзадорило отважную Пегги. И она понесла чашку с молоком к норе «гремучки», жившей по соседству, только не стала пить сама, а великодушно оставила все змее. Она относил угощение еще дня четыре кряду, а потом в одно прекрасное утро, возвращаясь домой, с изумлением обнаружила, что змея (весьма почтенного возраста, с целой дюжиной погремушек на хвосте) преданно следует за нею. Тут Пегги испугалась — не за себя и не за своих домашних, но за новую благодарную подружку, чьей жизни грозил отцовский молот, — и окольными путями увела змею подальше. Потом вспомнила кое-какие правила, слышанные однажды от здешнего углежога, отломил веточку белого ясеня и положила поперек дороги между собою и своей спутницей. Змея сейчас же остановилась и замерла, даже не пытаясь одолеть жалкую преграду. Девочка прибегала к этому средству еще не раз, и наконец змея поняла, чего от нее хотят. Пегги никому про это не рассказывала, но однажды ее застал в этом обществе один старатель. Вот тогда-то Пегги и прославилась!

С того дня чуть не все население Синей горы всерьез принялось собирать для Пегги «зверинец», а два рудокопа устроили в какой-нибудь полумиле от жилища кузнеца (но без ведома хозяина) огороженный частоколом загон. Долгое время о зверинце никто не знал, кроме самой Пегги и ее верных друзей. От родителей не укрылось ее пристрастие ко всякому зверью, потому что кое-какая мелкота попадала и в дом: жабы, ящерицы и тарантулы вечно ускользали из своих коробок и жестянок и искали прибежища в чьих-нибудь шлепанцах, — и дома не одобряли столь странных вкусов. Мать замечала, что от скитаний по лесам с необычайной быстротой рвутся дочкины платья. Лисенок изодрал в клочья фартук Пегги, а дикий козленок сжевал ее соломенную шляпу — все это как

будто не совсем обычные злключения для девочки, которая просто-напросто идет в школу. Старшие сестры полагали, что у Пегги «вульгарные» вкусы и напрасно она водит дружбу со старателями — кому-кому, а их сестре это не пристало! Но поскольку Пегги была девочка смысленная и прилежная, исправно ходила в школу и училась хорошо, а познаниями в естественной истории прямо поражала учителей, так что ее в особой строгости не держали. А у Пегги имелись свои непоколебимые убеждения, она была тверда в своей вере, и тайная заповедь — не бояться никаких живых тварей, но любить их — помогала ей терпеливо сносить попреки и не жаловаться, когда ее питомцы рвали на ней платье, а иной раз, как можно опасаться, кусали ее и царапали.

Близкое соседство ее зверинца с домом (о чем домашние и не подозревали) имело свою оборотную сторону, и однажды все едва не вышло наружу. Джек Райдер с Одинокой звезды, не пожалев ни хлопот, ни расходов, привез девочке с северных высот Сьерры горного волчонка, — казалось, Пегги вот-вот его приручит, но тут, на беду, волчонок удрал. Однако он уже настолько приобщился к цивилизации, что по дороге из любопытства заглянул в кузницу мистера Бейкера. Кузнец крикнул, запустил в него молотком, и волчонок кинулся наутек, а Бейкер с подмастерьем — за ним. Он мчался размашистым, неутомимым галопом, и незадачливые преследователи, теряясь в догадках, ни с чем возвратились к своему горну. Кузнец сразу признал в звереныше чужака — и как человек, убежденный в своей образованности и непогрешимости, стал философствовать: откуда бы такому необычному гостю взяться в этих краях? Свои домыслы он поведал редактору местной газеты, и в ближайшем ее выпуске появилась такая заметка:

«Наше предсказание о том, что зима на высотах Сьерры будет суровая и снежная и повлечет за собой по весне наводнение в долинах, подтвердилось с потрясающей убедительностью! На Синей горе появились горные волки, и наш уважаемый согражданин мистер Эфроим Бейкер вчера видел полумертвого от голода волчонка, который забрел в его владения в поисках пищи. Мистер Бейкер полагает, что волчица-мать спустилась с гор, гонимая жестокими морозами, и рыщет теперь по нашей округе».

Джек Райдер, верный друг Пегги, ни за что не хотел ее огорчать — ведь это она была волчонку вместо матери:

только потому он и удержался и не опроверг во всеулышание дурацкую выдумку; но еще долго пламя bivачных костров на Сине́й горе дрожало от злорадного хохота посвященных в преступную тайну старателей.

К счастью для Пегги, самого любимого из всех милых ее сердцу приемышей незачем было скрывать. Столь счастливым исключением была собака, да не какая-нибудь, а индейская. Пегги и ее получила в подарок — некий скупщик мяса с великими трудностями раздобыл собаку в индейском поселке на самой границе Орегона. «Трудности» в переводе на обыкновенный человеческий язык означали, что он попросту украл собаку у индейцев, а скальпу вора всегда грозит некоторая опасность. Собака, видимо, была обыкновенной дворнягой, по ее внешности никак нельзя было определить, какого она роду-племени, зато характером она отличалась незаурядным. Это был на редкость невоспитанный пес. Неизвестно, унаследовал ли он дикость от своих предков или то были плоды вырождения. Но он решительно отказывался войти в дом и никак не желал сидеть в конуре. Не ел при людях, а тайком с жадностью заглатывал пищу где-нибудь в укромном уголке. Ходил он крадучись, точно закоренелый бродяга, а его пестрая, вся в пятнах шкура напоминала лохмотья попрошайки. Бегал он быстро, неутомимо, ничуть не уступая койотам, хоть и без их притворно вялой иноходи. И однако, в отличие от диких зверей, ему вовсе не свойственна была свирепость. Своими острыми зубами он мог перегрызть самую крепкую веревку, самое прочное лассо, но никто ни разу не видал, чтобы он злобно оскалился. Он съезживался, когда его гладили, не был ни дружелюбным, ни покорным; он был кроток, но не привязчив.

И однако, мало-помалу этот пес начал уступать неизменной доброте Пегги. Постепенно он словно бы стал признавать в девочке единственное достойное доверия существо в этом огромном сборище упрятанных с головы до пят в странные одежды бледнолицых людей. Вскоре он уже не сопротивлялся, когда Пегги то ли вела, то ли волокла его с собою до школы и обратно, хотя стоило подойти кому-нибудь чужому — и он перекусывал веревку и удирал или мигом зарывался в юбки хозяйки. Даже для Пегги при всей ее милой невозмутимости было немалым испытанием, когда вся улица, завидев их, начинала хохотать: уж очень нелепо выглядел этот пес, и ужасно неприятная была у него привычка трусливо поджимать

хвост, да еще как поджимать! Он и сам при этом весь гнулся в дугу, «того и гляди перекувырнется, что твой клоун в цирке», как говаривал Сэм Бедел. Но Пегги терпеливо сносила и насмешки и куда более опасные переделки на Главной улице, где нередко приходилось, рискуя собой, вытаскивать растерянного, ошалелого пса из-под самых колес повозок и из-под конских копыт. Но и страх у пса понемногу прошел — верней, растворился в его совершенной, безоглядной преданности хозяйке. Это животное, отнюдь не блиставшее умом и не слишком разбиравшееся в людях, неузнаваемо преобразалось ради Пегги. Поразительно тонким чутьем пес находил ее след, куда бы она ни пошла. Если Пегги не шла прямой дорогой в школу и обратно, а бродила по каким-нибудь тупикам и закоулкам или отправлялась в дальнейшее путешествие, он непостижимым образом всегда об этом знал. Словно все его чувства и способности слились в одну. Какой бы новый, неожиданный путь ни избрала Пегги, индейский Дикарь (так его прозвали, намекая, должно быть, на его непросвещенность) всегда быстро и молча ее отыскивал.

Именно благодаря этой его способности Пегги суждено было пережить едва ли не самое необычайное из ее приключений. Однажды в субботу она возвращалась из поселка, куда ходила по каким-то делам, и вдруг с изумлением увидела, что навстречу ей бежит Дикарь. По уже упомянутым причинам она больше не брала его с собой в столь шумные центры цивилизации, а выучила в таких случаях караулить загон с ее живыми сокровищами. И сейчас она, грозя пальцем, сурово отчитала его за то, что он позорно покинул свой пост, и только после этого заметила, что собака чем-то встревожена и пропускает упреки мимо ушей. Дикарь тотчас побежал — и не позади хозяйки, как обычно, а впереди, да еще залаял, что случилось очень редко. Вскоре Пегги показалось, что она поняла причину его волнения: из лесу вышли человек двенадцать, все с ружьями. Они были ей незнакомы, она узнала только помощника здешнего шерифа. Главный заметил Пегги, что-то сказал остальным, и помощник шерифа направился к ней.

— Ступай-ка вон туда, на шоссе, да беги со своим Дикарем домой, от греха подальше, — полушутя-полусерьезно сказал он.

Пегги бесстрашно оглядела вооруженных людей.

— Это вы на охоту собрались? — полюбопытствовала она.

— На охоту, — подтвердил главный.

— А кого стрелять?

Помощник шерифа глянул на остальных и ответил:

— Медведя.

— Медведя, как же! — презрительно сказала Пегги. Она всегда очень сердилась, когда ее пробовали беззастенчиво обмануть. — Тут кругом на десять миль ни одного медведя не сыщешь. Выдумают тоже — медведя! Ха!

Помощник шерифа засмеялся.

— Ладно, ладно, мисси, — сказал он, — ты беги знай! — Он осторожно положил руку ей на макушку, повернул ее голову в капоре к шоссе, по обычаю дернул на прощание каштановую косичку. — Беги напрямик домой, никуда не сворачивай, — прибавил он и вернулся к своим.

Дикарь зарычал — этого с ним еще никогда не бывало. И Пегги сказала надменно и холодно:

— Вот патравлю на вас собаку, будете знать.

Но силой никого не убедишь. Пегги чувствовала, что эта истина относится и к ней с ее псом. И пошла было прочь. Но Дикаря явно что-то тревожило. И немного погодя Пегги нерешительно оглянулась. Люди с ружьями рассеялись поодиночке и скрылись в лесу. Но в лесу ведь дорога не одна, Пегги хорошо это знала.

И тут она вздрогнула в испуге. Мимо метнулась необыкновенная, бурая с белыми полосками белка и вскарабкалась на дерево. Круглые глаза Пегги стали еще круглей. На всей Сине́й горе, сколько ни ищи, есть только одна-единственная полосатая белка — у нее в зверинце! И вот, прямо на глазах, она удрала! Пегги круто повернулась и побежала назад, к зверинцу. Дикарь большими прыжками мчался впереди. Но ее подстерегала еще одна неожиданность. Низко под деревьями затрепыхались короткие крылья, в солнечном луче вспыхнуло переливчатое горло лесного селезня, и тотчас он скрылся из виду. И одного взгляда было довольно — Пегги мигом узнала одно из самых последних и самых драгоценных своих приобретений. Все ясно!

— Зверинец разбежался! — с отчаянием крикнула она Дикарю и вихрем помчалась к заветной ограде.

Мало ли что ей там велели те люди с ружьями: на этой тропинке они ее не увидят; и они идут медленно, осто-

рожно, Пегги с Дикарем их живо обгонят. Она успеет добежать до зверинца и водворить на место всех своих питомцев, кто еще не удрал, прежде чем придут охотники и прогонят ее.

Но ей пришлось еще дать крюку, чтобы обогнуть кузницу и свой дом, и тогда только она увидела среди зарослей земляничного дерева площадку в десяток квадратных футов, огороженную частоколом в четыре фута вышиной. И тут оказалось, что будки, конурки, клетки и ящики поломаны, опрокинуты и валяются как попало перед оградой; сердитая, огорченная Пегги все же приостановилась и подобрала одну из последних обитательниц зверинца — ящерицу-красношейку, которая, слышав ее шаги, замерла на тропинке, словно окаменела. Еще мгновение, и Пегги очутилась среди невысоких стен без кровли — и тоже, как ящерица, замерла и окаменела. Потому что среди этих мирных развалин, где она еще недавно держала своих неприрученных питомцев — вольных бродяг, земных и небесных странников, — возникло такое воплощение дикости и свирепости, какого девочка еще не видывала: загнанный человек, готовый на все!

Голова его была непокрыта, спутанные, мокрые от пота волосы прилипли ко лбу; на смертельно бледном лице резко чернела щетина небритой бороды, багровели царапины от лесных колючек да пылали, будто наведенные румянами, два ярких пятна на скулах. В глазах горел огонек безумия, и дышал этот человек так же часто и шумно, так же оскалены были его белые зубы и так же судорожны движения, как, бывало, у всех ее пленных зверьков. Но он не пытался убежать, а лишь напрягая все силы, приподнялся над оградой и застонал от боли, и тогда Пегги увидела, что нога его перевязана платком и галстуком, на которых проступают тусклые красные пятна, и волочитса, как чужая. Он бессмысленно посмотрел на девочку и тотчас перевел взгляд на лес позади нее.

Пегги пытливо смотрела на него. Любопытство было в ней куда сильнее страха. Она мигом смекнула, в чем дело. Он тоже дичь, его преследуют охотники. И тут незнакомец вздрогнул и потянулся за ружьем, которое, должно быть, оставил на земле, когда забирался внутрь ограды. Он видел, что вдалеке из лесу показался человек, но никак не мог дотянуться до оружия.

— Подай ружье! — приказал он.

Пегги не шелохнулась. Тот, кто вышел из лесу, при-

ближался, ни о чем не подозревая, и теперь был весь на виду — отличная мишень.

Незнакомец грубо выругался и повернулся к девочке, он словно весь оцетинился. Но Пегги и это было не в новинку, ее четвероногие пленники тоже нередко грозились. И она только сказала серьезно:

— Если будешь стрелять, они все на тебя кинутся.

— Все? — переспросил он.

— Ну да! — сказала Пегги. — Их двенадцать человек, и у всех такие ружья. Лучше ложись и лежи тихо. Не шевелись! И гляди, что я буду делать.

Он упал на землю за частоколом. Пегги во весь дух побежала навстречу ничего не подозревающему охотнику, очевидно, главному из преследователей, но взяла немного в сторону, чтобы отломить веточку белого ясеня. Она так и не узнала, что в эти минуты раненый, сделав нечеловеческое усилие, дотянулся до своего смертоносного оружия и взял ее на мушку. Она храбро бежала, пока не убедилась, что главный охотник ее заметил, — тогда она остановилась и замахала веткой ясеня. Главный тоже остановился и что-то сказал тому, кто шел за ним, — это оказался помощник шерифа. Тот выступил вперед и зашагал к Пегги.

— Сказано тебе, уходи отсюда! — крикнул он сердито. — Убирайся, живо!

— Лучше сами убирайтесь, да поживей! — ответила Пегги, размахивая веткой.

Помощник шерифа остановился как вкопанный и вытаращил глаза на ветку.

— Что такое стряслось?

— Гремучки.

— Где?

— Тут, кругом, всюду... целый выводок! Только вон там еще можно пройти! — Она показала вправо и опять принялась колотить своей волшебной палочкой по кустам. А охотники меж тем сошлись в кружок и стали совещаться. Видно, и они слышали про власть Пегги над гремучими змеями и, по всей вероятности, слышали куда больше, чем было на самом деле. После недолгого раздумья все гуськом двинулись вправо, обходя далеко стороной не замеченный ими частокол, и скоро скрылись из виду. Пегги поспешила назад к беглецу. Глаза его уже не горели огнем ярости и отчаяния, а словно остекленели и затуманились — он был почти без памяти.

— Может... принесешь... воды? — еле прошептал он. До родника было рукой подать — кто же устраивает зверинцы далеко от воды! Пегги принесла беглецу в ковшке напиться. И тихонько вздохнула: последним из этого ковщика пил навеки потерянный для нее «мясник» сорокопут.

Вода, казалось, оживила беглеца.

— Удрали от гремучих змей, труссы, — сказал он, пытаясь улыбнуться. — А много их было, змей?

— Ни одной, — не слишком ласково сказала Пегги. — Только ты гремучка на двух ногах.

Непрощенный гость ухмыльнулся — видно, ему это польстило.

— Вернее сказать, на одной, — поправил он, показывая на бессильно вытянутую раненую ногу.

Пегги немножко смягчилась.

— Что ж ты теперь будешь делать? — спросила она. — Тут тебе оставаться нельзя. Тут я хозяйка.

Она была девочка великодушная, но рассудительная.

— Так вся эта живность, которую я разогнал, была твоя?

— Да.

— Экое свинство с моей стороны!

Пегги поглядела на него чуть подобревшими глазами.

— Ты идти можешь?

— Не могу.

— А ползти?

— Далеко не уползу, я ведь не змея.

— А вон до той просеки?

— Пожалуй, доползу.

— Там привязан конь. Я могу подвести его поближе.

— Ты просто молодчина, — серьезно сказал раненый.

Пегги побежала к просеке. Конь был чужой, но его хозяин Сэм Бедел позволил девочке кататься на нем когда угодно. По ее разумению, это означало, что ей позволено и перевести коня с места на место куда угодно. И Пегги подвела его поближе к частоколу и позаботилась поставить для удобства рядом с большим пнем. А пока она ходила за конем, беглец успел приползти на просеку и уже ждал ее здесь; он был чуть жив, осунулся, но все-таки улыбался.

— Как доедешь, куда надо, отпусти его, — сказала Пегги. — Он сам найдет дорогу сюда. Ну, мне пора.

И, не оглядываясь, побежала к частоколу. Тут она

остановилась и прислушалась; вскоре до нее донесся конский топот — лошадь пересекла шоссе и умчалась прочь от преследователей в другую сторону: беглец удрал. Тогда Пегги вытащила из кармана ошеломленную, все еще недвижимую ящерицу и стала перетаскивать поломанные конурки и клетки обратно в опустевший загон.

Но она так и не восстановила свой зверинец и не обзавелась новыми питомцами. Люди говорили, что ей наскучила эта прихоть, да и слишком взрослая она стала для таких забав. Может быть, это и верно. Но никогда она не стала настолько взрослой, чтобы поведать кому-либо о последнем диком звере, которого она приручила своей добротой. Да и сама она была не вполне уверена, что ей это удалось... Но несколько лет спустя, в первый день занятий в закрытой школе в Сан-Хосе, ей показали одного из самых уважаемых попечителей. По слухам, когда-то он был отчаянным игроком и, вспылив за картами, застрелил человека — его чуть было не поймали и не предали суду Линча.

Впервые он явил мне всю свою затейливую прелесть в одном маленьком приисковом поселке калифорнийской Сьерры.

Я приехал туда рано утром и все-таки разминулся с приятелем, ради которого предпринял это путешествие. Он ушел «на разведку» и, быть может, до вечера. Так сказали мне у реки. В какую сторону ушел он, было неизвестно, и дать ручательство, что я найду его, если пойду разыскивать, никто не мог. Сходились все на том, что лучше подождать.

Я огляделся: я стоял на берегу, и, видимо, единственными человеческими существами в этом мире были мои собеседники, да и те на глазах у меня исчезали, спускаясь иод откос к сухому руслу.

Я подошел к самому краю берега.

— А где мне подождать?

Да где угодно! Могу, если желаю, сойти вниз на отмель, где они работают. Могу побыть в любой из опустевших хижин. А то, пожалуй, лучше на горе — в хибарке моего приятеля — и не так жарко. Заметил ли я три высокие сосны, а чуть правее над кустами — брезентовую крышу и трубу? Ну так это и есть дом моего друга Дика Сильвестра. Я мог бы привязать лошадь внизу и подождать в хижине до возвращения Дика. Там есть и книжки. За чтением время пройдет веселее. А можно повозиться с малышом...

— С кем?

Но их уже не было. Я наклонился над кручей и прокричал вслед исчезающим фигурам:

— Что, вы сказали, можно делать?

Звуки ответа медленно поднялись в неподвижном горячем воздухе:

— Вози-иться с малышо-ом...

Ленивое эхо подхватило их и пошло неторопливо перекидывать с одного холма на другой, пока Лысая гора напротив не пробормотала что-то несвязное про малыша, и тогда все стихло.

Должно быть, я ослышался. Приятель мой был холост, вокруг на сорок миль от поселка не было ни одной женщины; я никогда не замечал в нем пылкою пристрастия к детям — едва ли стал бы он ввозить издалека такую экзотическую роскошь. Должно быть, я ослышался.

Я повернул лошадь в гору. Медленно поднимались мы по узкой тропке. Поселок можно было бы принять за вышедший из-под раскопок въезд в Помпею — так тихи и заброшены были его строения. Распахнутые двери открывали скудное убранство: грубо сколоченный сосновый стол с еще стоящей после завтрака нехитрой утварью, топчан с истрепанными, сбившимися в кучу одеялами... Золотистая ящерица — воплощение тишины и безлюдья — замерла на пороге одной хибары; в окно другой бесцеремонно заглянула белка. Дятел, как и обычно вызывая мысли о гробовщике, при виде нас остановил погребальный стук своего молоточка по гробообразной крыше одной из лачуг, где он был занят по специальности. Я уж готов был пожалеть, что отверг приглашение спуститься к отмели, но тут по темному каньону в лицо мне потянуло ветерком — шеренга сосен, замерших вдали, нагнула в знак приветствия вершины в мою сторону. Наверное, и конь мой догадался — только лачуги делают здесь тишину безлюдной и потому невыносимой, — прибавил шагу и рысцой вынес меня к опушке леса и трем соснам, которые были на аванпосте у Сильвестра.

Я расседлал коня в неглубокой лощине, размотал длинную риагу¹ и, привязав его к деревцу, направился к хибарке. Но не прошел я и десяти шагов, как за спиной моей раздался быстрый топот: меня нагнал дрожащий от испуга бедный мой Помпосо. Я торопливо огляделся. Ветерок утих — до слуха долетел теперь лишь шелест чащи, больше похожий на глубокий вздох, чем на какой-нибудь членораздельный звук, да унылая песня цикад в душном каньоне. Напрасно искал я в траве гремучую

¹ Вербка, аркан.

змею. А Помпосо весь так и трепетал — от изогнутой шеи до бьющихся жилок на ляжках, — даже бока у него ходили от страха. Я успокоил его, как умел, а потом подошел к лесу и заглянул в его сумрачные недра. Взмах птичьего крыла, взметнувшаяся белка — все, что я увидел. Признаюсь, что, когда я во второй раз подходил к лачуге, в душе у меня суеверно шевельнулось смутное предчувствие. И если бы я встретил там прелестную малютку в пышной колыбели, порученную попечениям Титании и ее свиты, я, кажется, не стал бы удивляться: боюсь, что мне уж рисовалась Спящая красавица, чье пробуждение возродило бы эти пустынные места для бурной жизни и кипучей деятельности. Я поцеловал бы ее не задумываясь.

Но ничего этого в домике не оказалось. А были там свидетельства ума и тонкой артистичности моего друга. Очаг без единой соринки, звериные шкуры, так живописно раскинутые на полу и на том, что служило здесь мебелью; полосатое серапе¹ на деревянном топчане. Были тут иллюстрации из «Лондон-Ньюс», так остроумно заменившие ему обои; был тут повешенный над очагом портрет мистера Эмерсона — резьба по дереву — в оригинальной рамочке из перьев кукши; было несколько любимых книг, уложенных на подвесную полку, и был последний номер «Панча» на топчане. Милый Сильвестр! Мешок для муки иногда пустовал в этом доме, а знаменитый английский шутник чуть ли не каждую неделю отдавал ему свой установленный визит.

Я растянулся на топчане и попробовал было читать. Но интерес к библиотеке друга скоро у меня иссяк, и я просто лежал, глядя через открытую дверь на зеленые склоны. Ветерок задул снова, и в комнату повеяло приятною прохладой, неуловимо напоенной запахами леса. Тут сонное гудение шмелей над брезентовой крышей, далекие крики грачей на горе и усталость от раннего путешествия мало-помалу начали смыкать мне веки. Я натянул на себя серапе и, укрывшись от свежести горного ветерка, очень быстро уснул.

Не помню, долго ли я спал. Только во сне я, кажется, все время чувствовал, что никак не могу удержать на себе одеяло. Я просыпался раза два в отчаянной попытке

¹ Тонкое одеяло, употребляемое мексиканцами как род верхней одежды при верховой езде. (Прим. автора.)

ухватить его, а оно неизменно сползло опять с моих ног за топчан. Тут неожиданно мне стало ясно, что мои старания удержать его встречаются с противодействием какой-то другой силы. Я разжал руки и замер от ужаса, видя, как серапе мгновенно исчезает за топчаном. Тогда я сел и уже окончательно очнулся: из-за топчана стало появляться что-то вроде большой муфты. Наконец оно совсем вылезло, таща за собой серапе. Теперь уже ясно было, что это такое: медвежонок, правда, совсем маленький, еще сосун, беспомощный комочек жира и меха, но самый что ни есть взаправдашний детеныш гризли. Он медленно поднял на меня удивленный взгляд своих глазенок. Я отроду не видел ничего потешнее. Плечи его были настолько ниже зада, передние лапы так непропорционально коротки, что при ходьбе все время отставали, — он то и дело зарывался своим острым добродушным носом и после этих неожиданных сальто-мортале поднимал голову, невероятно удивляясь. Комический эффект усиливался еще тем, что задняя нога его, каким-то образом попав в башмак Сильвестра, увязла в нем и, кажется, надолго. Поэтому он не пустился наутек — что было его первым побуждением, — а повернул в мою сторону. Затем, очевидно, поняв, что я одной породы с хозяином, остановился. Медленно встал на дыбки и, как рассерженный малыш, слегка махнул на меня передней лапкой, отороченной стальными крючочками. Я взял эту лапку и торжественно пожал. С этой минуты мы стали друзьями. Маленькое недоразумение с серапе было забыто.

Однако я благоразумно скрепил нашу дружбу галантной услугой. Заметив, куда он поглядывает, я без труда обнаружил на полке, чуть не под самым потолком, коробку с белыми кирпичиками сахару, который не переводится даже у самых бедных старателей. Он стал грызть сахар и позволил рассмотреть себя внимательнее. Весь он был какого-то матового темно-серого тона с великолепными переливами, переходящего в черный на морде и лапах. Шерсть у него была необыкновенно длинная, густая и тонкая, как гагачий пух; все мягонькие утолщеньица под ней на вид и ощупь были совсем детские... Он был еще грудной, и почти человеческие ступни его были нежны, как у младенца. Кроме стальных голубых коготков, немного выдвинутых из мягких ножек, во всем его толстеньком теле не было ничего твердого. Как дитя

Леды¹, он весь состоял из плавных линий. Когда вы погружали руку в его шерстку, по телу у вас разливалась сладкая истома. Если вы долго не спускали с него глаз, то вы хмелели; если вы начинали гладить его, вас охватывал безудержный восторг. А тот, кто тискал его, окончательно терял способность мыслить здраво.

Покончив с сахаром, он выкатился за порог, конфузливо и вызывающе поглядывая на меня, как будто приглашая следовать за ним. Я вышел. Фырманье и храп моего чуткого Помпосо сразу же объяснили мне недавнюю причину его страхов и вынудили свернуть в сторону. После минутного раздумья медвежонок решил следовать за мной (впрочем, перехватив один лукавый взгляд, я догадался, что он все великолепно понимает и даже несколько польщен смятением Помпосо). Когда он переваливался со мной рядом, походкой вызывая в памяти подвыпившего моряка, я вдруг заметил, что на шее его под густою шерстью спрятан кожаный ошейник, и во всю длину его стояло одно слово: «Малыш». Мне вспомнился загадочный совет старателей. Так вот с каким «малышом» предлагали мне «повозиться».

О том, как мы «возились», как Малыш давал мне скатывать себя с горы, — чтобы потом опять с довольным видом, пыхтя, карабкаться наверх, — как лазил он на молодое деревце, чтобы достать панаму (я насадил ее на верхний сук); как, завладев ею, решил, что не сойдет вообще на землю; как он, сойдя наконец, стал рассказывать на трех ногах (четвертою он прижимал к себе бесформенный комок, некогда бывший моей шляпой); как в довершение всего я потерял его и еле отыскал — на столе в чьей-то опустелой хижине, где он сидел, сжимая лапами бутылку патоки, в тщетной попытке извлечь из нее содержимое, — рассказами об этих и других событиях того перенасыщенного дня не стану утомлять вас, мой читатель. Скажу лишь, что к приходу Дика я порядком вымотался, а Малыш уснул, лежа в ногах топчана, как большой пушистый валик.

— Ну что, хорош? — спросил Дик (мы едва успели поздороваться).

— Прелесть. Где ты такого взял?

— Милях в пяти отсюда. Из-под убитой медведицы, —

¹ Лэда — в греческой мифологии жена царя Спарты Тиндарея, славила своей красотой. В Леду влюбился Зевс, от которого у нее родилась дочь — красавица Елена и сын — Полидевк.

сказал он, закуривая.— Уложил ее в пятидесяти ярдах, исключительно удачный выстрел — даже не шелохнулась ни разу. Малышка выбрался, испуганный, но целый. Она, наверное, несла его в зубах, увидела меня и уронила: он не стоял еще, ему дня три было, не больше. Теперь вот поедает молоко, которое сюда везут агенты Эдемса раз в сутки, в семь часов утра. А говорят, он на меня похож! Ты не находишь? — обратился он ко мне вполне серьезно, погладил свой пшеничный ус и сделал «интересное лицо».

Я распрощался с Малышом на следующий день пораньше и не выходя из дому; потом, считаясь с чувствами Помпосо, проехал мимо, даже не взглянув на нового знакомца. Но накануне вечером я взял с Сильвестра клятву: если когда-нибудь он должен будет с Малышом расстаться — тот перейдет ко мне.

— Впрочем,— оговорился Дик,— надо тебе сказать, дружище, что о смерти думать мне еще рано, а кроме смерти не знаю, что может нас разлучить.

Через два месяца после такого разговора, перебирая утреннюю почту у себя в кабинете, в Сан-Франциско, я вдруг увидел на конверте знакомый почерк Сильвестра. Но на почтовом штемпеле стояло «Стоктон», и, охваченный смутным предчувствием, я сразу же распечатал письмо. Вот что стояло в нем:

«Фрэнк! Помнишь наш уговор относительно Малыша? Ну так считай, что на ближайшие полгода я, брат, умер или отправился туда, куда медведям хода нет,— на Восток. Я знаю, ты любишь Малыша, но уверен ли ты, вполне ли ты уверен, друг мой, что сумеешь заменить ему отца? Подумай хорошенько. Ты молод, беспечен; ты, конечно, желаешь ему добра, но способен ли ты стать хранителем, добрым гением и опекуном столь юного неискрушенного создания? Можешь ли ты стать ментором¹ этого Телемаха? Вспомни о городских соблазнах. Обдумай все и поскорей сообщи свое решение. Я уже довез его до Стоктона, он сейчас во дворе гостиницы страшно скандалит и гроыхает цепью, как сумасшедший. Телеграфируй немедленно.

Сильвестр».

¹ Ментор — имя воспитателя Телемаха, сына Одиссея. Приобрело нарицательное значение: наставник, воспитатель.

«P. S. Конечно, он подрос и уже не такой покладистый, как раньше. На той неделе он немного резко обошелся со щенками Уотсона, а когда тот хотел было вмешаться — и ему досталось. Ты помнишь Уотсона? Неглупый человек, а в калифорнийской фауне совершеннейший невежда. Как там у вас на Монтгомери-стрит, условия жизни для медведей — насчет загонов и прочего?»

«P. P. S. Он выучился новым штукам. Ребята показали ему приемы бокса. Лево́й он бьет потрясающе.

С.».

Увы, желание стать собственником Малыша было во мне сильнее всех доводов рассудка — я сразу же телеграфировал согласие. Когда я днем зашел к себе домой, хозяйка вышла мне навстречу с телеграммой. Это были две строчки от Сильвестра:

«По рукам. Малыш едет вечерним пароходом. Заменяю ему отца.

С.».

В час ночи, значит, он уже будет здесь. Я ужаснулся своей опрометчивости. Я еще ничего не приготовил. Даже не сообщил хозяйке о приезде постояльца. Я думал все устроить не спеша, а теперь из-за бестактной торопливости Сильвестра на все оставалось полчаса.

Однако что-то надо делать, и притом немедленно. Я повернулся к миссис Браун. Я очень верил в ее материнские инстинкты. И еще больше, как это свойственно нашему полу, в доброе сердце хорошеньких женщин вообще. Однако, признаюсь, я струсил. Изобразив на лице улыбку, я пытался изложить суть дела с классической простотой и непринужденностью. И сказал даже:

— Если афинский шут у Шекспира, миссис Браун, полагал, что лев среди дам — это чудовищно¹, то что же тогда...

Тут я осекся — я сразу заметил, что миссис Браун с невероятной, чисто женской пронизательностью следит не за тем, что я говорю, а за тем, как я это говорю. Тогда, решив испробовать стиль делового лаконизма, я сунул в руку ей телеграмму и торопливо сказал:

¹ Имеется в виду сцена из комедии В. Шекспира «Сон в летнюю ночь».

— Надо немедленно принять меры. Это пелепо, но сегодня в час ночи он будет здесь. Тысяча извинений, дела, знаете ли,— не имел возможности сообщить заблаговременно...

Фразу я не кончил: не хватило воздуха и смелости.

Миссис Браун прочла телеграмму с очень серьезным лицом, подняла свои хорошенькие брови, перевернула бумажку и посмотрела, что на обороте, затем холодным, отчужденным тоном спросила, надо ли понимать так, что и мать тоже едет.

— Да нет! — воскликнул я с глубоким облегчением. — Ее ведь нет в живых. Сильвестр, приятель мой, приславший эту телеграмму, убил ее, когда Малышу не было и трех дней.

Тут миссис Браун так изменилась в лице, что я понял: спасти меня может только подробное объяснение. Торопливо и, боюсь, не совсем связно я рассказал ей все.

Миссис Браун смягчилась, — это вышло у нее так мило. Она сказала, что я напугал ее рассказами о львах. А я считаю, что мои описания бедного Малыша, пускай немного приукрашенные, тронули ее материнское сердце. Она даже слегка досадовала на Сильвестра за его, как она выразилась, бессердечие. Но все-таки меня томили опасения. С тех пор как мы с ним виделись, прошло два месяца, вскользь брошенное замечание Сильвестра о том, что «левой он бьет потрясающе», тревожило меня. Я посмотрел на милую, чуткую миссис Браун и, вспомнив о щенках Уотсона, пристыженно потупился.

Миссис Браун готова была ждать вместе со мной его приезда. Пробыло час, но Малыша все не было. Потом пробило два, пробило три часа... Уже почти в четыре вдруг раздался страшный стук копыт, какая-то повозка с резким скрипом осадилась у дверей. Я мигом отворил их и увидел незнакомого человека, а лошади в то же мгновение сделали попытку унестись вместе с фургоном.

У человека вид был, мягко говоря, расстроенный. Одежда была вся истрепанная и изорванная, брезентовая куртка на плече болталась, как пелерина герольда; одна рука была в повязке, лицо расцарапано, всклокоченная голова не покрыта. И в довершение картины, он, должно быть, поискал забвения всех горестей в вине. Качаясь во все стороны, не выпуская дверной ручки, он хрипло заявил, что в фургоне для меня кое-что есть. Едва он выговорил это, лошади опять рванулись.

Миссис Браун предположила, что они чем-то напуганы.

— Напуганы! — засмеялся незнакомец с горькой иронией. — Ну что-о вы! Лошади не напуганы. Пока доехали, только четыре раза понесли. Что-о вы! Никто не напуган. Полный порядок. Так я говорю, Билл? За борт упали только два разочка, в люк сбиты один раз. Это же ерунда. В Стоктоне двух в больницу положили. Это же ерунда. Шестьсот долларов — и все убытки покрыты.

Я был слишком подавлен, чтобы возражать, но сделал шаг к фургону. От удивления незнакомец чуть не протрезвел.

— Вы что, хотите взять его руками? — спросил он, смеривая меня взглядом с головы до пят.

Я не ответил и с невозмутимым видом, далеко не отражающим действительное положение вещей, пошел к фургону и позвал:

— Малыш!

— Ну если так... Что ж... Разрежай ремни, Билл, и отходи.

Ремни разрежали, и Малыш — неумолимый, наводящий ужас на людей Малыш — тихонько вывалился на землю, подкатился ко мне и стал тереться о меня своею голой головой.

От изумления два его провожатых, кажется, лишились дара речи. Так и не проронив ни слова, пьяный незнакомец залез на козлы и тотчас же укатил.

А Малыш? Он, правда, вырос, но был худ, и было видно, что с ним плохо обращались. Его прекрасный мех, нечесаный, сваялся, а когти — те крючочки из блестящей стали — безжалостно обрезали под корешок. Глядел Малыш пугливо, беспокойно; прежнее глупенькое благодушие сменила осмотрительная настороженность. Должно быть, от общения с людьми он стал смысленнее, но нравственность его не стала выше.

Не без труда я охладил пыл миссис Браун (она уже готова была кутать его в одеяла и расстраивать ему желудок деликатесами своей кладовой) и успокоился, когда, свернувшись в круглый ком, он наконец уснул в углу у меня в комнате. Я бодрствовал и строил планы его жизни. В конце концов решил, что завтра же поеду с ним в Окленд, где у меня был маленький коттедж. Там я обычно проводил все воскресенья. Среди розовых видений семейного счастья я уснул.

Проснулся я, когда было уже совсем светло. Я тотчас посмотрел в тот угол, где лежал Малыш, — его там не было. Я вскочил с кровати и посмотрел, нет ли его под ней, обыскал чулан — тщетно. Дверь была, как и прежде, заперта, но вот окно закрыть я позабыл — на подоконнике были следы обрезанных когтей. Очевидно, он убежал этим ходом. Но куда? Окно выходит на балкон, другая дверь туда ведет из коридора... Значит, он еще в доме.

Рука моя потянулась к звонку, но я успел ее отдернуть. Если Малыш не заявляет о себе, стоит ли поднимать на ноги целый дом? Одевшись наскоро, я выскользнул из комнаты. Увидел я прежде всего сапог, лежащий на ступеньке. Сапог носил на себе явные следы зубов. Я обвел взглядом коридор; увы, сомнений не было: привычные ряды свежевывчищенных сапог и ботинок перед дверями постояльцев исчезли. Еще через несколько ступеней я увидел другой сапог, но уже ваксу с него тщательно слизали. На третьем этаже было еще два или три жеваных сапога, но тут Малыш, по-видимому, потерял вкус к ваксе. Подальше начиналась лестница, ведущая через чердак к верхнему люку. Я поднялся и был теперь на плоской крыше, сообщавшейся с довольно длинным рядом крыш, вплоть до последней — крыши углового дома. На самой дальней, за трубой, что-то чернело. Это был беглый Малыш. Мех его густо покрывали пыль, глина, битое стекло. Малыш сидел и с виноватым, но счастливым видом грыз огромный кусок леденца с орехом. Мне показалось даже, что, увидев меня, он слегка похлопал себя по животу свободной лапой. Он знал, кого ищу я, взгляд его красноречиво говорил: «Ну, что туда попало, того не отнимешь».

Захватив его прямо с полочным, я погнал его к люку, потом на цыпочках спустился с ним по лестнице. Судьба нас миловала — лестница была пуста; Малыш на мягких лапках шел совсем неслышно. Наверное, он чувствовал опасность положения: он перестал дышать (во всяком случае, грызть леденец, который еще был у него за щекою). Бесшумно крался он подле меня, и с его стиснутых челюстей капала патока. Он, кажется, решил скорее задохнуться, не издав ни звука, лишь бы меня не выдать...

Но только в комнате, где тяжело переводя дух, бухнулся я на кушетку, мне стало ясно, как Малыш был близок к этому. Он судорожно и конфузливо глотнул два раза, пошел сам в угол и, свернувшись, лег там, как

огромная «вишня в сиропе», полный раскаяния и липкой патоки.

Я запер Малыша и вышел к табльдоту¹. Тут обнаружилось, что постояльцев миссис Браун необычайно волновали странные события прошедшей ночи и ужасные открытия этого дня. Во все дома квартала, как видно, через чердаки проникла воровская шайка. Внезапно испугавшись чего-то, грабители покинули наш дом, не успев ничего унести, и даже побросали обувь, забранную в коридорах. Но на углу, в кондитерской, произвели отчаянную попытку взломать кассу и разнесли стекла витрины вдребезги. Храбрая горничная из четвертого номера видела одного грабителя в маске. На четвереньках он пытался пролезть в люк, но после ее окрика: «Пошел отсюда!» — сейчас же скрылся.

Я слушал все это, сгорая от смущения, боясь поднять глаза, чтобы не встретить испытующий лукавый взгляд миссис Браун. При первом же удобном случае я вышел из-за табльдота, взбежал по лестнице и скрылся от расспросов в своей комнате. Малыш все еще спал в углу. Рискованно было везти его теперь, не подождав, пока соседи разойдутся, и я подумывал, не лучше ли оставить его здесь до темноты, чтобы не так била в глаза его навязчивая самобытность, как вдруг из коридора осторожно постучали. Я отворил. Миссис Браун бесшумно проскользнула в комнату, тихонько притворила дверь и, прислонившись к ней спиной, не выпуская ручки, с конспиративным видом подала мне знак приблизиться. Потом приглушенно спросила:

— Краска для волос ядовита?

От удивления я не нашелся что ответить.

— А, полно, вы же знаете, о чем я говорю, — нетерпеливо сказала она. — Вот эта штука. — Она вдруг вытащила у себя из-за спины бутылку с такой пространной этикеткой на латыни, что ею можно было два или три раза спиралью обернуть бутылку сверху донизу. — Он говорит, это не краска, а состав для укрепления из растительных веществ.

— Кто говорит? — спросил я в отчаянии.

— Ну мистер Паркер, разумsetся! — сказала она раздраженно, как будто двадцать раз уже произносила это

¹ Табльдот — общий стол (с общим меню) в пансионатах, ресторанах.

имя.— Пожилой джентльмен из комнаты над вами. Но я хочу, чтобы вы сказали мне одно,— продолжала она со спокойной настойчивостью, словно ловила меня на желании увильнуть от прямого ответа,— если немножечко такого вот состава налить на блюдце и нечаянно оставить на столе, а кто-то из детей — какой-нибудь малыш или, допустим, кошка или другой какой звереныш — влезет в окно и выпьет эту жидкость (полное блюдце, заметьте, потому что на вкус она сладкая), может ли наступить отравление?

Я с беспокойством посмотрел на мирно спящего Малыша и с глубокой признательностью на миссис Браун и сказал, что, по-моему, нет.

— Вы понимаете,— произнесла она высокомерно, открывая дверь,— ведь если средство ядовито, надо немедленно принять все меры. Вы понимаете,— отбросила она высокомерный тон, в неистовом порыве заключив в объятия Малыша (он безмятежно спал в углу),— если от гадкого состава этот чудный цвет станет ярко-зеленым или пронзительно розовым, это убьет его мамочку — совершенно убьет!

И прежде чем я мог заверить миссис Браун, что краски для волос не действуют, когда их принимают внутрь, она бросилась вон из комнаты.

Вечером я и Малыш с осторожностью дезертиров вышли из дома. Не доверяя легко возбудимой натуре благородного животного — лошади, я попросил одного дюжего ирландца доставить необычный мой багаж до переправы на ручной тележке. Но и тут Малыш готов был ехать, только если я шел рядом, а иногда даже садился внутрь.

— Мой бог,— сказала миссис Браун (закутавшись в большую шаль, она спустилась проводить нас),— мой бог, как все это торжественно, ну просто похороны бедняка!

Действительно, я шел в ту ночь возле тележки с чувством человека, отдающего последний долг какому-нибудь бедному товарищу; а когда ехал в ней, не сразу вспоминал, что я не подвергался сильному воздействию спиртных напитков и не пострадавший, едущий в больницу. Наконец мы прибыли на переправу. На пароме, кажется, никто не обнаружил Малыша, хотя какой-то пьяный подошел ко мне, чтоб прикурить сигару, но тут же выронил ее и в ужасе бежал в мужскую комнату, где

его несуразные речи приняли, к счастью, за ранние признаки белой горячки.

Около полуночи добрался я до своего коттеджика на окраине Окленда и в приятном сознании, что все позади, вошел, запер дверь и спустил Малыша на пол прихожей (довольный тем, что собственность, которую я подвергаю риску, теперь уже не чья-то, а моя). Он вел себя хорошо в этот вечер; сделал одну попытку влезть на вешалку для головных уборов, ошибочно поняв, что она предназначена для его упряжжений, сбил шляпы и уснул спокойно на половике.

Через неделю моцион на свежем воздухе (внутри большого, тщательно огороженного досками загона) восстановил его здоровье и силы, веселое расположение духа и почти всю былую красоту. Существование его оставалось тайной для соседей, — хотя замечено было, что лошади неизменно шарахались, проезжая с подветренной стороны моего дома, и что молочник и булочник просто из сил выбивались, развозя по утрам свой товар, и при этом позволяли себе весьма крепкие и неподобающие выражения.

В субботу я решил позвать кое-кого из друзей, чтобы продемонстрировать им Малыша, и даже написал несколько официальных приглашений. Рассказав вкратце о больших затратах и опасностях, связанных с его поимкой и обучением, я предложил вниманию приглашенных программу выступления «вундеркинда лесов Сьерры», составленную с профессиональным изобилием алитераций и заглавных букв. Приводимая ниже выдержка даст читателю некоторое представление о том, как Малыш успел в науках:

1. Он свернется в Клубок и будет с Невероятной Быстротой скатываться с Деревянного Настила, изображая Уход от Врага в глуши Родных Лесов.

2. Он поднимется по Колодезному Багру и достанет с самого верха Шляпу, то есть то, что останется от ее полей и тульи.

3. Он покажет Пантомиму, повествующую о делах Медведя Большого, Медведя Поменьше и Маленького Медвежонка — героев популярной детской сказки.

4. Он будет неистово потрясать Цепью, изображая, как в Медвежьих уголках Сьерры вселяет он Смятение и Ужас в сердце Одинокого Путника.

Настал день выступления, но за час до начала негод-

ник исчез. Повар-китаец не знал, куда он девался. Я обшарил весь дом, а затем схватил шляпу и в отчаянии побежал по тропинке, которая через открытое поле шла к лесу. Нигде не было никаких следов Малыша Сильвестра. После целого часа бесплодных поисков я возвратился и увидел, что на веранде уже собрались мои гости. Я в нескольких словах рассказал им о постигшей меня неприятности, быть может, утрате, и попросил помочь.

— Как, — сказал один из гостей (испанец, гордившийся знанием английской грамматики), обращаясь к Баркеру, который, сидя на веранде, тщетно пытался переменить положение, — как это получается, что вы не отделяете себя от веранды нашего друга? И почему, о небо, она так липнет к вам, и вы так исказили себя? Ах, — продолжал он вдруг, с большим усилием отрывая ногу от веранды, — я и сам неотделим. Нет, тут что-то есть.

Там действительно что-то было. Все мои гости поднимались с трудом. Пол веранды был весь покрыт какой-то клейкой массой. Это была... патока!

Мне все стало ясно. Я бросился в сарай. Бочонок «золотистой патоки», купленный только накануне, лежал на полу пустой. По всему загону тянулись липкие следы, но Малыша по-прежнему не было.

— Смотрите, там, около кучи глины, шевелится земля! — воскликнул Баркер.

Действительно, в одном углу загона почва двигалась, как от землетрясения. Я осторожно приблизился. Только теперь я заметил, что земля здесь разрыта и в середине огромной, похожей на могилу ямы, пригнувшись, сидит Малыш Сильвестра и, не переставая копать, медленно, но верно исчезает из глаз в грудах земли и глины.

Зачем он это делал? То ли, мучимый совестью, хотел скрыться от моего укоризненного взгляда, то ли просто хотел обсушить свой измазанный патокой мех — этого я никогда уж не узнаю: увы, то был последний день, что мы с ним проводили вместе.

Мы поливали его из насоса два часа, но и потом с него еще стекала струйка жидкой патоки. Затем мы взяли его, туго завернули в одеяла и заперли в кладовой. Наутро его там не оказалось! Нижней части оконного переплета тоже не стало... Опыты с хрупким стеклом кондитерской, которые он так успешно проводил в первый же день своего приобщения к цивилизации, не пропали даром. Первая

попытка сопоставить причину и следствие завершилась побегом.

Куда он убежал, где прячется, кто поймал его, если он не успел уйти в горы за Оклендом? Предложенное мной солидное вознаграждение плюс все старания опытных полисменов не помогли мне обнаружить это. Я уж не видел его больше с того дня до...

Видел ли я его? На днях я ехал в конке по Шестой авеню, как вдруг лошади заупрямились и под проклятия и окрики возницы рванулись прямо на тротуар. Перед конкой быстро выросла толпа вокруг двух дрессированных медведей с вожаком. Один из животных — худой, изможденный, какая-то пародия на мощь дикого гризли, — привлек к себе мое внимание. Я постарался, чтоб и он меня заметил. Он повернул ко мне невидящие, мутные глаза, ничем не показав, что перед ним знакомый. Я высунулся из окна и тихо позвал: «Малыш!» Он не повел и ухом. Я закрыл окно. Конка уже тронулась, но в тот момент медведь вдруг обернулся и то ли намеренно, то ли случайно ударил своей огрубелой лапой прямо по стеклу.

— Стекло-то полтора доллара стоит... — сказал кондуктор, — так, пожалуй, все начнут возиться с медведями...

Д

умаю, даже самый заядлый любитель лошадей, этих «полезных и благородных животных», не станет утверждать, что им свойственны такие качества, как доброта и отзывчивость, и к тому же безграничная преданность хозяину. Существа, которые не смотрят вам прямо в глаза, а только поглядывают искоса, со страхом и недоверием или примериваясь, куда бы получше вас лягнуть; существа, которые не умеют отвечать на ласку и чаще всего выражают свои чувства презрительным вздергиванием головы, — эти существа, вероятно, и могут быть названы «полезными» и «благородными», но вряд ли они делают жизнь веселее. Я мог бы пойти гораздо дальше и заявить, что из всех домашних любимцев, которых знает человечество, лошади одни (за исключением только, пожалуй, золотых рыбок) способны вызывать совершенно безответную страсть. Считаю эти предварительные замечания необходимыми для того, чтобы доказать, что моя безнадежная любовь к Чу-Чу не была какой-то индивидуальной аномалией. Спешу отметить, что вдобавок ко всем чертам характера, свойственным лошадиному роду в целом, Чу-Чу отличалась еще и строптивостью, присущей ее ветреному полу.

Я взял ее из грязи — она уныло месила ее своими ногами, привязанная к задку переселенческого фургона. Это была юная и необъезженная лошадка — она успела уже стряхнуть со своей спины всех в караване, кто ни пытался ее оседлать, и, хотя была вся покрыта пылью, все же видно было, что масти она удивительно красивой, а таких огромных блестящих глаз я в своей жизни никогда не видел. Последние служили ей, по-моему, исключи-

тельно для украшения — она не смотрела, а приплюхивалась, поводила ушами, даже приподнимала, словно пробуя что-то, тонкую переднюю ногу. Правда, в первую нашу встречу она бросила мне кокетливый взгляд — так мне по крайней мере показалось, — впрочем, поскольку ее хозяин почему-то в эту минуту крикнул: «Берегитесь!» — я не берусь этого утверждать. Знаю только, что в результате переговоров, полных значительных недомолвок, и после того, как значительная сумма денег перешла из одних рук в другие, я осталась один на дороге, глядя вслед удаляющемуся фургону, — в руках у меня был конец тридцатифутовой риаты¹, к которой была привязана Чу-Чу.

Я слегка потянул за свой конец и нерешительно шагнул к ней. Тогда она с самым презрительным видом тронулась с места и, натянув повод до предела, закружила вокруг меня. Я стоял и с восхищением следил за ее свободными движениями, не думая о том, что надо бы поворачиваться вслед за нею, — и спохватился, лишь когда она обмотала вокруг меня почти всю риату. Никогда не забуду, как страшно она удивилась, обнаружив, что подошла ко мне, почти вплотную, — от удивления она чуть не сбила меня с ног. Она принялась изо всех сил тянуть повод, так что ее узкая морда и красиво изогнутая шея напряглись, словно струна, а потом вдруг успокоилась и снизошла до того, что покорно последовала за мной, — правда, шла она при этом как-то боком, то справа от меня, то слева. Но даже и тогда она то и дело вспоминала о моей отвратительной близости и снова начинала биться в истерике. При этом на меня она ни разу и не взглянула. Она смотрела на риату, пренебрежительно обнюхивала ее, своим изящным копытцем пробовала камешки, лежащие возле моих ног, увидав мои следы на влажном песке, словно Робинзон Крузо, с ужасом кидалась в сторону, но на меня не обращала ни малейшего внимания. Только остановится, задумчиво опустив голову и словно говоря: «Ну да, тут есть поблизости что-то странное, — не знаю, животное это, растение или ископаемое, — не пойму что-то, но съесть его нельзя, и мне оно противно и омерзительно».

Добравшись до своего дома на окраине, я решил, прежде чем отвести Чу-Чу в загон, зайти в комнаты и сообщить домашним о своем приобретении; я привязал ее к одинокому платану на перекрестке двух довольно люд-

¹ Р и а т а — длинная веревочная уздечка.

ных улиц. Я пробыл в доме очень недолго, как вдруг услышал шум и крики и, выскочив на дорогу, увидел, что Чу-Чу своей риатой прочно прикрутила двух моих соседей к дереву, где они и стояли, подобно ранним христианским мученикам. Освободив их, я узнал, что, привлеченные красотой и изяществом Чу-Чу, они приблизились к ней, желая выразить ей свое восхищение, на что она ответила известным уже мне круговращением, приведшим к такому печальному исходу. Осторожно, стараясь держаться подалее от коварной риаты, отвел я ее к загону, где ворота были уже предусмотрительно растворены. Хотя ворота были настолько широки, что в них без труда прошел бы полк конницы, она притворилась, что не замечает этого, и, входя, сбила часть ограды. Поначалу она отказывалась войти в стойло, но, внимательно исследовав его копытами, с притворной покорностью потянула ноздрями, снизошла — не бросив на него ни единого взгляда — до овса, насыпанного в ясли, и была торжественно водворена на место. Все это время она решительно игнорировала мое присутствие. Я стоял, глядя на нее, как вдруг она перестала есть — задумчивость снова овладела ею.

«Нет, я не ошиблась, это мерзкое существо снова здесь», — казалось, подумала она и содрогнулась при этой мысли.

Тогда я решил рассказать о моем безответном чувстве к Чу-Чу одному из соседей, который считался большим знатоком лошадей, особенно той полудикой мороды, к которой принадлежала Чу-Чу. Он поразил меня тем, что облокотился о стойло, где она, не обращая, как всегда, на нас никакого внимания, спокойно жевала овес, и осмелился погладить ее челочку, которая кокетливо вилась над прелестной белой звездой у нее на лбу.

— Понимаете, капитан, — сказал он, небрежно изогнувшись, — лошади — что твои женщины! Последнее это дело с ними робеть или мяться, тут нужна решительность, такая небрежная фамильярность, спокойная, но твердая рука, чтоб она видела, кто здесь хозяин. Ну, вот, хотя бы так...

Мы так никогда и не узнали, как это случилось; но, когда я поднял своего соседа с порога, где он лежал среди щепок, отлетевших от перекладины стойла, весь обсыпанный овсом, каким-то таинственным образом попавшим ему даже в волосы и карманы, Чу-Чу стояла к нам задом, внимательно разглядывая свои передние ноги, в то время

как задние ее ноги почему-то находились в соседнем стойле. В конюшне сосед толковал о возмещении убытков, а выйдя на свежий воздух, заговорил о физическом увечье. Но тут Чу-Чу каким-то чудом повернулась, и сосед поторопился удалиться, схватив свою шляпу с оторванными полями и так и не закончив начатой фразы.

Следующим моим посредником был Энрикес Сальтильо — молодой человек моего возраста и брат Консуэло Сальтильо, которую я обожал.

Мы твердо верили, что благодаря своему испанскому происхождению он сможет лучше понять нрав Чу-Чу (она-то на добрую половину была испанкой), и я даже смутно надеялся, что по языку и выговору она распознает в нем родную душу. Впрочем, тут было одно затруднение, ибо он предпочитал говорить на своем удивительном английском наречии, соединявшем кастильскую изысканность с тем, что представлялось ему настоящим калифорнийским жаргоном.

— Насчет этой кобылки я могу вас уверить, что она — заметьте это себе накрепко — совсем не мексиканский мустанг! О, нет! Свои сапоги вы можете смело ставить — и не проиграете! Она кастильских кровей — разразите меня громом, но поверьте мне! Я сам буду изучать и надзирать ее в разное время в стойле, я прослежу ее буйства и раскрою их причину. А если она взыграется, я приближусь к ней и усмирю ее. Будьте безмятежны, мой друг! Когда пройдет несколько дней, многое изменится, и она станет как другая. Доверьтесь дядюшке Энрикесу! Вы меня поняли? Все будет в лучшем виде, и гусь повиснет в небе!

На следующий день он спокойно «надзирал» ее, зажав сигарету между двумя пожелтевшими от никотина пальцами, — она выразительно чихнула, но, впрочем, прислушалась к испанской образности его речи с некоторым даже снисхождением. Однако, по-моему, она не удостоила его ни единым взглядом.

Напрасно он клялся ей, что она самая «дражайшая» и самая «крошечная» из всех его «дражайших крошек», напрасно называл ее своей «святой покровительницей», заверяя, что душа его ликует, когда он молится ей, она принимала все его комплименты, не отводя глаз от кормушки. Истощив свой запас ласкательных имен, он пополнил его несколькими шутивными и смелыми находками, но она все стояла с низко опущенной головой,

словно вдумываясь в его слова. Он провозгласил, что это уже достижение, если вспомнить о ее прежних выходках. Возможно, во мне заговорила ревность, но мне показалось, будто в эту минуту она думала: «Боже мой! Неужели их уже двое?»

— Мужайтесь, мой друг! Наберитесь терпения,— говорил он, медленно идя вместе со мной к выходу.— Эта кобылка молода, она еще не сформировалась как личность. Завтра, в более благоприятное время, я ее потрублю по холке (у меня есть все основания предполагать, что Энрикес хотел сказать «потреплю»), и тогда посмотрим. Это так же просто, как упасть с бревна. Немного сладких речей — на них-то ваш друг Энрикес такой мастер,— два-три шлепка по шее, и все становится на свои места. Вы встаете с правильной ноги! Гоп-ля! Но не будем предугадывать это событие: чем больше торопишься, тем меньше ускорения.

Эти его слова явно не расходились с делом — он стоял в двух шагах от порога и не торопился выходить из конюшни.

— Пошли! — сказал я.

— Простите,— отвечал он с изысканным поклоном,— я выйду после вас, ведь конюшня ваша.

— Да ну, идите же! — воскликнул я нетерпеливо.

К моему удивлению, он внезапно скрылся в конюшне. Через мгновение он вновь появился на пороге.

— Нардон, но я сдержан! Клянусь богом, в эту самую минуту эта лошадь хватает меня своими зубами за фалды... Она желает, чтобы я остался! Мне кажется... — тут он опять пропал,— что... — он снова появился — ...что наш эксперимент удачен! Она отвечает лаской. Она, клянусь богом, от меня без ума! Это любовь!.. — Тут Чу-Чу потянула сильнее, и он исчез.— Но... — он с торжеством возвратился, оставив у нее в зубах добрую половину своего костюма,— ...но я буду жестокосердным!

На следующий же день мой доблестный друг, ничуть не смущаясь своей неудачей, явился ко мне в полном облачении объездчика, неся в руках мексиканское седло. Тяжеленные кожаные штаны с разрезами до колен, окаймленные литыми пуговицами, огромное плоское сомbrero и короткая бархатная куртка, стоящая колом от покрывавшей ее вышивки, казалось, пригибали его к земле, и все же меня гораздо больше занимало огромное седло и прочее снаряжение, предназначенное для моей изящной

Чу-Чу. Мне было совершенно ясно, что оно скроет прекрасные линии и изгибы ее стройного тела и что оно слишком тяжело для нее; понимал я также и то, что она будет из всех сил сопротивляться. Однако, когда ее вывели из конюшни и ловко набросили на нее седло, она, к великому моему удивлению, оставалась совершенно безучастной.

Неужто та небольшая толика испанской крови, которая досталась ей в наследство от ее отдаленных родичей, обрадовалась этому могучему объятию? Она не оглянулась, не расширила ноздри. Но стоило Энрикесу потянуть подпругу, как случилось нечто странное. На наших глазах Чу-Чу раздула свое брюхо чуть ли не вдвое — чем больше он затягивал, тем больше она раздувалась. Мне стало стыдно за нее. Но Энрикес и глазом не моргнул. Он улыбнулся и спокойно погладил свои редкие усы.

— О, это всегда так! Ее бабушка вела себя точно так же! Даже когда седлаешь благородных кастильцев, они раздуваются, словно воздушный шар. Это у них такой фокус... Их маленькая игра... Поверьте мне... Но только зачем?

Я не отвечал, ибо в этот самый момент я с удивлением увидел, что седло медленно соскользнуло Чу-Чу на живот, а стан ее принял, словно по волшебству, свои прежние стройные очертания. Энрикес глянул, приподнял плечи, пожал ими и с улыбкой промолвил:

— Ну вот, видите!

Когда подпруга была наконец закреплена (неутомимый Энрикес подтянул ее еще разок-другой), мне показалось, что Чу-Чу втайне порадовалась этому, — известно ведь, что слабый пол любит тесную шнуровку. Она глубоко и, как мне показалось, удовлетворенно вздохнула, изогнула шею, очевидно, для того, чтобы полюбоваться своей фигурой. Энрикес при этом отшатнулся в сторону, — чтобы не помешать ей, несомненно. Затем наступил момент, которого я так страшился. Энрикес положил руку Чу-Чу на холку, внезапно приостановился, с подчеркнутой учтивостью снял шляпу и повел ею в направлении седла.

— Надеюсь, вы окажете мне честь быть первым...

Я засмеялся и покачал головой.

— Понимаю, — сказал Энрикес глубокомысленно. — В два по часам вы должны быть на погребении тетушки, которая скончалась. Вы должны встретиться со своим

маклером, который купил вам пятьдесят акций, вы должны увидеться с ним сию же минуту, а не то вы погибли. Вы освобождаетесь... внимание! Джентльмены, пока не поздно, заключайте пари! Оркестр уже играет! Алле, гоп!

И быстрым движением отважный юноша вскочил в седло. К величайшему нашему удивлению, Чу-Чу не дрогнула. Гордо выпрямившись, Энрикес стоял в стременах, словно юный Дон Кихот, оседлавший своего сонливого Росинанта¹, — крылья седла, краги, гигантские шпоры совершенно скрыли благородные пропорции Чу-Чу. Она закрыла глаза, казалось, она засыпает. Мы были страшно раздосадованы. Куда же это годится? Энрикес тихонько шевельнул поводьями. Чу-Чу медленно тронулась с места, затем остановилась, очевидно, погрузившись в размышления.

— Приблизьтесь к ней с той стороны.

Я осторожно приблизился. Внезапно она взвилась в воздух и с силой опустилась на прямые, как палки, ноги. За этим последовала серия рывков по всему выгону — их даже прыжками нельзя было назвать, — скорее они напоминали движения ракеты. А то, что проделывал сейчас несчастный Энрикес, никак невозможно было назвать верховой ездой. Он появлялся то над головой у Чу-Чу, то где-то у хвоста, то у шеи, а то и просто в воздухе — где угодно, но только не в седле. Его напружившиеся ноги, правда, безошибочно находили стремяна, послушно вторя резким скачкам лошади. К тому же сам всадник вместе со своим седлом и всей сбруей был таким несоразмерно громоздким по сравнению с Чу-Чу, что временами казалось, будто это он каким-то сверхъестественным усилием приподнимает ее в воздух и заставляет проделывать все эти фокусы. Они двигались прямо на меня — бешеный, взметающийся, рвущийся клубок, в котором изредка мелькали то копыта, то шпоры; и разобрать, где из них кто, было совершенно невозможно, как невозможно было отличить, когда прыгает Чу-Чу, а когда — Энрикес. Наконец Чу-Чу положила всему этому конец — она устремилась к стоящему на краю участка дубу, низко склонив-

¹ Дон Кихот — герой романа испанского писателя Сервантеса (1547—1616) «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский». Имя Дон Кихота стало нарицательным для обозначения человека, чье благородство, великодушие и готовность на подвиги вступают в трагические противоречия с действительностью. Росинант — имя лошади Дон Кихота.

шему свои ветви над землей. Через несколько мгновений она показалась из-за дуба, но уже без Энрикеса в седле!

Я нашел своего доблестного друга на дереве. Прочно вклинившись в развилину могучей ветви, он улыбался все с той же уверенностью в собственных силах, а во рту его торчала неизменная сигара. Увидев меня, он впервые за это утро вынул ее изо рта и, свесив вниз ноги и удобно устроившись на ветке, одним мягким, но решительным жестом отмел все мои тревоги и волнения.

— Будьте безмятежны, мой друг! Это не в счет! Я победил — вы наблюдали, — но почему? Я ни разу — ни одного разу — не уронил себя на землю! Натурально, она разочаровалась! Она желала меня повергнуть! Но я ее прибрал к рукам с молодых копыт. Ваш дядюшка Энри... — тут он с ангельской улыбкой подмигнул мне, — хитер, как муха. С ним шутки плохи. У него стеклянный взор! Поверьте мне!.. Итак, смотрите! Вот он я! Алле, гоп!

И он легко спрыгнул на землю. Чу-Чу, стоявшая неподалеку настороже, не смогла скрыть своего удивления. Она энергично взбрыкнула задними ногами и взвилась в воздух с такой силой, что стремяна взлетели высоко над седлом, а затем поскакала в конюшню странными заячьими прыжками, предусмотрительно избавившись от седла, грохнув им о дверной косяк.

— Вы наблюдаете, — спокойно заметил Энрикес, — ей хотелось бы сделать это со мной. Но случай не представился, и она недовольна. Что вы на это скажете?

Спустя два дня он снова попытался объездить ее — результат был все тот же, и он принял его с тем же героическим благодушием. Так как мы по определенным соображениям не рвались упражняться на открытой посторонним взорам дороге, а удалить дерево из загона было невозможно, пришлось покориться неизбежному. На следующий день в седло сел я. Мне пришлось претерпеть все то же, что выпало на долю Энрикеса, с добавлением кое-каких личных ощущений: мне казалось, что меня швырнули из окна трехэтажного дома прямо на стоящую внизу конторскую табуретку, а для разнообразия выстрелили мною куда-то через забор. Обнаружив, что Чу-Чу не сопровождала меня в этом полете, я поднял глаза и увидел стоящего подле меня Энрикеса.

— Более чем когда-либо необходимо, чтобы мы проделали это снова, — сказал он торжественно, помогая мне подняться на ноги. — Мужайтесь, мой доблестный гене-

рал... Бог и свобода — вот наш боевой клич! Снова в прорыв! В атаку, мой друг, в атаку! Идемте же, дон Стэйли! Вот так!

С этими словами он помог мне взгромоздиться в седло; и это немедленно возымело то же действие, что поворот пресловутого колышка на волшебного коня из арабских сказок: Чу-Чу взвилась в воздух. На этот раз она приземлилась у раскрытого окна кухни, и я с необычайной легкостью взлетел на буфет. Неутомимый Энрикес последовал за мной.

— Может быть, хватит? — спросил я робко.

— Вы делаете успехи! — ответил он радостно. — Вы не на земле, и это — самое главное! Нужно делать не одну, но тысячу попыток! Ха-ха! Идите и побеждайте! Никогда не умирайте и не говорите о смерти! Вперед! В атаку! Гоп-ля!

К счастью, на этот раз мне удалось сцепить колесики шпор у Чу-Чу под брюхом, и она не смогла выбросить меня из седла.

По-видимому, сделав несколько прыжков, она поняла это, после чего, к величайшему моему изумлению, внезапно легла на землю и спокойно перекатилась через меня. В результате шпоры мои расцепились — она же, не поднимаясь на ноги, выпрямилась, повернула свою прелестную голову и взглянула мне прямо в глаза. (Я все еще сидел в седле.) Я почувствовал, что краснею! Но тут рядом раздался голос Энрикеса:

— Воспряньте, мой друг! Вы победили! На землю уронила себя она! Победа за вами! Дело сделано. Поверьте мне, все кончено! Больше она ничего такого делать не будет. С этого момента можете садиться на нее, как на корову, как на перекладину этого забора, — и будьте безмятежны! Она укрощена! Господа, можете надеть шляпы! Передайте-ка мне ваши чеки. Представление окончено. Ну, как вы себя чувствуете?

Он закурил и, положив руки в карманы, ласково улыбнулся мне.

Все же я рискнул заметить, что обычай взлетать, слезая с лошади, на развилину дерева или выползть из-под седла, оказавшегося на земле, сопряжен с неудобством и, более того, может привлечь излишнее внимание публики. Но Энрикес в один миг отмел все возражения.

— Важен принцип, основной факт, к которому вы приходите. Все остальное устроится само собой! А то ведь

многие лошади хватают всадника за колени и избавляются от него таким образом. У моего дедушки был такой конь-бербериец, но он умер, и дедушка тоже. Как это печально и странно! Иначе я тут же привел бы их в пример!

Надо заметить, что, хотя сестра Энрикеса ни разу не была свидетельницей всех этих представлений — и у него и у меня были на то достаточно веские основания, — она проявляла к ним живейший интерес и вследствие наших лестных отзывов друг о друге взирала на нас, как на бесстрашных героев. Возможно, она переоценила наши достижения, ибо однажды она неожиданно попросила, чтобы я прискакал на Чу-Чу к ее дому, так как ей хотелось посмотреть на нее.

Дом их был недалеко, и, если ехать улочкой, проходящей по задам, можно было избежать деревьев, которые роковым образом влекли к себе Чу-Чу. В голосе Консуэло звучала умоляющая, почти детская нотка, устоять перед которой я был не в силах, а в ее огромных черных глазах сверкнула искорка, которую мне не хотелось раздувать. Я решил рискнуть, чего бы мне это ни стоило.

Снаряжаясь в экспедицию, я во всем повторил костюм Энрикеса, только добавил к нему кое-какие украшения из серебра и тисненой кожи, желая польстить Консуэло, а также смутно надеясь умиротворить этим Чу-Чу. Она-то, конечно, выглядела великолепно, сбруя так и сияла на ее черных, как ночь, сверкающих боках. Приняв вид рассеянной скромницы, она позволила мне сесть в седло и первую сотню ярдов прошла стыдливой девической иноходью, не лишенной, правда, известного кокетства. Ободрившись, я обратился к ней со словами ласки; предавшись юношеским восторгам, я поведал ей о своей любви к Консуэло и умолял ее быть «умницей» и не позорить себя и меня перед мой Дульциней. В своей глупой доверчивости я даже приласкал ее, легонько похлопав по мягкой шее. Она мгновенно остановилась и истерически задрожала. Я знал, какая мысль мелькнула в ее голове: она внезапно отдала себе отчет в моем ненавистном присутствии.

К седлу и уздечке Чу-Чу мало-помалу привыкла, но что это за живое, дышащее существо, которое коснулось ее? Между тем в поле ее зрения появился дубовый лист, который, трепеща, кружился в воздухе. Думаю, что дубовые листья были ей не в новинку, — еще ее предки,

конечно, видели их в избытке на склонах холмов, в полях и на пастбищах. И все же это обстоятельство ничуть не поколебало ее глубокого убеждения, что я и лист едины и что ненавистные наши прикосновения каким-то образом неразрывно связаны между собой. Она взвилась на дыбы перед этим невинным листом, она обогнула его, а затем во весь опор поскакала от него прочь.

Дорога проходила мимо задней стены сада Сальтильо. К несчастью, в углу забора стояло прекрасное земляничное дерево, усыпанное яркими, пламенеющими ягодами, — оно было мне особенно дорого, ибо это было любимое место Консуэло, и под его сенью я не раз клялся ей в любви. По странной иронии судьбы Чу-Чу увидела его и во весь дух помчалась прямо к нему. Мгновение — и мы оказались под деревом. Чу-Чу взвилась в воздух, словно ракета. Я едва успел рвануть ноги из стремян, схватиться одной рукой за нависшую над дорогой ветку, прикрыв другой мое сверкающее сомбреро, как Чу-Чу уже неслась дальше. Устроившись поудобнее на дереве и оглядевшись вокруг, я, к своему величайшему огорчению, увидел, что она и не думала убежать, а спокойно протрусила через калитку в сад Сальтильо.

Нужно ли говорить, что спасением я снова был обязан своему благодетелю Энрикусу? Не прошло и минуты как я услышал под деревом его напряженный шепот. Ну конечно, он догадался об ужасной правде!

— Ради всего святого, собирайте же эти многочисленные ягоды! Как можно больше! Целую охапку! И будьте безмятежны! Ваш добрый дядюшка Энри представит все в деликатнейшем свете! Сию же минуту!

И он снова исчез. Я недоуменно сорвал несколько крупных кистей разноцветных ягод и принялся терпеливо ждать. Вскоре он появился в сопровождении прекрасной Консуэло, чьи прелестные глаза были исполнены самой очаровательной тревоги.

— Ну конечно, — говорил Энрикус сестре, таинственно понизив голос, однако произнося слова с необычайной отчетливостью, — каждый уважающий себя американец поступает именно так! Прежде всего он приветствует даму, которой наносит визит, цветами или фруктами, собственными собственными руками. Таков обычай американских гидальго¹! Великий боже! Ну что тут поделаешь!

¹ Гидальго (идальго) — рыцарь в средневекковой Испании.

Я так не поступаю — это уж верно! Не сомневаюсь, что он сейчас как раз этим и занят! Вот почему он позволил своей кобыле войти сюда первой: этикет требует, чтобы подношение совершалось в пешем виде. Ну конечно! Взирай, вот и он! Дон Франциско! Сейчас он спустится с дерева. Ах, ты краснеешь, сестренка? (Лукаво.) Я удаляюсь! Я тактичен: я знаю, один из двух лишний! Я даю стрекача! Я исчез!

Не знаю, насколько Консуэло поверила объяснениям своего хитроумного брата, я выяснять не стал, ибо, когда я подошел к ней со своим букетом, ее оливковые щечки окрасил румянец, а во взгляде мелькнула красноречивая робость, чего было вполне достаточно, чтобы повергнуть меня в состояние безнадёжного слабоумия.

К тому же я неизменно с глубокой горечью сознавал, что Консуэло склонна к чувствительной восторженности, а также к изысканнейшей средневековой романтике, в которых я — увы! — был позорно не осведомлен. Даже в самые счастливые наши минуты я всегда чувствовал, что безнадёжно отстаю от этой дщери мрачно прославленных предков, совершающей столь частые набеги в страну туманного, но поэтического прошлого. В тоненькой, но очаровательно величавой фигурке, ступившей мне навстречу, чтобы принять мои спасительные дары, было что-то от настоящей испанской сеньоры. Если бы не присутствие всевидящего Энрикеса, я, верно, упал бы на колени, вручая их. Только к чему я вспомнил, даже в эту минуту, что он прозвал ее «Помпой»? Это, как мог бы заметить сам Энрикес, было «печально и странно».

Запинаясь, я пробормотал что-то о том, что отдаю эти ягоды ей «во владение» (дерево росло в ее же собственном саду!), а она протянула смуглую ручку, нежно ответив на мой взгляд, исполненный неизъяснимого восторга.

Тут Чу-Чу, на миг забытая нами, отвлекла наше внимание самым приятным образом. К нашему удивлению, она чинно подошла к Консуэло и, вытянув стройную шею, не только с любопытством понюхала ягоды, но и потянулась своей черной нижней губой к самой Консуэло. Величавость Консуэло тут же растаяла без следа. Обняв Чу-Чу за шею, она ласкала и целовала ее. Как ни был я молод, я понял блаженный смысл этой страстной ласки, предназначенной совсем не Чу-Чу, и возликовал в душе. Но еще более поразило меня то, что обычно столь своенравная лошадка не только допустила эти вольности, но и ответила

на них, сделав вид, будто хочет укусить мою возлюбленную за ухо.

Для порывистой Консуэло этого было достаточно. Она бросилась в дом и через несколько минут появилась в умопомрачительной амазонке, собранной в складки вокруг ее тонкой талии. Напрасно Энрикес и я умоляли ее опомниться — ведь лошадь была еще совсем не объезженной, она и мужчину не всегда слушалась, страшно подумать, что сделает это пугливое создание, увидев, как развеивается по ветру женская юбка! Мы просили Консуэло отсрочить эту попытку, подумать как следует, наконец дать нам хотя бы время сменить седло. Но все было напрасно! Консуэло не отступала, она негодовала на задержку и осыпала нас самыми незаслуженными упреками. Конечно, если дон Панчо (хитроумное уменьшительное от моего имени) так дорожит своей лошадкой, если ему не нравится та очевидная симпатия, которую Чу-Чу проявила к ней, тогда, конечно, он вправе... Но тут я сдался! За что был вознагражден правом подержать — один краткий миг — ее ножку в своей ладони, поправить ей юбку, когда она устроилась в седле, высоко подогнув колено, и крепко обнять ее за талию — в какой-то мере, конечно, и от страха, — прежде чем передать поводья в ее руки. Признаюсь, что, когда мы с Энрикесом отскочили в сторону — правда, я настоял на том, чтобы держать конец рияты в руке, — трудно было не восхититься этой сценой. Грациозная фигурка девушки, живописные складки ее амазонки великолепно гармонировали с изящными очертаниями Чу-Чу, а когда лошадка выгибала стройную шею и, повинувшись узде, закидывала вверх маленькую головку, которая так походила на гребень бархатной тореадорской шапочки самой Консуэло, казалось, что всадница и лошадь — существа одной породы.

— Я не желаю, чтобы вы держали повод, — сказала Консуэло, надув губки.

Я колебался. Чу-Чу, несомненно, была в прекрасном расположении духа — я отпустил повод. Легкой иноходью она двинулась к воротам, в ее движениях не осталось и следа жемаиства, они были свободными и легкими. Несмотря на неподходящее седло, Консуэло сидела в нем как влитая. Подскакав к воротам, она бросила на меня озорной взгляд и рванула поводья — Чу-Чу галопом вылетела на дорогу.

Затаив дыханье, я в страхе следил за ними. В конце

улицы Консуэло слегка попридержала поводья, легко развернулась и прискакала обратно. Сомнений быть не могло — Чу-Чу совершенно подчинилась ей. Вторичное укрощение завершилось полной и окончательной победой!

Вне себя от радости и удивления, я осыпал их поздравлениями. Энрикес же, как и подобает брату, взирал на подвиги сестры со своим обычным скепсисом, а на восторги ее поклонника — со снисходительным превосходством. Я осмелился намекнуть Консуэло — шепотом, слышимым, как я полагал, только ей одной, — что Чу-Чу всего лишь выражает собственное мое отношение к ней.

— Несомненно, — спокойно заметил Энрикес. — Она сама помогла вам залезть на дерево, чтобы собрать ягод для моей сестры.

Но я почувствовал, как маленькая ручка Консуэло ответила на мое пожатие, и я простил и даже пожалел его.

С этого дня Чу-Чу и Консуэло стали неразлучными друзьями — они встречались ежедневно. Я не задумываясь подарил бы лошадку Консуэло, но она предпочитала называть ее моей — такая деликатность льстила мне.

— Я буду ездить на ней вместо вас, Панчо, — говорила она. — Я буду чувствовать, — продолжала она в возвышенном, хотя и неопределенном поэтическом порыве, — что она *ваша!* Вы любите это животное, в сущности, оно — это вы, мой Панчо! Ваша *душа* помчит меня, как вихрь, — ваша любовь к этому животному будет навеки моим единственным спутником.

Конечно, я предпочел бы, чтобы мою любовь к прекрасной Консуэло представлял кто-либо понадежнее Чу-Чу, но я покорно поцеловал руку девушки. Мои инстинктивные опасения оправдались, как только я сделал попытку сопровождать ее, сев на другого коня. Чу-Чу не желала никого даже близко подпускать к своей всаднице. Увидев меня в седле, она вспомнила все свое бывшее удивление и неверие в мое существование: она внезапно вздрагивала, круто поворачивала, и пораженная, отшатывалась от меня, словно я только что вышел из рук создателя; а не то жеманно опускала глаза, будто я оскорбил своим поведением весь слабый пол и она не могла мне этого простить. Эти демонстрации стали такими частыми, что задевали меня не только как спутника на прогулках: встречным могло показаться, будто Консуэло разделяет

неприязнь Чу-Чу, а уж этого я, как поклонник Консуэло, просто не в силах был терпеть. Все мои попытки добиться расположения Чу-Чу кончались тем, что она пускалась в бегство, а я бросался в отчаянную погоню — и это, безусловно, могло быть истолковано самым нежелательным образом.

— А ну, поднажмите-ка, мисс! Этот хлыщ вас нагоняет! — заорал как-то пьяный возница перепуганной Консуэло, и я был вынужден тут же остановиться.

Вскоре даже прекрасная Консуэло убедилась в бесплодности всех таких попыток и стала довольствоваться прогулками с «моей душой».

Но все равно — и я не стыжусь в этом признаться — я продолжал украдкой, держась на порядочном расстоянии, следить за ними, пока не убеждался в том, что Чу-Чу идет ровным шагом. Легкое движение красно-черной тореадорской шапочки Консуэло, воздушный поцелуй, посланный маленькой ручкой с зажатым в ней хлыстом, — и я был вознагражден!

Помню, как однажды в ясный погожий день я ждал ее на краю деревни. Застывшая улыбка калифорнийского лета дрогнула и казалась уже не такой неизменной; пыль густым слоем лежала на листьях и траве; сухие холмы словно оделись в красновато-коричневую кожу; с юга подули ветры, дыша зловещей влажностью, — еще несколько дней, и начнутся дожди. Случилось так, что в тот день мое уединение на наблюдательном посту у дороги было нарушено одной нашей местной красавицей — она была старше меня и пользовалась репутацией кокетки. Она откровенно и, как мне теперь кажется, не без умысла медлила.

И вдруг мимо нас с необычайной быстротой промчалась Консуэло; не успел я удивиться, как ее и след простыл. Тогда я решил, что она не захотела раскланиваться со мной на людях, и перестал думать об этом. Только позднее, когда я зашел к ним, чтобы, как всегда, отвести Чу-Чу домой, и обнаружил, что Консуэло еще не возвращалась, воспоминание о бешеной скачке Чу-Чу снова встревожило меня. Прошел час, время близилось к вечеру, а Чу-Чу и ее госпожа все не появлялись. Я всерьез забеспокоился. Я ничего не говорил о своих опасениях родным Консуэло, ибо чувствовал себя в ответе за Чу-Чу. Наконец отчаявшись, я оседлал своего коня и поскакал в том направлении, куда она скрылась.

Я ехал по дороге на Росарио, где находилось поместье родственников Консуэло, у которых порой она останавливалась.

Вокруг не видно было ни души; дорога вилась, словно горная речушка; собственно, она и шла-то по руслу высохшего ручья, протекавшего когда-то среди поросших овсюгом холмов и вырывавшегося наконец к озерному простору зелено-голубых лугов. Напрасно окидывал я взором монотонную равнину — ничто не двигалось, ничто не возвышалось над ней. Смутно надеясь, что, возможно, Консуэло задержалась в Росарио, я снова пришпорил коня, как вдруг слева от себя я услышал легкий всплеск. Я оглянулся. Чахлый ольшаник, полоса свежей травы под ним — все это говорило о том, что здесь находится источник. Осторожно ступая, я подошел к топкому берегу — внезапно взору моему представилась удивительная картина. В середине зеленоватого водоема по колено в грязи стояла Чу-Чу! Без седла, без уздечки, ну просто в чем мать родила! С минуту я смотрел на нее в ужасе и смятении. Она же и не думала меня узнавать; подобно нимфе¹, она загляделась на собственное отражение в зеленой воде.

Потом я крикнул:

— Консуэло!

И поскакал в объезд водоема. Ответа не было. Не видно было никого, кроме ко всему равнодушной Чу-Чу. Правда, водоем — о счастье! — был неглубок, утонуть в нем было невозможно; на топких его берегах не видно было никаких следов борьбы. Скорее всего Чу-Чу забрела сюда сама по себе. Я скакал дальше, без конца выкликая дорогое имя. Проскакав несколько сот ярдов, я внезапно увидел чепрак Чу-Чу, алевший в придорожной траве. Сердце мое забилося — я был на верном пути. Я снова позвал — на этот раз мне ответили; с раскинувшегося рядом поля слабо донесся милый голос! Там, в тени карликовой яблоньки, на ложе из пахучей травы и сухих листьев, покоилась Консуэло, — даже в тот радостный для меня миг я не мог не отметить про себя, как удачно было выбрано это живописное и укромное место. Бархатная шапочка с помпонами из алого плюша была осторожно положена рядом, прекрасные иссиня-черные волосы не растрепались, глаза

¹ Н и м ф ы — в греческой мифологии — божества, живущие в реках, морях, горах, рощах.

сияли нежностью. Как ни был я потрясен случившимся с нею несчастьем, помню, меня поразило, что с виду она совсем не походила на пострадавшую.

Вне себя я бросился на землю рядом с ней.

— Ты ушиблась, Кончита? Ради всего святого, что с тобой?

Своей крошечной ручкой она сдвинула мою шляпу на затылок и слегка взъерошила мне волосы.

— Ничего! Ты со мной, Панчо,— больше мне ничего не нужно. Что будет после — когда я укроюсь могильной землей,— неважно! Ты здесь — я счастлива! Ненадолго, возможно, немножко!

— Но что случилось? — продолжал я в отчаянии.— Ты упала? Это Чу-Чу тебя сбросила?

Сказать по правде, несмотря на ее томную позу, слабый голос и собственное свое волнение, я был уверен, что ничего страшного с ней не произошло.

— О, не наказывай бедное животное, Панчо! Она не виновата. Она ничего не сделала, верь мне. Просто я видела твоё свидание с мисс Смит! Я проехала мимо — промчалась стрелой,— чтобы никогда больше не возвращаться. Я сказала Чу-Чу: «Лети!» И мы летели много миль. Порой вместе, порой не совсем! Порой в седле, порой у нее на шее! Много вещей осталось на дороге,— наконец и я там же. Я сказала: «Мужайся! Панчо придет!» Потом я сказала: «Нет, он говорит с мисс Смит!» Больше я ничего не помню. Я приползла сюда на руках. Все кончено!

Я в замешательстве посмотрел на нее. Она нежно улыбнулась, а потом расправила и пригладила складку платья, прикрыв свой изящный сапожок.

— Но, дорогая,— возразил я,— ты ведь не сильно ушиблась! Ты ничего себе не сломала! Возможно,— тут я посмотрел на сапожок,— немного растянула лодыжку. Дай я посажу тебя на моего коня,— я пойду рядом и доставлю тебя невредимой домой. Прошу тебя, милая Кончита!

Она печально подняла на меня свои прекрасные глаза.

— Ах, мой бедный Панчо, ты не понимаешь. Разве дело в ноге, в руке или в голове? Как бы я хотела, чтобы это было так! Но,— и она медленно взмахнула своими прелестными ресницами,— я повредила себе все внутри. Это фамильная болезнь. Мой дедушка однажды перелетел

через быка во время родео¹. Он не сказал ни слова — он умер. Но почему? Он повредил себе все внутри. Поверь мне, это у нас в семье. Ты понимаешь? Все Сальтильо отличаются этим от других людей. Когда меня не станет, ты посадишь на моей гробнице ягоды, Панчо, те ягоды, которые ты нарвал для меня. Вырастет маленький цветочек на ней, а в небе появится маленькая звездочка, только Консуэло, которая тебя любила, больше не будет! Когда ты будешь счастлив и будешь говорить на дороге с этой Смит, ты не будешь думать обо мне. Ты не будешь видеть моих глаз, Панчо. Эта травка, — и она провела своими пухлыми пальчиками по земле, — накроет их, и крошечные животные в своих черных шкурках, которые здесь бегают, будут грустить обо мне. Но ты не будешь грустить! Так оно и лучше! Мой отец никогда не согласится, чтобы я, католичка, вышла замуж за еретика, и жила бы в палатке, и выла, словно койот! (Трудно сказать почему, но Консуэло была твердо уверена, что существует только одна форма протестантизма, а именно методизм!) Он не согласится, чтобы я вышла замуж за человека, который не владеет таким же количеством лошадей, быков и коров, как он. Но мне все равно! Ты моя единственная религия, Панчо! Когда ты со мной, мне не надо ни лошадей, ни быков, ни коров. Поцелуй меня, Панчо! Кто знает, может, это в последний раз?! Все кончено! Кто знает?!

В ее прекрасных глазах стояли слезы, я почувствовал, что и мой взор застлала предательская влага; над унылой равниной садилось солнце, поднимался ветер; мы были словно совсем одни во всей вселенной, и все же меня не покидало ощущение чудовищной нереальности всего происходящего. Меня душил смех, это, верно, была истерия. Я боялся заговорить. Ее головка покоилась у меня на плече — положение было не так уж неприятно!

И все же нужно было действовать. Это было тем более трудно, что я не совсем понимал, что же именно произошло. Поддерживая ее клонившуюся к земле фигурку, я бросал косые взгляды через плечо, ища хоть какой-нибудь помощи. Внезапно на дороге появился несущийся во весь опор всадник. В нем было что-то знакомое. Я взгляделся — благодарение богу, это был Эприкес! Чувство

¹ Родео — ковбойские спортивные состязания, включающие укрощение дикой лошади или быка.

глубокого облегчения овладело мной. Я любил Консуэло, и все же вряд ли кто-либо еще приветствовал родных своей возлюбленной с такой радостью, как я!

— Ты спасена, дорогая! Это Энрикес!

Мне показалось, что она отнеслась к моему сообщению с холодностью. Внезапно она подняла на меня глаза, в которых блестели слезы.

— Панчо, поклянись мне сию же минуту, что ты не посмотришь на мисс Смит ни одного раза!

Я был простодушен в те дни и все понимал буквально. Мисс Смит была моей ближайшей соседкой, и, чтобы выполнить это желание, я должен был бы ослепнуть. Я запнулся, но, впрочем, тут же поклялся.

— Довольно! Ты колебался! Я ничего больше не хочу.

Она поднялась на ноги с подчеркнутой осторожностью. Мгновение, памятуя о тонкой организации внутренностей семьи Сальтильо, я смотрел на нее в страхе: а вдруг она прямо у меня на глазах зашатается и рухнет, дав брэнному телу одержать победу над ее гордым духом. Но тут я увидел, что она держит в своих белоснежных зубах шпильку и аккуратно надевает свою бархатную шапочку. И с нами — Энрикес, веселый, быстрый, красноречивый, неустрашимый Энрикес!

— Эврика! Я нашел! Вот мы и вместе! Немножко слишком на людях — гм... немножко слишком в первом ряду для tête-à-tête, мои дорогие друзья, — говорил он, поглядывая на укромное гнездышко из трав, — но разве о вкусах можно спорить? Что одному человеку здорово, то другому яд. Но, — это он проговорил шепотом, наклонясь ко мне, — но что до этой лошади, этой Чу-Чу, которую я только что видел, — почему она не одета? Уж не хотите ли вы выставить ее путникам на подозрение? А если нет, то почему это так?

Взглянув на Консуэло, я сделал попытку объяснить, что Чу-Чу просто удрала, что Консуэло ужасно пострадала, что она была сброшена на всем скаку и что, вполне возможно, у нее весьма серьезное внутреннее повреждение. Но Консуэло почему-то презрительно молчала, и вид у нее был непонятно свежий и равнодушный.

— Ну, конечно, она не в духе, и у нее болит голова, — с чарующей улыбкой подхватил Энрикес. — Ей обязательно нужно сидеть на холодном камне, когда выпадает серебристая роса. Понимаю! Встретимся у дороги, когда часы пробьют девять! Но, — понижая голос, — насчет этой раз-

детой лошади я ничего не понимаю. Смотрите: это печально и странно!

Он отправился за Чу-Чу, оставив нас с Консуэло вдвоем. Никогда в жизни я не испытывал такой растерянности и страха. Я с грустью сознавал, что каким-то непонятным мне способом обидел девушку, за которую, как мне казалось, я с радостью отдал бы жизнь, и что я сделал из нас обоих посмешище в глазах ее брата. Вот уже в который раз мой простецкий американский ум не понимал благородного романтизма ее испанской души! Меж тем она оправила свою амазонку — выглядела она такой свежей и хорошенькой, словно только что выехала из дому.

— Кончита, — проговорил я неуверенно, — ты ведь не сердись на меня?

— Сержусь? — повторила она надменно, не глядя в мою сторону. — О, нет! Мисс Смит, возможно, и сердится, что я прервала ваш tête-à-tête. Может, это она и прислала сюда моего брата, чтоб отплатить мне тем же.

— Но мисс Смит не знакома с Энрикесом! — вскричал я с жаром.

Консуэло окинула меня многозначительным взглядом.

— А-а ты так думаешь? — заметила она загадочно.

Я не сомневался, что мисс Смит и Энрикес не знают друг друга, но тут до меня, как мне показалось, дошел истинный смысл слов Консуэло, и на душе у меня стало легче. Я даже рискнул мягко спросить:

— Тебе лучше?

Она выпрямилась во весь свой небольшой рост.

— Мое здоровье? О, это чепуха! А о моей душе не будем говорить.

И все же, когда Энрикес возвратился, ведя на поводу Чу-Чу, она кинулась к ней с распростертыми объятиями. В ответ Чу-Чу вытянула свою губу дюймов на шесть — ей, видно, казалось, и я вполне разделял ее мнение, что госпожа ее была необычайно аппетитной. Возможно, я и ошибаюсь, но мне почудилось, что когда их прекрасные глаза встретились, в них сверкнуло полное и явное взаимопонимание.

На обратном пути Консуэло воспрянула духом и, расставаясь, пожала мне руку с великодушным и снисходительным видом. Не знаю, как объяснила она неслыханное поведение Чу-Чу Энрикесу и всему семейству; безоговорочное прощение, дарованное мне Консуэло, по-

мешало мне расспросить ее об этом. Я не возражал, чтобы это оставалось тайной между нею и Чу-Чу. Но, как ни странно, эта неизвестная мне тайна, казалось, только сблизила нас; она подстегнула наш любовный пыл и подвела нас к катастрофе, которой завершился этот роман. Мы приняли решение бежать. Не думаю, чтобы этот героический шаг был так уж безумно необходим, судя по тому, как относились к нам ее и мои родные; скорее, мы избрали этот путь просто потому, что он избавлял нас от всяких предварительных объяснений. Нужно ли говорить, что нашим поверенным и преданным союзником был брат Консуэло — быстрый, веселый, ловкий Энрикес, несравненный знаток языков Энрикес! Предполагалось, что его присутствие придаст всему нашему предприятию определенную серьезность и респектабельность, — не думаю, чтоб мы решились на этот шаг без его помощи! Во время одной из наших верховых прогулок мы должны были обратиться к услугам методистского проповедника в соседнем графстве, а позже, когда наша тайна раскрывается, и к услугам католического священнослужителя.

— Я буду ее посаженным отцом, — с уверенностью заявил Энрикес. — Увидите, старый болтун мигом успокоится, узнав, что будет иметь дело со мной, и не станет зря молоть челюстью! Дядюшка Энри скажет пару теплых слов — и все будет в порядке! Будьте безмятежны, мой друг, и не забудьте про кольцо! Не всегда в тоске и мучке этой минуты вспоминают о кольце! Я принесу два в кармане своего платья!

Если вся наша затея и не представлялась мне в столь же розовом свете, причиной, возможно, было то, что Энрикес, хоть он и был на несколько лет старше, казался гораздо моложе меня, и сдержанно-дерзкий взгляд в сочетании с гладко выбритым по этому случаю лицом делал его похожим, скорее, на переодетого церковного служку, чем на солидного дядюшку.

Консуэло призналась мне, что ее отец, возможно, вследствие дошедших до него слухов о нашем недавнем приключении, запретил ей кататься со мной наедине. Он и не подозревал, что Чу-Чу стояла на страже его интересов и что даже в этот торжественный день мне и Энрикесу пришлось ехать по обе стороны на порядочном от нее расстоянии, подобно двум армиям, обходящим противника с флангов. И все же мы сознавали, что преступность нашего предприятия еще усугублялась тяжелым

грехом непослушания. В течение этого путешествия, хоть времени у нас было и в обрез и каждую минуту нам грозила опасность быть обнаруженными, я слезал порою с коня и шел рядом с Чу-Чу (когда я был пешим, она, казалось, не узнавала меня), держа Консуэло за руку, в то время как преданный Энрикес вел моего коня вдали. Я живо помню эту прогулку: пологий подъем в гору, в еще неизвестное будущее, полное манящих перспектив; мягкий, сумеречный свет осеннего неба, чуть затуманенного в ожидании близких дождей, будто в предчувствии слез, и робкая серьезная беседа, которой, сами того не заметив, увлеклись мы с Консуэло. И вдруг не знаю отчего, но едва мы одолели подъем, как Чу-Чу встала на дыбы, круто повернула, и вот уже она во весь дух скачет по дороге обратно! Возможно, что в своей рассеянности она только тут осознала мое присутствие, но бегство ее было таким стремительным и внезапным, что не успел я вскочить на коня, как она уже отмахала с четверть мили по дороге к дому, сколько ни пыталась сдержать ее перепуганная Консуэло. Мы бросились было в погоню, но тут же поняли, что дело безнадежно. Всякая попытка догнать их не только еще больше раззадорила бы Чу-Чу, но и грозила бы жизни Консуэло. Спасения не было: кобыла шла размашистым, ровным, решительным аллюром, дорога до самой деревни сбегала прямо под уклон. Чу-Чу закусил удила, и остановить ее не было никакой возможности. Нам оставалось только следовать за нею вдалеке — безнадежно, глупо, кипя от злости, до самой той минуты, когда Чу-Чу победоносно ворвалась во двор Сальтильо и полубесчувственную Консуэло приняла в свои объятия сбежавшаяся в смятении семья.

Это была наша последняя прогулка.

В последний раз видел я тогда Консуэло перед ее отъездом в безопасное уединение монастыря на юге Калифорнии. В последний раз видел я и Чу-Чу, которая в поднявшейся суматохе, как была, в сбившейся сбруе, ускользнула через заднюю калитку в поле и исчезла. Много месяцев спустя, как передают, ее узнали среди табуна диких лошадей в горах на побережье, — странное, прекрасное существо, избежавшее клейма родео и ставшее легендой. А еще говорят, будто видели ее в воротах поместья Росарио, растолстевшую, вычищенную, под роскошным чепраком, запряженную в тяжелый испанский кабриолет, в котором сидела невысокая полная дама... но

я не желаю об этом слышать! Ибо есть дни, когда она оживает передо мной: я ясно вижу, как она идет в гору, к вершине, Консуэло сидит в седле, а я иду рядом, с надеждой взирая на безграничный простор, который открывается вдали.



Американский консул в Шлахтштадте свернул с широкой Кёнигс-аллеи на маленькую площадь, где помещалось его консульство. Эта площадь всякий раз своим странно нежилым видом напоминала ему театральную декорацию. В фасадах домов с полосатыми дощатыми навесами над окнами, в четкости их контуров, в сочности красок было что-то неправдоподобное, что можно увидеть только на сцене, а в приглушенном уличном говоре была какая-то нарочитость и неизменность, вроде той, что окружает актера в намалеванной пустыне, изображающей городской пейзаж. И все же консул ощущал здесь приятное умиротворение после других улиц и переулков Шлахтштадта, кишевших столь же нереальными, похожими на игрушечных, солдатами, которых чья-то рука, казалось, ежедневно вынимала из коробочек-казарм или бараков и небрежно разбрасывала по улицам и площадям уютного, утонувшего в зелени лип немецкого городка. Солдаты стояли на перекрестках; солдаты оловянно глазели на витрины; солдаты, словно ящерицы, каменели на месте при появлении офицера. Офицеры чинно шагали, прямые, как палки, по четыре в ряд, метя тротуар своими палашами, висящими у всех под одним углом. Парадным строем, с оркестром или без оного, проезжали кавалькады¹ красных гусаров, кавалькады синих гусаров, кавалькады уланов, сверкая на солнце пиками и флажками. Из-за угла внезапно появлялись «наряды» или «пикеты»; колонны пехоты деловито шагали неведомо куда и неведомо зачем, поднимая пыль. И казалось, что всех этих солдат и офицеров, всех до

¹ К а в а л ь к а д а — группа всадников, едущих вместе.

единого, заводят где-то, в каком-то одном месте, словно часовой механизм. На околышах их головных уборов, которые все были на один образец, имелась спереди пуговичка или кокарда с квадратным отверстием посередине, напоминавшим замочную скважину. Консул был совершенно убежден, что, пользуясь этой замочной скважиной и соответствующим ключом, каждый капрал заводил свое подразделение, капитан тем же способом управлял лейтенантами и унтер-офицерами, и даже сам генерал, носивший точно такой же головной убор, находился в власти высшей, движущей его поступками силы. Ближе к окраине скопление лиц военного сословия мало-помалу шло на убыль, но зато там стояли будки, а где не было будок — обозы с оружием и провиантом. И для того, чтобы военный дух не потерял своей власти над душой шлахтштадтского бюргера, существовала еще полиция, облаченная в форму, дворники, облаченные в форму, контролеры, сторожа и железнодорожные посыльщики, облаченные в форму, и все — в таких же точно головных уборах, заставлявших предполагать, что их обладателей тоже каждое утро заводят для дневных трудов. Даже почтальон, доставлявший консулу деловые бумаги самого мирного свойства, был при шпаге и имел вид гонца, принесшего депешу с поля битвы, и консул, отвечая на его приветствие, подтягивался, распрямлял плечи и несколько секунд отчетливо сознавал всю тяжесть возложенной на него ответственности.

Однако такое преобладание военного духа, как ни странно, мирно уживалось с буколическим¹ характером самого городка, и это, в свою очередь, еще более усиливало ощущение нереальности: благодушно разгуливавшие по улицам коровы порой забредали в расположение кавалерийского эскадрона, несколько, по-видимому, этим не смущаясь; овечки, пощипывая травку, проникали в ряды пехоты или бежали небольшим гуртом впереди маршировавшего отряда, и, право же, что могло быть восхитительнее и безмятежнее зрелища пехотного полка, когда он, таща на себе все, что можно придумать потребного на неделю, возвращался походным строем после увлекательных поисков воображаемого неприятеля в окрестностях города и мирно располагался на отдых на рыночной площади, среди кочанов капусты. Суровая внешность и чу-

¹ Буколический — здесь: безмятежный, мирный, счастливый.

довищная энергия воинов никого не вводили в обман; барабаны могли бить, трубы трубить, драгуны бешеным галопом скакать по плацу или внезапно обнажать свои сверкающие сабли на улицах, подчиняясь гортанной команде офицера, — никто из прохожих и ухом не поведет. Разве что кто-нибудь обернется поглядеть, как Рудольф или Макс проделывает что положено, одобрительно кивнет и пойдет дальше по своим делам. И хотя офицеры всегда ходили вооруженные до зубов и только на самых что ни на есть мирных званных обедах отстегивали в прихожей свои сабли, чтобы, разумеется, тотчас снова пристегнуть их и ринуться в бой за фатерланд¹ в промежутке между сменой блюд, это ничуть не смущало душевный покой остальных гостей, оставлявших рядом с оружием свои зонты и трости. А так как в довершение ко всем несообразностям очень многие из этих воинов оказывались весьма учеными людьми с очками на носу и, невзирая на смертоносное оружие, которым они были увешаны, имели довольно штатский вид и были — все как один — крайне сентиментальны и необычайно простодушны, их поведение в этой извечной Kriegsspiel² повергало консула в крайнее недоумение.

В приемной консул столкнулся с еще одной удивительной особенностью нравов Шлахтштадта, которая, однако, тоже была ему не в новинку. Дело в том, что, несмотря на столь яростную подготовку к борьбе с «внешним врагом» — впрочем, никогда, по-видимому, не распространившуюся далеко за пределы города, — Шлахтштадт и его окрестности были известны всему миру отнюдь не этим, а своими прекрасными текстильными изделиями, и многие из рядовых воинов немало послужили славе и процветанию округа, трудясь за мирными ткацкими станками в своих сельских домиках. Конторы и склады превышали размерами даже кавалерийские казармы, хотя почтальон был, пожалуй, единственным одетым в форму лицом, переступавшим их порог. Вследствие этого консулу для поддержания престижа своей страны прежде всего приходилось просматривать и скреплять подписью и печатью всевозможные накладные, поступающие в консульство от мануфактурщиков, причем, как ни странно, все эти деловые бумаги доставлялись преимущественно женщинами — и

¹ Ф а т е р л а н д — по-немецки родина.

² Военная игра (нем.).

притом не конторскими служащими, а самыми обыкновенными горничными, и в приемные часы консульство легко можно было принять за контору по найму женской прислуги — столько там толпилось ожидающих очереди «медхен». Они шли одна за другой — все эти Гретхен, Лизхен и Клерхен, — в ослепительно чистых голубых платьицах, в простых, но ладных башмачках; они приносили накладные, завернув их в листок чистой бумаги или в голубенький носовой платок, зажав в коротких, крепких, а иной раз и мозолистых пальчиках, и протягивали консулу на подпись. Только раз эта подпись была небрежно смазана кончиком льняной косы, когда одна совсем еще юная «медхен», тряхнув головкой, слишком поспешно устремилась к двери; как правило же, эти простые крестьянские девушки отличались здравым смыслом, чувством ответственности и деловой хваткой, присущей им не в меньшей степени, чем их сестрам-француженкам, но совершенно не свойственной ни англичанкам, ни американкам, независимо от их социального положения.

В это утро все, кто с вязаньем в руках ожидал своей очереди, зашевелились и начали перешептываться, когда вице-консул последовал в кабинет консула, пропустив вперед инспектора полиции. Инспектор, разумеется, был в форме. Отдавая консулу честь, он, как всегда, оцепенел и, будучи не просто военным, не сразу вернулся в нормальное состояние.

Дело чрезвычайной важности! Сегодня утром в городе было арестовано неизвестное лицо, по всем признакам — дезертир. Он назвался американским гражданином и доставлен в приемную консульства, дабы консул мог его опросить.

Консул, впрочем, знал, что это грозное обвинение на деле было не столь уж грозным. Дезертиром именовался всякий, кто в юности эмигрировал за границу, не отбыв воинской повинности у себя на родине. Вначале расследование этих случаев казалось консулу весьма трудным и тягостным: приходилось сносить с военным атташе в Берлине, списываться с американским государственным департаментом, и вся эта неприятная процедура тянулась долго, а тем временем какой-нибудь ни в чем не повинный немец, натурализовавшийся¹ в Америке и ставший аме-

¹ Н а т у р а л и з а ц и я — приобретение иностранцем подданства данного государства.

риканским гражданином, но забывший захватить с собой документы, отправляясь погостить на родину, сохранился под стражей. По счастью, однако, консул пользовался расположением и доверием генерала Адлеркрейца, командира двадцатой дивизии, и, также по счастью, вышеупомянутой генерал Адлеркрейц оказался самым галантным и любезным из всех храбрых вояк, когда-либо кричавших своим солдатам «Vorwärts»¹, и самым дальновидным стратегом, когда-либо вынашивавшим военные планы — и даже военные планы неприятеля — в своей стальной голове под стальной остроконечной каской, причем все эти качества сочетались в нем с душой простой и бесхитростной, как у ребенка, невзирая на его внушительные седые усы. Так вот, этот суровый, но нежный сердцем воин решил в тех случаях, когда, несмотря на отсутствие документов, натурализация «дезертира» не вызывала сомнений, довольствоваться поручительством консула, дабы избежать дипломатической волокиты. На основе этого соглашения консулу удалось вернуть городу Милуоки одного вполне почтенного, но опрометчивого пивовара, а Нью-Йорку — превосходного колбасника и будущего олдермена² и в то же время призвать к исполнению воинского долга двух-трех любителей путешествий, или попросту бродяг, никогда не видавших Америки, иначе как с палубы парохода, на котором они плыли «зайцами» и который отвез их обратно к обоюдному удовлетворению и спокойствию двух великих держав.

* — Этот субъект заявляет, — сердито сказал инспектор, — что он американский гражданин, но потерял документы. Однако, и это весьма подозрительно, другим лицам он признавался, что прожил несколько лет в Риме! Да к тому же еще, — продолжал инспектор, покосившись на дверь и многозначительно прижав указательный палец к губам, — он утверждает, что у него есть родственники в Пальмире, которых он частенько навещает. Ну как? Слыхали вы когда-нибудь более нелепое, ни с чем не сообразное заявление?

Консул улыбнулся: ему уже становилось кое-что ясно.

— Дайте-ка я с ним поговорю, — сказал он.

Они вышли в приемную. Сидевшие там пехотный ка-

¹ Вперед! (нем.)

² Олдермен — член городского совета.

прал и полицейский встали и отдали честь. Окруженный сочувствием и восхищением служанок, преступник — наименее заинтересованное с виду лицо из всех присутствующих — остался сидеть. Он был совсем юн, казался чуть ли не подростком! Трудно было поверить, что под этой пасторальной¹ и невинной, почти ангельской внешностью скрывается подозрительный субъект, дезертир. Бело-розовая, как сало молочного поросенка, кожа, небесно-голубые, широко открытые глаза, простодушно взирающие на мир, тугие завитки курчавых золотых волос — воистину он был похож на бога солнца или на несколько перезрелого и дурно одетого купидона, случайно забредшего сюда с берегов Эллады! При появлении консула он улыбнулся и тыльной стороной руки утер свои полные пунцовые губы, уничтожая следы съеденной сосиски. Консул мгновенно узнал знакомый аромат, который разок уже пощекотал ему ноздри, повеяв на него из маленькой корзиночки Лизхен.

— Так вы говорите, что проживали в Риме? — с уctивой улыбкой спросил консул. — И не там ли вы заявили о своем желании принять американское гражданство?

Инспектор полиции одобрительно покосился на консула, затем впился суровым взглядом в ангельское личико преступника и откинулся на стуле, ожидая ответа на этот коварный вопрос.

— Что-то не припомню, — сказал преступник, задумчиво сдвинув свои младенческие бровки. — Либо там, либо в Мадриде, а может, и в Сиракузах.

Инспектор уже готов был вскочить со стула. Преступник явно самым недостойным образом потешался над блюстителями общественного порядка.

Но консул положил инспектору руку на плечо, раскрыл американский атлас на карте штата Нью-Йорк, ткнул в нее пальцем и обратился к арестованному:

— Я вижу, что названия городов, расположенных на озере Эри и вдоль полотна Нью-Йоркской Центральной железной дороги, вам известны, но...

— Я могу сказать также, сколько жителей в каждом из этих городов и что там производят, — с чисто юношеским тщеславием прервал его арестованный. — В Мадриде проживает шесть тысяч и свыше шестидесяти тысяч в...

¹ Пасторальный — здесь: безмятежный, мирный.

— Хорошо, хорошо,— сказал консул, а из угла, где толпились служанки, долетел восхищенный шепот «Wunderschön!»¹ и на сияющего улыбкой преступника был брошен не один восторженный взгляд.

— Но должны же вы помнить хотя бы название того города, в который были направлены вам документы, подтверждающие ваше гражданство!

— Я считал себя американским гражданином с той минуты, как подал декларацию,— с улыбкой отвечал «дезертир» и торжествующе поглядел на своих почитателей.— Ведь я уже мог голосовать!

Инспектор, почувствовав, что с названиями американских городов он попал впросак, угрюмо молчал. Однако консул был далек от того, чтобы праздновать победу. Познания этого юноши, выдававшего себя за американского гражданина, были слишком энциклопедичны — любой смысленый малый мог зазубрить все это по учебнику географии. Но, с другой стороны, арестованный отнюдь не выглядел смысленым; правду сказать, он выглядел столь же глупо, как то мифологическое лицо, на которое походил.

— Дайте-ка я поговорю с ним с глазу на глаз,— сказал консул.

Инспектор передал ему досье арестованного. Купидона звали Карл Шварц; он был сирота и покинул Шлахтштадт в возрасте двенадцати лет. Родственников нет — кто умер, кто в эмиграции. Личность арестованного установлена с его слов и по метрическим книгам.

— А теперь, Карл,— ободряюще сказал консул, затворяя за собой дверь кабинета,— выкладывайте, что это вы затеяли? Были у вас вообще когда-нибудь документы? Если у вас хватило ума вызубрить карту штата Нью-Йорк, как же вы не сообразили, что эти познания не заменяют бумаг?

— Ну как же, вот,— сказал Карл, переходя на скверный английский язык.— Раз я заявил о своей намерение штать американский гражданин, так это же то же самое, разве этого недоштатшно?

— Ни в коей мере, поскольку у вас и тут нет доказательств. Чем вы можете подтвердить, что такое *заявление* действительно было вами сделано? У вас нет никаких документов.

¹ Изумительно! (нем.)

— So!¹ — произнес Карл. Пухлыми, розовыми, как пороссячье сало, пальчиками он взъерошил свои бараньи кудряшки и одарил консула сочувственной улыбкой.— Так вот оно што! — сказал он таким тоном, словно по доброте душевной живо заинтересовался затруднительным положением консула.— Как же вы теперь? Што будет делать, а?

Консул пристально на него поглядел. В конце концов такая тупость не была чем-то из ряда вон выходящим и полностью гармонировала с внешностью арестованного.

— Хочу вас предупредить,— сказал консул серьезно,— что, если вы не предъявите каких-либо доказательств, подтверждающих ваши слова, я по долгу службы вынужден буду передать вас в руки властей.

— И тогда я, знашит, буду военную службу отбывать? — спросил Карл со своей неизменной улыбкой.

— Именно так,— сказал консул.

— So! — снова промолвил Карл.— Этот город... этот Шлахтштадт не плохой городок, верно? Красивый жепцины. Добрый мужчины, пиво и сосиски тоше неплох. Ешь, ней вволю, верно? Вы и ваш мальшики славно проводить время здесь,— прибавил он, поглядев по сторонам.

— Недурно,— ответил консул и отвернулся. Затем внезапно снова резко обернулся к не ожидавшему нападения Карлу, погруженному, по-видимому, в приятные гастрономические воспоминания.

— Каким все же ветром занесло вас сюда?

— Как вы сказать?

— Я спрашиваю: что привело вас сюда из Америки или откуда там вы сбежали?

— Захотелось швоих повидать.

— Но вы же *сирота* и нет у вас здесь никаких «своих».

— А весь Германия, весь страна — это же мой народ, разве нет? Ей-богу, правда! Вы што — не верит!

Консул сел за стол и написал коротенькую записку к генералу Адлеркрейцу на своем ломаном немецком пополам с английским языке. Он не считает себя вправе в этом случае вмешиваться в распоряжения властей или ручаться за Карла Шварца. Однако, со своей стороны, он предложил бы, ввиду явной безобидности и молодости эмигранта, не применять к нему никаких санкций или

¹ Вот как! (нем.)

взысканий, а просто дать ему возможность, как всякому новобранцу, занять свое место в рядах армии. И если позволено давать советы столь дальновидному военному специалисту, как генерал, то, по его мнению, этот Карл Шварц просто создан для работы в интендантстве. Разумеется, консул оставляет за собой право, в случае предъявления Карлом соответствующих документов, просить о его увольнении из рядов германской армии.

Консул прочел это послание Карлу вслух. Юный купидон улыбнулся и произнес:

— So! — Затем подошел к консулу и добавил: — Шму руку!

Консул не без некоторых угрызений совести пожал протянутую руку и, проводив Карла до приемной, сдал его с рук на руки инспектору вместе с письмом. У всех служанок, как по команде, вырвался из груди вздох, и на консула устремились молящие взгляды, но он мудро решил, что беззащитному сиротке Карлу в его собственных интересах следует немного попривыкнуть к дисциплине, и вернулся к своей менее хлопотливой деятельности по части накладных.

В тот же вечер вестовой, вынув из-за пояса сложенный вчетверо листок голубой бумаги, вручил консулу послание, содержащее одно-единственное английское слово: «Ол-райт!», и некую замысловатую загаголину, в которой консул узнал подпись генерала Адлеркрейца.

Однако о том, что произошло дальше, консулу стало известно лишь через неделю.

Возвратившись как-то вечером в свою квартиру, помещавшуюся не в деловой, а в жилой части города, он отпер ключом дверь и заметил в глубине прихожей свою служанку Трудхен, как всегда, в обществе синей (а может быть, желтой или красной) фигуры. Он прошел мимо с обычным «'n'Abend!»¹.

Но тут солдат обернулся и отдал честь. Консул прирос к месту. Перед ним стоял купидончик Карл в военной форме!

Впрочем, форма никак не изменила его внешности. Правда, волосы были острижены короче, но все так же золотились и курчавились; пухленькая фигурка была перепоясана кожаным ремнем и застегнута на все блестящие металлические пуговицы, но это делало ее лишь еще более

¹ Добрый вечер! (нем.)

игрушечной, еще более похожей на подушечку для булавок или перочистку; казалось, обтянутые мундиром пухлые плечики и грудь так и просятся, чтобы в них вкололи булавку. И вот чудеса — Карл, если верить его словам, успел так отличиться, маршируя гусиным шагом, что уже получил парадную форму и даже некоторые маленькие поблажки, одной из которых, по-видимому, и пользовался в настоящую минуту. Консул улыбнулся и прошел к себе. Все же ему показалось странным, что Трудхен — рослая, крепкая девушка, пользовавшаяся огромным успехом у лиц военного звания и отвергавшая всех поклонников чином ниже капрала, на сей раз снизошла до рядового, да еще новобранца. Консул спросил ее об этом потом.

— Ах, но ведь это же наш Карл! И господин консул сам знает, что он американец!

— Вот как?

— Ах, ну да! Это такая жалостливая история!

— Так расскажите мне ее, — сказал консул в слабой надежде, что Карл добровольно поделился с девушкой какими-нибудь воспоминаниями о своем прошлом.

— Ах, Gott! Там, в Америке, его считали за человека, и он мог голосовать, и издавать законы, и, с божьей помощью, стал бы членом муниципалитета или обер-интендантом, а здесь его упекли в солдаты на несколько лет. И Америка очень прекрасная страна. Wunderschön! Там такие огромные города! В одном только Буффо может уместиться весь наш Шлахтинтадт, там одних жителей пятьсот тысяч человек!

Консул вздохнул. Карл, как видно, все еще двигался по Нью-Йоркской Центральной и вокруг озера Эри.

— А он так и не вспомнил, что сделал со своими документами? — настойчиво спросил консул.

— Ах, на что ему они — эти глупые, пустые бумажки, — когда он сам мог издавать законы?

— Но его аппетит, я надеюсь, не пострадал? — осведомился консул.

На этом их беседа и закончилась, но Карл еще не раз появлялся по вечерам в глубине полутемной прихожей, откуда его игрушечная фигурка совсем вытеснила статного капрала гусарского полка. Но вот как-то раз консул уехал в соседний город и возвратился на сутки раньше,

¹ Господи (нем.).

чем предполагал. Подходя к дому, он с удивлением заметил свет в окнах гостиной, а войдя в прихожую, был еще больше удивлен, не обнаружив Трудхен ни там, ни в других комнатах. Он ощупью поднялся по лестнице и распахнул дверь гостиной. Каково же было его изумление, когда он увидел, что за его письменным столом, удобно устроившись в его кресле, сняв фуражку и положив ее возле лампы на стол, сидит Карл и что-то, по-видимому, изучает. Он был настолько углублен в свое занятие, что не сразу поднял голову, и консул мог хорошо разглядеть его лицо. Всегда улыбающееся, подвижное, оно поразило консула своим необычайно сосредоточенным и серьезным выражением. Когда наконец их взгляды встретились, Карл проворно вскочил, отдал честь и просиял улыбкой. Но то ли по врожденной флегматичности, то ли благодаря поразительному самообладанию ни тени смущения или испуга не отразилось на его лице.

Он тут же поспешил дать объяснение — крайне простое. Трудхен отправилась немножко погулять с капралом Фрицем и попросила его «присмотреть за домом» в их отсутствие. В казармах нет ни книг, ни газет, читать совершенно нечего, и он полностью лишен там возможности набираться ума. Вот ему и захотелось полистать немного эти книги — он подумал, что господин консул не будет в претензии.

Консул был тронут. В конце концов, если Карл позволил себе некоторую нескромность, то совершенно пустяшную, и Трудхен здесь виновата не меньше. И если бедный малый в состоянии хоть сколько-нибудь набраться ума — а ведь сейчас было похоже, что он и вправду способен размышлять, — то надо быть свиньей, чтобы укорять его за это. И консул приветливо улыбнулся и поглядел на стол, а Карл спрятал огрызок карандаша и засаленный блокнот в нагрудный карман. Тут консул с удивлением заметил, что предметом, который так глубоко заинтересовал Карла, была большая географическая карта. И к тому же — что было еще удивительнее — карта окрестностей Шлахтштадта.

— У вас, я вижу, большой интерес к географическим картам, — учтиво сказал консул. — Не собираетесь ли вы снова эмигрировать?

— О нет! — просто ответил Карл. — Здесь где-то поблизости живет моя двоюродная сестра. Я разыскиваю ее.

Тут возвратилась Трудхен, и Карл удалился, а консул

опять с удивлением заметил, что девушка уже не выражала столь неумеренных восторгов по адресу Карла, хотя его поведение несколько, казалось, не изменилось. Приписав эту перемену водворению на прежнее место капрала, консул укорил Трудхен за непостоянство. Но она ответила ему без улыбки:

— Ах! У него завелись теперь новые друзья, у нашего Карла. Простые девушки, вроде меня, больше его не интересуют. Конечно, куда уж нам, когда такие благородные дамы, как старая фрау фон Вимпфель, от него без ума!

Со слов Трудхен можно было заключить, что вдова богатого лавочника покровительствует молодому солдату и делает ему подарки. Но этого мало: жена полковника, по-видимому, превратила его в своего пажа или адъютанта, и он уже провожал ее на вечер в офицерское собрание, и после этого жены других офицеров тоже начали интересоваться им. Разве господин консул не считает, что это ужасно, — ведь в Америке Карл мог голосовать и издавать законы, а здесь должен прислуживать!

Консул не знал, что и думать. Но, во всяком случае, он, Карл, как видно, преуспевает и не нуждается в его покровительстве. Тем не менее не без задней мысли — разузнать о нем побольше — он с готовностью принял приглашение генерала Адлеркрейца пообедать в офицерской компании в казарме. Придя туда, консул с некоторым смущением обнаружил, что обед в какой-то мере дается в его честь, и после пятой перемены блюд и опорожнения большого количества бутылок седовласый воин, генерал Адлеркрейц, любезно предложил выпить за здоровье консула и произнес небольшой тост, в котором налицествовали все части речи и был даже один глагол. Смысл тоста сводился к тому, что закадычная дружба генерала с господином консулом символизирует собой нерасторжимый союз Германии и Колумбии, а их глубокое взаимопонимание — залог миролюбивого содружества этих двух великих наций, возвращение же «нашего Карла» в ряды великой германской армии — тончайший дипломатический акт великого государственного ума, и генерал должен с удовлетворением отметить, что общность целей будет и впредь роднить его с господином консулом, как представителей братства великих народов, объединенных в великий германо-американский союз, а также выразить надежду, что их земные труды на благо этого

союза, принося им удовлетворение, каждому порознь и обоим вместе, никогда не будут забыты потомками. Казарма задрожала от возгласов «Hoch! Hoch!»¹ и звона тяжелых пивных кружек, и консул, волнуясь от избытка чувств и припася на всякий случай в кармане один глагол, поднялся для ответного тоста. Пустившись в это рискованное плавание и держась подальше от предательских берегов здравого смысла и заманчивых гаваней остановок и передышек, он смело правил в открытое море красно-речия. Он заявил, что его уважаемый противник в этой одической² битве совершенно его обезоружил и у него нет слов, дабы достойно ответить на столь великодушный панегирик³, а посему ему остается только присоединиться к этому доблестному воину в его искреннем стремлении к мирному союзу обеих стран. Однако, полностью разделяя все возвышенные чувства, выраженные его радужным хозяином, и широту его взглядов, он берет на себя смелость перед лицом этого высокого собрания, этого славного братства заявить о существовании еще более прочных и нерасторжимых уз, связующих его с генералом, а именно уз родства! Всем собравшимся хорошо известно, что сей доблестный военачальник женат на англичанке, и вот теперь консул решил открыть им, что и сам он, будучи, разумеется, стопроцентным американцем, унаследовал с материнской стороны немецкую кровь! Добавлять что-либо к этому сообщению он не считает нужным, но с полным доверием передает им в обладание этот доселе им неизвестный и исполненный огромного значения факт! И консул опустил на стул, так и позабыв извлечь из кармана припасенный глагол. Однако рукоплескания, которыми наградили слушатели этот необыкновенно обоснованный, логичный и многообещающий финал его речи, доказали, что она имела успех. Бравые воины один за другим энергично пожимали ему руку; сам генерал обернулся и облобызал его перед всем затаившим дыхание собранием. У консула на глаза навернулись слезы.

Пока пир шел своим чередом, консул с удивлением обнаружил, что Карл не только вошел в моду и стал чем-то вроде пажа при полковых дамах, но что его наивность, глупость и сверхъестественное простодушие, над

¹ Ура! Ура! (нем.)

² Одический — здесь: торжественное или значительное событие, достойное воспевания в оде.

³ Панегрик — восторженная и неумеренная похвала.

которыми потешались все в казармах, стали притчей во языцех. О его непостижимом таланте попадать впромак — а он не знал себе в этом равных — рассказывались целые истории. Старые анекдоты о прославленных невестах перекраивались заново и приписывались «нашему Карлу». Как же, ведь это же «наш Карл», получив на чай две марки от одной молодой дамы, когда лейтенант прислал его к ней с букетом цветов, потоптался на месте, не зная, брать или не брать, а потом сказал: «Благодарю вас, добрая фрейлейн, но нам этот букет обошелся в девять марок!»

Это «наш Карл» великодушно заявил другой даме, которая выражала сожаление по поводу того, что не может принять приглашение его хозяина: «Ничего, не расстраивайтесь, у меня тут есть еще письмецо для фрейлейн Копп (так звали соперницу этой дамы), а мне не велено приглашать вас обеих».

Это «наш Карл», будучи послан к некоей особе с извинением от одного офицера, задержавшегося по служебным делам, поверг ее в немалое замешательство, предложив снести «этому бедняге» обед в казарму.

Следует прибавить, что все эти очаровательные промахи не ограничивались рамками его светских и домашних обязанностей. Будучи неизменно исполнительным, точным и дисциплинированным по части солдатской муштры и стяжав себе тем любовь немца-фельдфебеля, он в то же время был крайне непонятлив и туп во всем, что касалось смысла этого обучения, и никак не мог постичь назначения и устройства того или иного оружия, сколько бы он ни вертел его в руках, рассматривая с немим, бессмысленным изумлением.

Это «наш Карл» во время учебной стрельбы на полигоне посоветовал своим военным наставникам забить в мушкет все патроны сразу — сколько уместится в стволе — и одним махом выпалить всю смертоносную начинку, утверждая, что это куда проще и быстрее, чем каждый раз заново заряжать и стрелять.

Это «наш Карл», стоя в карауле на маневрах и добросовестно выполняя все, чему его обучили, чуть не пристрелил фельдфебеля, на мгновение забывшего пароль.

И конечно, тот же самый Карл, после того как ему здорово влетело за эту неосторожность, в следующий раз, стоя на часах, к обычному оклику: «Кто идет»? присовокупил необходимое на его взгляд предостережение:

— Говори сейчас же «Родина», не то стрелять буду!
Но его неизменное добродушие и детское любопытство были несокрушимы и заставляли как его товарищей, так и офицеров все ему разъяснять, в расчете услышать от него что-нибудь потешное в духе его всегдашних уморительных высказываний, а его незлобивость и наивность открывали ему все военные премудрости и все сердца.

После банкета генерал провожал консула до ворот, где его ждал экипаж; внезапно перед ними выросла фигура в солдатской форме и прозвучал вызов караула:

— Heraus!¹

Но генерал остановил караульных, отечески погрозив пальцем не в меру усердному солдату, в котором консул сразу узнал Карла.

— Он теперь вестовым при мне, — пояснил генерал. — Пришелся очень по душе моей супруге. Да, представьте, наши дамы чрезвычайно ему симпатизируют.

Консул не знал, что и подумать. Насколько ему было известно, супруга генерала Адлеркрейца была типичная англичанка с головы до пят; она решительно и твердо, неуклонно и бескомпромиссно придерживалась всех английских обычаев, привычек и предрассудков в самом центре Шлахтштадта, и то, что даже эта дама настолько заразилась чужеземной причудой, что в нарушение всех правил допустила нашего немислимого Карла в свой образцово-чинный английский дом, показалось консулу донельзя странным.

Месяца два до консула не доходило никаких вестей о Карле, но как-то вечером Карл объявился в консульстве собственной персоной. Он снова искал уединения консульского кабинета, чтобы написать письма домой; в казарме ему никак не удавалось это сделать.

— Вы, мне кажется, должны были бы теперь обраться по крайней мере в доме фельдмаршала, — пошутил консул.

— Пока нет, только с будущей недели, — с подкупающей простотой отвечал Карл. — Я определяюсь на службу к генерал-коменданту крепости Рейнфестунг.

Консул улыбнулся, предложил Карлу устроиться за одним из столов в приемной и предоставил ему заниматься своей перепиской.

Возвратившись через некоторое время, он увидел, что

¹ Выходи! (нем.)

Карл, кончив писать, с детским восхищением и любопытством разглядывает толстые конверты со штампом консульства, лежавшие на столе. Казалось, его поражал контраст между этими солидными предметами и тоненьким жидким конвертиком, который он держал в руке. Он был еще больше подавлен, когда консул растолковал ему, что большие конверты — для официальных бумаг.

— Вы пишете кому-нибудь из своих друзей? — спросил консул, тронутый его наивностью.

— О да! — горячо заверил его Карл.

— Может быть, хотите отправить свое письмо в таком конверте? — спросило это должностное лицо.

Сияющие глаза и широкая улыбка Карла послужили достаточно выразительным ответом. В конце концов почему не сделать такой крошечной подачки этому бездомному бродяжке, все еще, по-видимому, бессознательно тянувшемуся под его консульское крылышко? Консул дал Карлу конверт, и тот с мальчишеским тщеславием принялся выводить на нем адрес. Это был последний визит Карла в консульство.

Как выяснилось, он сказал чистую правду: в скором времени консул узнал, что Карл посредством каких-то перетасовок, санкционированных в неких высоких военных инстанциях, и в самом деле откомандирован в личное распоряжение коменданта Рейнфестунга.

Dienstmädchen¹ Шлахтштадта пролили о нем немало слез, а дамские сборища в более изысканных кругах заметно потускнели и утратили свою непринужденную веселость и остроту. Но память о Карле еще долго жила в казармах, где в различных вариантах продолжали бытовать анекдоты о его восхитительной глупости (многие из этих анекдотов, как говорят, были чистой выдумкой), а из Рейнфестунга доходили о нем все новые и новые истории, которые, по мнению господ офицеров, были просто «колоссальны». Однако консул, хорошо помня Рейнфестунг, совершенно не мог представить себе Карла в этой обстановке, и ему трудно было поверить, чтобы она могла содействовать развитию удивительных природных особенностей этого юноши. Ибо Рейнфестунг был крепостью из крепостей, цитаделью из цитаделей, арсеналом из арсеналов. Этот огромный узел немецких железных дорог был воротами Рейна и ключом к Вестфалии, окруженным,

¹ Служавки (нем.).

укрепленным, защищенным и оберегаемым всеми как новейшими, так и древнейшими достижениями и изобретениями науки и стратегии. Даже в самые мирные времена железнодорожные составы попадали сюда, как мышь в мышеловку, и случалось, застревали здесь навечно. Крепость протягивала гостеприимную руку через реку, но рука эта мгновенно могла сжаться в грозный кулак. Вы проникали в крепость, и каждый ваш шаг направлялся воздвигающимися на вашем пути стенами; вы огибали их и видели перед собой новые стены; вы бесконечное количество раз сворачивали то направо, то налево, то под прямым, то под острым углом, но никакими силами не могли вырваться из их кольца. Когда же вы, казалось, выбирались наконец на простор, перед вами вырастал бастион. Лабиринт укреплений преследовал вас до тех пор, пока вы не попадали на следующую железнодорожную станцию. Эта цитадель заставила даже реку служить своим оборонительным целям. Река хранила секреты подводных сооружений и мин, известные лишь самым высоким военачальникам, а те про них помалкивали. Короче, крепость Рейнфестунг была неприступна.

Казалось, не могло быть двух мнений о том, что место это весьма суровое и что со всеми этими прямыми и острыми углами не шутят. Однако «наш Карл», то ли подстрекаемый приятелями, которые водили его смотреть оборонительные сооружения, то ли движимый собственным праздным любопытством, ухитрился свалиться в Рейн и был оттуда выловлен с немалыми трудностями. Это купание охладило, должно быть, его воинственный пыл или подмыло его стойкий оптимизм, так как вскоре консул узнал, что «наш Карл» посетил вице-консула в соседнем городке и преподнес ему обветшалую историю своего американского гражданства.

— Он, по-видимому, довольно хорошо знаком с американскими железными дорогами и названиями американских городов, — сказал вице-консул, — но у него нет никаких документов. Он заходил к нам в канцелярию и...

— И писал письма домой? — спросил консул, что-то припоминая.

— Да, этому бедняге в казарме негде приткнуться, и он чувствует себя неприкаянным. Верно, они там над ним потешаются.

Таковы были последние вести, дошедшие до консула

о Карле Шварце, ибо недели через две Карл снова упал в Рейн и на этот раз уже так успешно, что, несмотря на все усилия товарищей, был подхвачен и унесен стремительным течением, и его служение отчизне на этом оборвалось. Тело его обнаружено не было.

Впрочем, несколько месяцев спустя, когда консул уже получил назначение на другой пост, его посетил генерал Адлеркрейц и оживил в его памяти образ Карла. Лицо генерала было сумрачно.

— Вы помните «нашего Карла»? — спросил он.

— Разумеется.

— Как вы считаете: он нас надувал?

— Насчет своего американского гражданства — безусловно. Но во всем остальном — не думаю.

— Так, — произнес генерал. — Произошла престранная история, — продолжал он, задумчиво покручивая ус. — Инспектор полиции известил нас о прибытии в город некоего Карла Шварца. Похоже, что это и есть *настоящий* Карл Шварц, и притом единственный, — его опознала родная сестра. Другой, тот, что утонул, был самозванцем. Ну, что скажете?

— Значит, вы теперь заполучили еще одного рекрута? — с улыбкой спросил консул.

— Нет, потому что этот Карл Шварц уже отбыл воинскую повинность в Эльзасе, куда уехал еще мальчишкой. Но зачем — доннер-веттер! — понадобилось тому тупоголовому болвану назваться его именем?

— Это была чистая случайность, я полагаю. А потом оно так и прилипло к нему, и он из упрямства и по безграничной тупости уже стоял на своем и понес все вытекающие отсюда последствия. Мне кажется, это ясно, — сказал консул, очень довольный своей проницательностью.

— So! — пробасил генерал.

Это немецкое восклицание обладает тысячью различных оттенков в зависимости от интонации, с которой произносится, а в устах генерала Адлеркрейца оно, казалось, включало в себя все оттенки сразу.

* * *

Это произошло в Париже, где консул задержался на несколько дней по дороге к месту своего нового назначения. Он зашел в одно очень бойкое кафе, среди за-

всегдаев которого было много штабных офицеров. Группа таких офицеров сидела за соседним столиком. Консул от нечего делать наблюдал за ними, и в памяти его воскресал Шлахтштадт, и — также от нечего делать — любовался более привлекательным зрелищем — бульваром за окном. Консул немного устал от военных.

Внезапно сидевшие за соседним столиком оживились, раздались приветственные возгласы. Консул машинально обернулся, замер и уже не мог оторвать глаз от офицера, только что появившегося в кафе. Это был утонувший Карл! Да, без сомнения, это был он, Карл! Консул сразу узнал его пухлую фигурку, затянутую теперь в мундир французского офицера и его льняные волосы, подстриженные чуть короче, но все такими же бараньими кудряшками выбивавшиеся из-под кепи. Да, это был все тот же Карл — розовощекий, как купидон, и ничуть не изменившийся, если не считать крошечных рыжеватых усиков с закрученными вверх кончиками над углами пухлого рта. Карл, как всегда, сияющий улыбкой, но сыплющий теперь шутками и остротами на чистейшем французском языке! Консул не верил своим глазам. Возможно ли такое феноменальное сходство, или душа немецкого солдата переселилась во французского офицера?

Консул подозвал официанта.

— Кто этот офицер, который только что подошел к соседнему столику?

— Это капитан Христиан из разведки, — горделиво и с готовностью отвечал официант. — Он очень смелый, и его все любят. Это один из наших постоянных гостей, очень уважаемый господин, и к тому же такой *drôle*¹ такой *farceur*², так всех передразнивает. Мосье очень бы понравилось, если б он поглядел, как капитан изображает всех в лицах.

— Но он больше похож на немца. Даже имя у него немецкое.

— Ах, так ведь он же из Эльзаса, но только никакой он не немец, — сказал официант, даже побледнев от негодования. — Он сражался при Белфорте. Так же, как и я. Нет, *mon Dieu*³, какой же он немец!

— А здесь он давно живет? — спросил консул.

— В Париже не так давно. Но он бывает везде! Такая

¹ Шутник (франц.).

² Балагур (франц.).

³ Бог мой (франц.).

уж у него служба — мосье ведь понимает... Везде, где только можно собрать сведения.

Консул все еще не мог оторвать глаз от капитана Христиана. Быть может, бессознательно почувствовав, что за ним наблюдают, офицер обернулся. Их взгляды встретились, и, к изумлению консула, бывший Карл, узнав его, лучезарно улыбнулся и устремился к нему с протянутой рукой.

Но консул застыл на стуле с бокалом в руке. Капитан Христиан по-военному отдал честь и произнес учтиво: — Господин консул получил повышение. Могу я принести свои поздравления господину консулу?

— Вам, стало быть, уже известно и это? — сухо обронил консул.

— Иначе я не взял бы на себя смелость поздравлять вас. Наша служба обязывает нас знать все, а по отношению к господину консулу — это уже не только обязанность, но и удовольствие.

— А известно ли там у вас, что подлинный Карл Шварц воротился домой? — все так же сухо продолжал консул.

Капитан Христиан пожал плечами.

— Что ж, значит, самозванный Карл вовремя убрался на тот свет, — отвечал он беззаботно. — Однако вместе с тем... — добавил он и с лукавой укоризной поглядел на консула.

— Что «вместе с тем»? — угрюмо переспросил консул.

— Вместе с тем, господин консул мог бы спасти этого несчастного от необходимости идти ко дну, если бы подтвердил его американское гражданство, вместо того чтобы помогать немецким властям напяливать на него немецкий военный мундир.

Консул не мог сдерживать улыбки. С военной точки зрения, довод был неопровержим. А капитан Христиан непринужденно опустился на стул рядом с консулом и так же непринужденно перешел на ломаный немецко-английский язык.

— Слюшайте, — сказал он. — а ведь этот городишко — этот Шлахтштадт — не дурное местешко, верно? Красивый женщины. Славный мужчины, а пиво, а сосиски! Пей, ешь вволю, верно? Вы и ваши мальшики недурно там повеселились?

Консул тщетно старался принять исполненную достоинства позу. Официант, стоявший у него за спиной, видел

только, как обожаемый им офицер чудесно изображает кого-то в лицах, и его корчило от смеха. Все же консулу удалось произнести довольно высокомерно:

— Ну, а казармы, склады, интендантство, арсенал, гарнизон Шлахтштадта — все это было достаточно интересно?

— Без сомнения.

— А крепость Рейнфестунг — ее план, расстановка караулов, ее мощные сооружения на реке — все это было чрезвычайно поучительно для любознательного солдата?

— О да, конечно, у вас есть основания задать такой вопрос, — сказал капитан Христиан, подкручивая свои крошечные усики.

— Ну, и как вы полагаете? Крепость...

— Непроступна! Mais...¹

Консул вспомнил, как генерал Адлеркрейц произносил свое «So!», и задумался.

¹ Но (франц.).

УКРАДЕННЫЙ ПОРТСИГАР

АР-Р КО-Н Д-ИЛ

Я

застал Хемлока Джонса дома в его старой квартире на Брук-стрит: он, задумавшись, сидел у камина. С бесцеремонностью старого друга я сразу же привычно распростерся у его ног и ласково погладил ему ботинок. Сделал я это по двум соображениям: во-первых, чтобы лучше видеть его поникшее, сосредоточенное лицо, а во-вторых, дабы нагляднее выразить почтительное восхищение его сверхчеловеческой прозорливостью. Но он был настолько поглощен разгадыванием какой-то тайны, что, казалось мне, не заметил моего появления. Однако я ошибся, как и всегда, когда пытался постичь этот могучий ум.

— Идет дождь, — промолвил он, не подымая головы.

— Значит, вы выходили на улицу? — спросил я.

— Нет. Но я вижу, ваш зонт мокр, и на пальто у вас я разглядел капли влаги.

Я был потрясен его проницательностью. Он помолчал и небрежно добавил, чтобы уже больше к этому не возвращаться:

— Кроме того, я слышу, как дождь барабанит по окнам. Прислушайтесь.

Я прислушался. Мне трудно было поверить собственным ушам, но действительно по стеклам глухо, но отчетливо ударяли дождевые капли. Воистину, ничто не могло укрыться от этого человека!

— Чем вы были заняты последнее время? — спросил я, переводя разговор на другую тему. — Какая еще удивительная загадка, оказавшаяся не по зубам Скотленд-Ярду, занимала сей могучий интеллект?

Он слегка отдернул ногу, подумал, поставил ее обратно и скучающим тоном ответил:

— Пустяки, говорить не о чем. Заходил князь Куполи, советовался относительно исчезновения этих рубинов из Кремля. Путибадский раджа, понапрасну обезглавивший всех своих телохранителей, вынужден был все-таки прибегнуть к моей помощи в розысках драгоценного меча. Великая герцогиня Претцель-Браунцвигская желает выяснить, где находился ее муж в ночь на 14 февраля. А вчера вечером, — он понизил голос, — один жилец нашего дома, встретившись со мною на лестнице, спросил, какого черта ему так долго не открывали парадную дверь.

Я поневоле улыбнулся, но тут же спохватился, увидев, как нахмурилось его таинственное чело.

— Помните, — холодно проговорил он, — что именно благодаря таким вот, казалось бы, малозначащим вопросам мне удалось раскрыть «Почему Поль Феррол убил свою жену», а также «Что произошло с Брауном»!

Я прикусил язык. Он помолчал минуту, потом в своем всегдашнем безжалостно-аналитическом стиле продолжал:

— Когда я говорю, что все это пустяки, я имею в виду, что это пустяки в сравнении с тем делом, которое занимает меня в настоящее время. Совершенно небывалое преступление, и жертва его, как это ни поразительно, — я сам. Вы потрясены, — продолжал он. — Вы спрашиваете себя, кто осмелился? Я тоже спрашивал себя об этом. Но как бы то ни было, преступное дело сделано. Меня ограбили!

— Ограбили — вас! Вас, Хемлока Джонса, Грозу Преступников? — срывающимся голосом воскликнул я, вскакивая и судорожно хватаясь за край стола.

— Да! Слушайте. Я не признался бы в этом никому на свете. Но вам, человеку, у которого на глазах протекала вся моя деятельность, человеку, который постиг мои методы, человеку, перед которым я приподнял завесу, скрывающую мои помыслы от простых смертных, — вам, кто столько лет внимал моим рассказам, восторгаясь моими рассуждениями и выводами; кто отдал себя всецело в мое распоряжение, сделался моим рабом, пресмыкался у моих ног; вам, кто лишился своей врачебной практики, сохранив сегодня лишь скудное и неуклонно сокращающееся число пациентов, которым вы, занятый мыслями о моих делах, не раз прописывали стрихнин вместо хинина и мышьяк вместо английской соли; вам, пожертвовавшему ради меня всем на свете, — вам я решил довериться!

Я вскочил и бросился его обнимать, но он был уже так

поглощен размышлениями, что машинально полез в жилетный карман за часами.

— Садитесь,— промолвил он.— Хотите сигару?

— Я больше не курю сигар,— ответил я.

— Почему так? — спросил он.

Я замялся и, возможно, даже покраснел. Дело в том, что я отказался от привычки курить сигары, потому что при моей сократившейся практике они стали мне не по карману. Я мог себе позволить теперь только трубку.

— Мне больше нравится трубка,— со смехом сказал я.— Но расскажите о грабеже. Что у вас пропало?

Он поднялся, встал между мной и камином и, заложив руки под фалды фрака, несколько мгновений внимательно смотрел на меня сверху вниз.

— Помните портсигар, который подарил мне турецкий посол за то, что я узнал сбежавшую фаворитку Великого Визиря в пятой с краю танцовщице кордебалета в мюзик-холле «Хилэрити»? Вот он и пропал. Этот самый портсигар. Он был весь усыпан алмазами.

— Да, еще самый крупный из них — фальшивый,— добавил я.

— А,— сказал он с усмешкой,— так вам это известно?

— Вы мне сами говорили. Помнится, я тогда лишний раз восхитился вашей необыкновенной проницательностью. Господи, неужто вы его лишились?

— Нет,— ответил он, помолчав.— Портсигар украден, это правда, но я его найду. И найду сам, без чьей бы то ни было помощи. У вас, дорогой друг, когда один из ваших братьев по профессии серьезно заболевает, он не прописывает себе лечения сам, а зовет кого-нибудь из своих коллег-докторов. У нас не так. Я возьму это дело в собственные руки.

— И можно ли сыскать руки надежнее? — горячо воскликнул я.— Портсигар уже все равно что у вас в кармане.

— К этому мы с вами еще вернемся,— сказал он небрежно.— А теперь, дабы вы убедились, как я доверяю вашим суждениям, несмотря на твердое намерение заниматься этим делом в одиночку, я готов выслушать ваши советы.

Он вытащил из кармана записную книжку и с мрачной усмешкой взялся за карандаш.

Я едва мог поверить собственным ушам. Он, великий Хемлок Джонс, спрашивает совета у такого ничтожества,

как я! Я почтительно поцеловал ему руку и весело начал:

— Прежде всего я поместил бы объявление в газете, предлагая награду тому, кто возвратит пропажу. Написал бы от руки и расклеил такие объявления в окрестных пивных и чайных. Потом обошел бы антикваров и закладчиков. Сообщил бы в полицию. Опросил слуг. Тщательно обыскал бы весь дом и собственные карманы. То есть, — пояснил я со смехом, — я имею в виду *ваши* карманы.

Он с серьезным видом записывал.

— Да вы, возможно, все это уже сделали? — заключил я.

— Возможно, — загадочно отозвался он. — А теперь, мой дорогой друг, — продолжал он, кладя записную книжку в карман и подымаясь со стула, — извините меня, но я принужден ненадолго вас оставить. Я скоро вернусь, вы же пока будьте как дома. Может быть, здесь, — он повел рукой в сторону заставленных разнообразнейшими предметами полок, — что-нибудь вас заинтересует и поможет вам скоротать время. Вон там, в углу, трубки и табак.

И, кивнув мне все с тем же непроницаемым видом, Джонс вышел из комнаты. Я был слишком хорошо знаком с его методами, чтобы принять близко к сердцу его столь бесцеремонный поступок, — было очевидно, что он спешил проверить какую-то блестящую догадку, внезапно родившуюся в его деятельном мозгу.

Оставленный наедине с собой, я окинул взглядом его шкафы. На полках стояли стеклянные баночки, наполненные каким-то темным веществом. Как явствовало из этикеток, то был «сор с мостовых и тротуаров» всех главных улиц Лондона и пригородов, предназначенный «для определения следов». Еще там были баночки с надписью «Пыль с сидений городских omnibusов и конок» и «Пеньковые и кокосовые волокна из половиков в общественных местах», «Окурки и обгорелые спички из зрительного зала театра «Палас», ряд А, места с 1-го по 50-е». Здесь все свидетельствовало о необычайной методичности и прозорливости этого удивительного человека.

Я стоял и смотрел — вдруг послышался легкий скрип двери. Обернулся: в комнату входит некто неизвестный. Это был человек грубого вида в поношенном пальто и уж совсем неприличном кашне, обмотанном вокруг шеи и закрывавшем нижнюю часть лица. Возмущенный его вторжением, я уже готов был наброситься на него с резкими

упреками, но он сильным голосом виновато буркнул что-то насчет того, что ошибся номером, вышел, шаркая подошвами, воп и закрыл за собой дверь. Я поспешил вслед за ним на площадку, но он спустился по лестнице и пропал. Мысли мои были заняты украденным портсигаром, и появление незнакомца очень меня обеспокоило. Я знал привычку моего друга по внезапному наитию исчезать из дому; вполне могло случиться, что, сосредоточив свой могучий интеллект и гениальную проницательность на какой-то одной проблеме, он не подумал о собственном имуществе и упустил из виду какую-нибудь элементарную меру предосторожности, например забыл запереть ящики письменного стола. Я попробовал — так и оказалось, хотя один из них почему-то до конца не выдвигался. Скобы ящиков были выпачканы чем-то липким, словно их касались грязные руки. Зная скрупулезную чистоплотность Хемлока, я решил сразу же обратить его внимание на это обстоятельство, но, к сожалению, забыл и вспомнил лишь тогда... но не будем забегать вперед.

Его отсутствие непонятно затягивалось. Я уселся перед камином и, убаюканный теплом и дробным стуком дождя по окну, уснул. Вероятно, мне приснился сон, потому что сквозь дремоту мне чудились чьи-то руки, осторожно шарящие по моим карманам, — сновидение, несомненно навеянное мыслями о краже. Когда я совершенно очнулся, Хемлок Джонс сидел напротив меня у камина, устремив на огонь сосредоточенный взор.

— Вы так сладко спали, когда я пришел, что у меня не хватило духу вас потревожить, — сказал он с улыбкой.

Я протер глаза.

— Что нового? — спросил я. — Как ваши успехи?

— Лучше, чем я ожидал, — ответил он. — И думается мне, — добавил он, похлопав рукой по записной книжке, — я многим обязан вам.

Глубоко польщенный, я ждал подробностей. Но он молчал. Я должен был бы помнить, что, поглощенный работой, Хемлок Джонс был сама скрытность. Я рассказал ему о странном посещении, но он только посмеялся.

Позднее, когда я собрался уходить, он игриво посмотрел на меня и сказал:

— Будь вы человеком женатым, я посоветовал бы вам прежде, чем возвращаться домой, почистить сюртук.

С внутренней стороны рукава и под мышкой к нему пристало несколько коротких волосков, словно ваша рука недавно нежно обнимала кого-то в котиковой шубке.

— На этот раз, представьте, вы не угадали, — с торжеством сказал я. — Как легко можно заметить, это мои собственные волосы. Я сегодня был в парикмахерской и должно быть, высунул руку из-под простыни.

Он слегка нахмурился, однако, когда я повернулся к дверям, тепло меня обнял — редкое проявление дружеских чувств у этого каменного человека. Он даже подал мне пальто и тщательно пригладил клапаны моих карманов. С особой заботливостью он помог мне просунуть руку в рукав, придерживав своими ловкими пальцами пройму и обшлаг.

— Заходите, — сказал он, хлопнув меня по спине.

— В любое время дня и ночи, — откликнулся я с жаром. — Мне пужно только по десять минут два раза в день, чтобы перекусить у себя в кабинете, и четыре часа в сутки на сон, остальное мое время, как вы отлично знаете, всецело в вашем распоряжении.

— О да, я знаю, — промолвил он, загадочно усмехаясь.

Однако когда я в следующий раз к нему зашел, его не было. Через несколько дней я встретил его под вечер неподалеку от моего дома наряженным в один из его излюбленных костюмов — синий фрак с длинными фалдами, светлые брюки в полоску, широкий отложной воротник и белая шляпа, а лицо густо вымазано сажей и в руке бубен. Разумеется, для посторонних он был в этом обличье неузнаваем, но мне-то были знакомы все его перевоплощения, и потому я, не подав и вида, прошел мимо, как было у нас издавна заведено, уверенный, что вскоре все объяснится. Через некоторое время, направляясь к больной жене одного трактирщика в Ист-Энде, я опять заметил моего друга: переодетый бедняком мастеровым, он разглядывал витрину закладной лавки по соседству. Как видно, он и в самом деле следует моему совету, подумал я и странно обрадовался, так что даже не удержался и подмигнул ему. Он с непроницаемым видом подмигнул мне в ответ.

Два дня спустя я получил от него записку — он назначал мне прийти к нему в тот же вечер. Эта наша встреча была самым незабываемым событием в моей жизни, но — увы! — то была моя последняя встреча с Хемлоком Джонсом. Попытаюсь как можно спокойнее изо-

бразить всю сцену, однако и сейчас при воспоминании о ней у меня начинается сердцебиение.

Я застал его стоящим перед камином с тем выражением на лице, которое до этого видал у него только раз или два, — абсолютная взаимосвязь индуктивного и дедуктивного хода мысли отразилась в его чертах, лишив их всяких следов человечности, сочувствия, доброты. То был просто холодный алгебраический символ. Концентрация всего его существа была столь велика, что одежда свободно болталась у него на плечах, а голова так сжалась вследствие компрессии мысли, что шляпа налезла прямо на большие оттопыренные уши.

Лишь только я вошел, он запер двери и окна и даже задвинул стулом камин. Я с глубоким интересом наблюдал за этими приготовлениями, как вдруг он вытащил револьвер, приставил к моему виску и ледяным тоном произнес:

— А ну, отдавайте портсигар!

Как ни обескуражен я был, я ответил просто, необходимо и правдиво:

— У меня его нет.

Он горько усмехнулся и отшвырнул револьвер.

— Другого ответа я и не ждал! Но сейчас я употреблю против вас оружие, куда более страшное, убийственное, беспощадное и убедительное, чем какой-то шестизарядный револьвер, — неоспоримые индуктивные и дедуктивные доказательства вашей вины!

Он извлек из кармана пачку бумаг и записную книжку.

— Дорогой Джонс, — сказал я срывающимся голосом. — Вы, конечно, шутите? Не может же быть, чтобы вы всерьез...

— Молчать! Сядьте!

Я повиновался.

— Вы сами разоблачили себя, — продолжал он неумолимо. — Вы разоблачили себя с помощью моих же методов, методов, которые вам издавна знакомы, которыми вы так восхищались, которые признаете непогрешимыми! Вернемся к тому времени, когда вы впервые увидели мой портсигар. Выражения, вами тогда употребленные, — холодно и неторопливо говорил он, заглядывая в свои бумаги, — были таковы: «Какая красота!» и «Вот бы мне такой!» Это был ваш первый шаг на пути к преступлению — и это моя первая улика. От мысли: «Вот бы мне

такой!» к помыслу: «Хорошо бы он был моим!» и, наконец, к решению: «Он будет мой!» всего лишь один шаг. Молчать! Но поскольку, согласно моей теории, побуждение к преступлению должно быть неодолимым, вашего неприличного восторга перед какой-то побрякушкой недостаточно. Вы к тому же еще курите сигары.

— Но ведь я сказал вам, — воскликнул я, — что бросил курить сигары!

— Глупец! — холодно проговорил он. — Это и есть ваш второй промах и моя вторая улика. Разумеется, вы мне это сказали. Естественно, что вы пытались отвести от себя подозрение, состряпав эту шитую белыми нитками ложь. Однако, как я уже сказал, даже вашей жалкой попытки замести следы мне было недостаточно. Я должен был найти воистину непреодолимую побудительную силу, могущую воздействовать на такого человека, как вы. И я эту силу нашел. Я угадал ее в глубочайшем из человеческих импульсов — я полагаю, у вас это называется «любовь», — горько добавил он, — угадал в тот вечер, когда вы ко мне приходили! Вы принесли с собой на рукаве самое неоспоримое доказательство.

— Да ведь... — Я чуть не плакал.

— Молчать! — загремел он. — Знаю, что вы скажете. Вы не понимаете, каким образом, даже если вы и обнимали некую «юную особу в котиковой шубке», каким образом это может быть связано с кражей портсигара? Позвольте сказать вам, что котиковая шубка воплощает в себе всю глубину и гибельность вашей роковой привязанности! Вы променяли на нее свою честь: украденный портсигар дал вам возможность купить котиковую шубу! Молчать! Выяснив мотивы вашего преступления, я теперь перехожу к способу, каким оно было осуществлено. Простые смертные с этого бы начали, они попытались бы прежде всего обнаружить местонахождение пропавшего предмета. Мои методы не таковы.

Логика его была столь сокрушительна и неотразима, что я, хоть и знал свою невиновность, облизнулся от удовольствия, предвкушая дальнейший рассказ о раскрытии моего преступления.

— Вы совершили кражу в тот же вечер, когда я впервые показал вам портсигар, а потом небрежно бросил его вон в тот ящик. Вы сидели вот в этом кресле, а я встал и подошел к полке. В тот же миг вы завладели своей добычей, даже не вставая с кресла. Молчать! Помните, как

я подавал вам однажды вечером пальто? Я еще так старательно помогал вам просунуть руку в рукав. Так вот, в это время я успел измерить рулеткой длину вашей руки от плеча до запястья. Визит к вашему портному на следующий день подтвердил мои измерения. Как я и думал, длина вашей руки *в точности равна расстоянию от кресла до этого ящика!*

Я был потрясен.

— Все прочее — лишь детали, подтверждающие мое умозаключение. Я застал вас открывающим этот же ящик. Вы удивлены? Неизвестный в рваном кашне, по ошибке забредший в эту квартиру, был я сам! Мало того, прежде чем нарочно оставить вас здесь одного, я намазал скобу ящика мылом, а когда, прощаясь, я пожал вам руку, ваши пальцы были мыльные! Пока вы спали, я осторожно ощупал на всякий случай ваши карманы. Когда вы уходили, я вас обнял и прижал к себе — чтобы выяснить, не носите ли вы с собой портсигар или иной какой-либо предмет под рубашкой. При этом я окончательно убедился, что вы уже успели снести его в заклад, добывая средства для приобретения того, о чем я вам уже говорил. В надежде, что вы еще раскаетесь и во всем признаетесь сами, я нарочно дважды являлся вам на глаза, чтобы вы поняли, что я напал на ваш след; один раз в обличье странствующего негра-музыканта, а второй — под видом рабочего, заглядывающего в витрину закладчика, к которому вы снесли свою добычу.

— Но если бы вы спросили его самого, вы сразу увидели бы, как несправедливо... — попробовал было я возражать.

— Глупец! — прошипел Джонс. — Ведь это было ваше предложение — опросить закладчиков! Неужели вы думаете, я следовал вашим советам — советам вора! Напротив, они показывали мне, от чего следует воздержаться.

— И вы, конечно, даже у себя в ящике не посмотрели? — с горечью сказал я.

— Нет, — спокойно ответил он.

Тут я впервые не на шутку разозлился. Я подошел к столу и дернул ящик. Он, как и прежде, выдвинулся лишь наполовину. Я потряс его хорошенько — было ясно, что какой-то предмет прочно застрял в глубине ящика и удерживает его. Я просунул туда руку, пошарил и вытащил мешавший предмет. Это был... пропавший портсигар! С радостным возгласом я обернулся к моему другу.

Но, увидев его лицо, я оторопел. Его острый, пронизывающий взгляд был исполнен невыразимого презрения.

— Я ошибся,— медленно проговорил он.— Я не принял в расчет вашей трусости и малодушия! Даже как о преступнике я был о вас слишком высокого мнения! Теперь я понимаю, зачем вы в тот вечер пытались открыть ящик. Каким-то необъяснимым способом — вероятнее всего, путем еще одной кражи — вы вернули портсигар из заклада и, поджав хвост, как побитая собака, бездарно и подло вернули его мне! Хотели обмануть меня — меня, Хемлока Джонса! Мало того, вы хотели бросить тень на мою непогрешимость. Ступайте! Я не стану приглашать сюда трех полисменов, которые ждут в соседней комнате. Но — прочь с глаз моих навсегда!

Я не мог прийти в себя от недоумения и стоял столбом. Он подошел ко мне, решительно взял меня за ухо, вывел на лестницу и захлопнул дверь. Тотчас же она опять приотворилась, в щель были выброшены мои калоши, пальто, шляпа и зонт, после чего дверь снова захлопнулась у меня перед носом, теперь уже окончательно.

Больше я его никогда не видел. Должен сказать, однако, что после этого случая мои дела заметно поправились, практика моя опять разрослась и кое-кто из пациентов даже стал выздоравливать. Я купил коляску и дом в Вест-Энде. Но часто, вспоминая сказочную пронизывающую этого удивительного человека, я думаю: может, в каком-то приступе беспамятства я и в самом деле украл у цего портсигар?

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|-----|
| <i>Ю. Ковалев. «Золотая Калифорния» Фрэнсиса Брета Гарта</i> | 5 |
| <i>Счастье Ревущего Стана. Перевод Н. Волжиной</i> | 19 |
| <i>Компаньон Теннесси. Перевод Н. Волжиной</i> | 31 |
| <i>Млисс. Перевод Н. Дарузес</i> | 41 |
| <i>Мигглс. Перевод Н. Волжиной</i> | 67 |
| <i>Джентльмен из Ланорта. Перевод Н. Дарузес</i> | 79 |
| <i>Как Санта Клаус пришел в Симпсон-Бар. Перевод Н. Дарузес</i> | 92 |
| <i>Язычник Вань Ли. Перевод П. Волжиной</i> | 107 |
| <i>«Старуха» Джонсона. Перевод Н. Галь</i> | 123 |
| <i>Браун из Калавераса. Перевод Н. Дарузес</i> | 138 |
| <i>Блудный сын мистера Томсона. Перевод П. Волжиной</i> | 149 |
| <i>Монте-Флетская пастораль. Перевод П. Волжиной</i> | 158 |
| <i>Человек из Солано. Перевод Н. Дарузес</i> | 176 |
| <i>Наследница. Перевод Н. Волжиной</i> | 183 |
| <i>Трое бродяг из Тринидада. Перевод З. Ровинского</i> | 199 |
| <i>Джинни. Перевод Н. Галь</i> | 212 |
| <i>Подопечные мисс Пегги. Перевод Н. Галь</i> | 221 |
| <i>Малыш Сильвестра. Перевод Е. Элькинд</i> | 233 |
| <i>Чу-Чу. Перевод Н. Демуровой</i> | 248 |
| <i>«Наш Карл». Перевод Т. Озерской</i> | 271 |
| <i>Украденный портсигар. Перевод И. Бернштейн</i> | 292 |

Литературно-художественное издание

ДЛЯ СРЕДНЕГО И СТАРШЕГО ВОЗРАСТА

ГАРТ Фрэнсис Брет

ТРОЕ БРОДЯГ ИЗ ТРИНИДАДА

Ответственный редактор Л. П. Серебрякова

Художественный редактор Г. Ф. Ордынский

Технический редактор Н. Г. Мохова

Корректор И. П. Мокшина

ИБ № 12579

Подписано к печати с готовых диапозитивов 09.06.89. Формат 84×108¹/₃₂. Бум. типогр. № 1. Шрифт обыкновенный. Печать высокая. Усл. печ. л. 15,96. Усл. кр.-отт 16,59. Уч.-изд. л. 16,45. Тираж 200 000 экз. Заказ № 2485. Цена 90 к. Орденов Трудового Красного Знамени и Дружбы народов издательство «Детская литература» Государственного комитета РСФСР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли. 103720, Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Ордена Трудового Красного Знамени ПО «Детская книга» Госкомиздата РСФСР 127048, Москва, Суцеский вал, 49.

Отпечатано с фотополимерных форм «Целлофот»

К читателям:

Отзывы об этой книге
издательство просит
присылать по адресу:
125047, Москва,
ул. Горького, 43.
Дом детской книги.

Гарт Ф. Б.

Г21 Трое бродяг из Тринидада: Рассказы/Пер. с англ.;
Сост. и вступит. ст. Ю. Ковалева; Оформл. Б. Мо-
кина.— М.: Дет. лит., 1989.— 302 с.: ил.

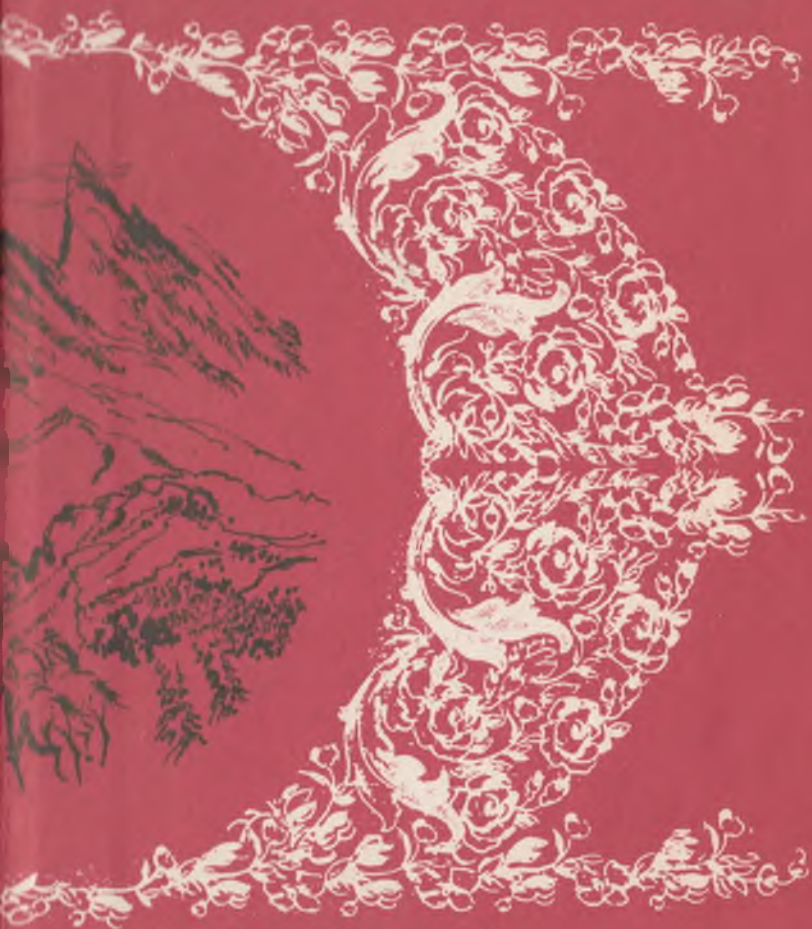
ISBN 5-08-002164-0

Герои рассказов американского писателя Ф. Брета Гарта (1836—1902), масте-
ра остроумной повеллы,— простые люди, показанные во всей их сложности и
противоречивости: золотоискатели, рудокопы, любители «быстрого обогащения»
и те, кого отвергло «благополучное» американское общество. Ф. Брет Гарт подчерки-
вает высокие человеческие качества этих людей: незаурядную храбрость, подлин-
ное человеколюбие, независимость духа и человеческое достоинство.

Г 4803020000—382 Без объявл.
М101(03)—89

ББК 84.7 США





ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

ФРЭНСИС
БРЕТ
ГАРТ



ТРОЕ
БРОДЯГ
ИЗ
ТРИНИДАДА

